

ДБН
А-127

АНТОЛОГИЯ
БЕЛОРУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

МИН • 1934 •

АНТОЛОГИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
ВЛ. БАХМЕТЕВА и М. КЛИМКОВИЧА

СОСТАВИЛИ
С. ЛЕВМАН и Н. ОГНЕВ

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 3 4

Установа адукацыі
"Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П. М. Машэрава"
БІБЛІЯТЭКА

555454

☆

Переплет А. Радищева

☆

*Отв. редактор В. Тарсис
Корректор Л. Руднев
Технический редактор Е. Лукашевич*

**Набрано и отпечатано в 16-й типогр. ОГИЗа РСФСР
Москва, улица Горького, Трехпробный пер., д. 9.**

ОГИЗ № 127 X-60. Зак. 532. Тираж 5000

Уполномоченный Главлита Б-37882

Формат бумаги 82 × 110 ¹/₃₂ дюйма

Сдано в набор 14/V 1934 г.

Подп. к печ. 7/VI 1934 г.

Печатных лист.

20 ¹/₂

☆

СО Д Е Р Ж А Н И Е

От издательства 11

М. Климкович

Через великие трудности к победам . . . 21

П О Э З И Я

Янка Купала

Из поэмы «Над рекой Орессой»

Перевел М. Светлов 46

Уходишь ты, как сон нелепый.

Перевел Д. Ронин 50

Якуб Колас

На путях свободы. Из поэмы.

Перевел С. Левман 54

Михась Чарот

Босые на пожарище.

Перевел О. Колычев 59

Андрей Александрович

Сосна.

Перевел М. Светлов 75

Под знаком диктатуры.

Перевел О. Колычев 78

Борьба.

Перевел О. Колычев 79

Перед будущим.

Перевел М. Голодный 80

Хлынет нам счастье. Из народных мотивов.

Перевел О. Колычев 81

<i>Пятрусь Бровка</i>	
Земля.	
Перевел Бруно Ясенский	83
На разгрузочной.	
Перевел С. Левман	86
<i>Пятро Глебка</i>	
Кара.	
Перевел Борис Левман	90
<i>Изи Харик</i>	
Золотые похороны. Из поэмы «Конвейер дней».	
Перевел Лев Пеньковский	96
Из цикла «На стройке».	
Перевел Лев Пеньковский	98
Степь.	
Перевел Д. Бродский	99
<i>Тодор Кляшторный</i>	
Из поэмы «Наши дороги ведут в Москву».	
Перевели Н. Кауричев и В. Наседкин	100
<i>Григорий Каменецкий</i>	
Прощанье.	
Перевел Борис Левман	106
<i>Аркадий Кулешов</i>	
Похороны.	
Перевел автор	109
<i>Э. М. Аксельрод</i>	
Шахматы.	
Перевел М. Светлов	113
<i>Владимир Ковальский</i>	
Из поэмы «Человек из Альтоны».	
Перевел Д. Ронин	117
<i>Микола Хведорович</i>	
Сталинстрой.	
Перевел Макар Пасынок	119
<i>Кондрат Крапива</i>	
Сигнальщик Иванов. Басня.	
Перевел К. Яковчик	123
<i>Гавлюк Трус</i>	
Из поэмы «Десятый фундамент».	
Перевел Э. Левман	125

П Р О З А

Якуб Колас

Отщепенец. Из романа.	129
Перевел автор	
<i>Змитрок Бядуля</i>	
Мир перевернулся.	146
Перевел М. Б.	
<i>К. Крапива</i>	
Братская помощь. Отрывок из романа «Медведичи».	154
Перевел автор	
<i>Кузьма Чорный</i>	
Семнадцать лет. Рассказ.	167
Перевел К. Яковчик	
<i>Платон Галавач</i>	
Четвертая встреча. Рассказ.	190
Перевел автор	
<i>Михась Лыньков</i>	
Баян.	210
Перевел Я. М.	
<i>Рыгор Мурашка</i>	
Свои—чужие	226
Перевел Я. Скриган	
<i>Цишка Гартный</i>	
Дойдем, сынок!	238
Перевел К. Пушкаревич	
<i>Михась Зарецкий</i>	
Судный день. Из романа «Вязьмо»	244
Перевел автор	
<i>Янка Маер</i>	
СВТ. Отрывок.	258
Перевел автор	
<i>Эдуард Самуйленок</i>	
Охотничье счастье.	268
Перевел автор	
<i>Борис Микулч</i>	
Массовка. Глава из романа «Мощь».	278
Перевел автор	

<i>Ф. Шинклер</i>	
Кузьма Архипыч подкузьмил. Отрывок.	
Перевел автор	286

<i>Иван Шаповалов</i>	
Большевики границы. Из романа	293

З А М Е Т К И

<i>Вл. Бахметьев</i>	
Первый шаг	301

<i>Вл. Лидин</i>	
Прочитанная страница	306

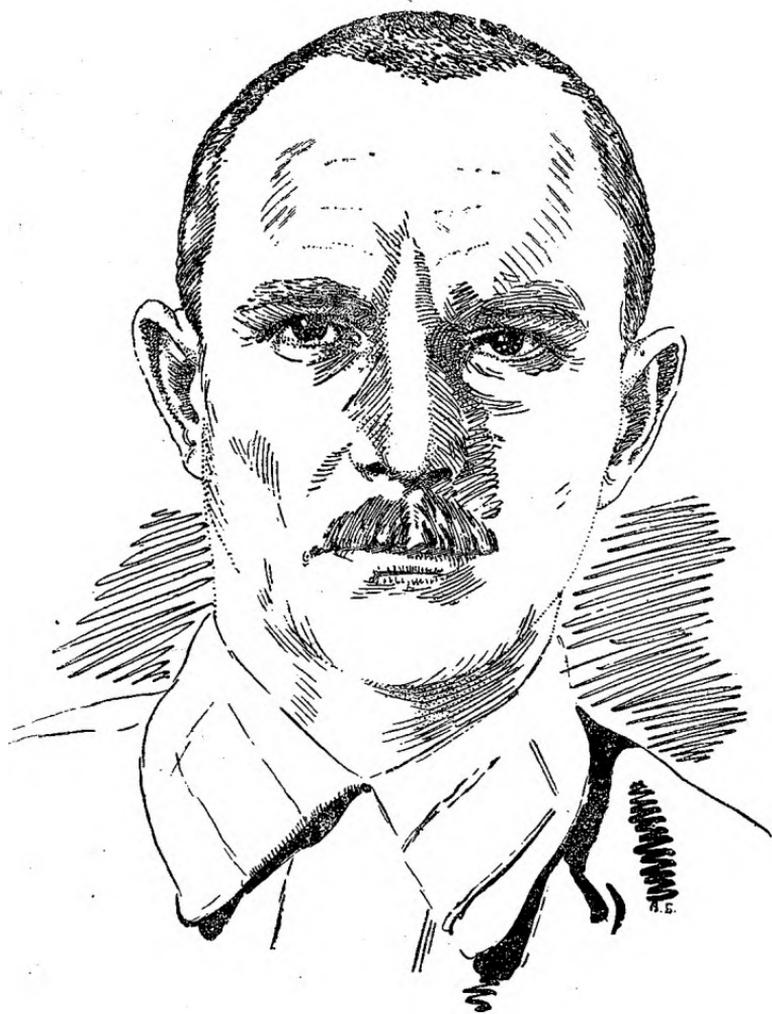
<i>С. Левман</i>	
Темы Советской Белоруссии	310

<i>Н. Огнев</i>	
Две биографии	314

<i>Бруно Ясенский</i>	
О поэтах	325

**ПЕРВОМУ
ВСЕСОЮЗНОМУ
СЪЕЗДУ
СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ**

**БЕЛОРУССКАЯ
КОМИССИЯ
ОРГКОМИТЕТА
СССР**



Н. М. ГОЛОДЕД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК БССР

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

1

В «Антологии белорусской литературы» ряд крупных поэтов и прозаиков Советской Белоруссии рассказывает о героических днях борьбы за власть Советов, о победах и достижениях на фронте строительства социализма.

Мы можем смело сказать, что сама антология, свидетельствующая о значительном количественном и качественном росте литературного отряда БССР, является документом о победах молодой республики, еще недавно—всего пятнадцать лет тому назад—бывшей полуколонией царизма.

В атмосфере невыносимого чиновничьего гнета и произвола, двойной эксплуатации русской и местной буржуазии и кулачества протекали мрачные дни трудящегося народа Белоруссии. Крестьяне, задыхавшиеся в тисках малоземелья, не обрабатывали, а «жовыряли» землю допотопными орудиями, так как и речи не могло быть в то время об агротехнической культуре, да и о культуре вообще.

В местечках, на грязных и пыльных улицах еврейского гетто, в покосившихся домишках ютились евреи-кустари, сапожники, портные, отчасти—мелкие торговцы, которые влачили жалкое, беспросветное, нищенское существование.

Промышленности почти не было, если не считать нескольких небольших лесопилок с самой примитивной обработкой древесины.

В сельском хозяйстве преобладал двухпольный и трехпольный севооборот с переложной системой, особенно в Полесьи.

Кое-какие опыты интенсивного хозяйства имели место почти исключительно на помещичьих землях, занимавших, кстати, половину всей площади, и отчасти в кулацких хозяйствах. К этому надо прибавить, что помещики владели лучшей, наиболее удобной пашней, а крестьянам приходилось бороться за участки заболоченные или подлежащие выкорчевыванию.

Совершенно естественно, что аграрная перенаселенность, невозможность добиться сносных условий человеческого существования заставляли трудящихся искать заработка в чужих местах. Отсюда — массовое отходничество, преимущественно в Донбасс, а также эмиграция в Америку. Эмигрировали также кустари, мелкие торговцы и безработные.

Найти работу было очень трудно, принимая во внимание, что несколько лесопилок, маленьких стекольных заводов и слесарных мастерских составляли весь промышленный фонд страны. Валовая стоимость всей промышленной и кустарной продукции Белоруссии в довоенное время составляла около 40 миллионов рублей.

В таком положении застала Белоруссию империалистическая война. Если война в достаточной степени обескровила всю бывшую Россию, то это особенно относится к Белоруссии, ставшей плацдармом военных действий.

Волна беженства, насильственного и вынужденного, сорвала с мест и окончательно разорила десятки тысяч семей трудящихся. Затем следует немецкая и белопольская оккупация, еще больше подорвавшая экономику стра-

ны. Некоторые города, как, например, довольно крупный город Борисов, были вовсе разрушены.

Только с 1920 года начинается восстановительный период.

Таково было «хождение по мукам» трудящихся Белоруссии. Октябрьская победа, закрепленная в классовых боях на фронтах гражданской войны, в славных подвигах красноармейцев и партизан, завершила этот скорбный список страданий и бедствий и открыла новую историю Советской Белоруссии новым списком побед и достижений на фронтах экономики и культуры, до неузнаваемости изменивших лицо страны.

В 1933 году валовая стоимость промышленной продукции составила 110 миллионов рублей. В сравнении с этой цифрой довоенная продукция кажется ничтожной.

И действительно, вместо маленьких лесопилок мы имеем мощную лесобрабатывающую промышленность.

Значительный удельный вес приобрела и металлообрабатывающая промышленность. Вместо небольших мастерских по металлоремонту выстроены крупные машиностроительные заводы им. Ворошилова и «Коммунар», которые производят сложнейшие машины по дорожному строительству, сверлильные и токарные станки, машины для разработки торфа и строймеханизмы. Эта продукция не только обслуживает строительство в Белоруссии, но в значительном размере вывозится в различные районы СССР.

Сильно выросла также бумажная промышленность. Добрушская фабрика — одна из крупнейших фабрик Союза, дающая высокосортную бумагу. Развивается текстильная промышленность. В Витебске построена трикотажная фабрика, на которой при полном освоении проектной мощности будет работать 10 000 человек. Фабрик такого типа имеется всего три в СССР.

Там же работает и другая трикотажная фабрика и льнопрядильная — «Двина». Крупный льнопрядильный комбинат строится в Орше.

Вместо маленьких кустарных портняжных мастерских выросла крупная швейная промышленность, составившая два года тому назад 14 процентов всей швейной продукции СССР.

Промышленность стройматериалов также неуклонно растет. Значительных успехов достигло производство кирпича, цемента.

Недавно выстроен стекольный завод в Костюковке — один из самых мощных в Союзе: он будет ежегодно давать около 30 тысяч тонн бемского стекла.

Растет также производство силикатных стройматериалов.

Особенно следует остановиться на переработке торфа. В Белоруссии имеются огромные залежи торфа. В 1934 году будет добыто 1 миллион 300 тысяч тонн торфа. Торф используется не только для пополнения топливных ресурсов; намечено во второй пятилетке развить ряд новых производств: азотистых удобрений, моторного горючего, парафина, торфяных масел и пластических масс.

Последние найдут применение в выработке аппаратуры для электро-радио-фото- и автопромышленности, для ряда товаров широкого потребления. Такой комбинат будет построен в ближайшие годы.

Такова в самых общих чертах картина роста промышленности БССР. Легко убедиться, что все эти крупнейшие предприятия и целый ряд более мелких, о которых здесь не упоминалось, возникли по существу на голом месте.

В связи с этим ростом расширилась и окрепла пролетарская база Советской Белоруссии. В дореволюционное время число индустриальных рабочих было ничтожно, а теперь вместе с железнодорожными насчитывается 250 тысяч

рабочих. Эти пролетарские кадры в полной мере обеспечивают успешное строительство социалистической экономики и культуры.

Большие успехи достигнуты также в области сельского хозяйства. Заболоченные, площади, занимающие около двух миллионов га, ранее совсем не осушались, а теперь это дело двинуто полным ходом. На осушенных болотах выросли мощные совхозы и колхозы. Примером могут послужить Маринские болота, являвшиеся ранее рассадником болезней, а теперь там на площади в 10 тысяч га раскинулись совхоз и коммуна. Урожаи зерновых там достигли 100—150 пудов с га.

Развитие животноводства, рост посевов технических культур, необходимых сырьевых ресурсов для легкой промышленности являются характерными чертами сельского хозяйства Белоруссии.

Проводится также ряд агротехнических мероприятий по борьбе за повышение урожайности: травосеяние, торфование почвы, минеральные удобрения и другие.

Коллективизацией охвачены 52 процента середняцких и бедняцких хозяйств и 60 процентов всей посевной площади республики. Растет благосостояние колхозников, их активность и культура. Кулачество, борьба с которым была здесь особенно острой и трудной, так как кулак прикрывался национальной маской, ратуя будто бы за национальные интересы, в основном ликвидировано, и при возросшей классовой бдительности и активности колхозных масс несомненно будут окончательно добиты все кулаки-охвосты, пытающиеся еще кое-где активно вредить.

Вот те факты и цифры, которые характеризуют сегодняшний день Советской Белоруссии.

Об этих замечательных фактах рассказал при встрече с советскими писателями в Москве председатель Совнаркома БССР т. Голодед.

Хозяйство БССР является той базой, на которой растут новая, социалистическая культура и литература БССР. Оно является залогом дальнейшего роста и появления новых литературных кадров.

2

Рост культуры Советской Белоруссии был особенно бурным, если принять во внимание, что дореволюционное наследство в этой области более чем скромно.

Насильственная руссификация и колонизаторская политика царских чиновников не позволили в сколько-нибудь значительной степени развиваться национальной культуре.

Высших учебных заведений до революции совсем не было. В прошлом веке, в 1854 году, был открыт Гори-Горецкий сельскохозяйственный институт, но после восстания 1863 года его ликвидировали, так как «в институте обнаружили гнездо бунтарей».

Литературные кадры также были весьма незначительны: это — Янка Купала, Якуб Колас, Цішка Гартны, Эмтрок Бядуля и еще несколько человек. Основной мотив их творчества — национальный гнет белорусского народа, причем классовое расслоение и борьба не находили отражения в их произведениях. Можно с уверенностью сказать, что и эти писатели в полной мере развернули свои творческие силы только в последние годы, ибо те узко-националистические тенденции, которые они принесли с собой из мрачного прошлого, долгое время еще не давали им возможности полностью приобщиться к интернациональной культуре социализма, старые обветшалые формы не могли вместить нового невиданного содержания, и тогда, когда они под руководством рабочего класса и коммунистической партии во главе с вождем мирового пролетариата, т. Сталиным, сбросили с себя этот груз, они смогли дать свои лучшие произведения.

Мы не будем здесь подробно останавливаться на истории развития литературы Советской Белоруссии. Об этом читатели найдут в статье т. Климковича, председателя Союза советских писателей Белоруссии.

Развитие новой культуры также проходило в обстановке напряженной классово-борьбы, в основном теми же узко-националистическими тенденциями, которые в дальнейшем перерастали в прямую контрреволюцию.

После Октября и оккупационного периода Советская Белоруссия располагала очень небольшими культурными кадрами, преимущественно из среды старой белорусской интеллигенции. Это люди, привлеченные советской властью к работе, возомнили себя высокими «мастерами культуры», а на деле являлись носителями реакционной национал-демократической и кулацкой идеологии, и постепенно многие из них перешли в лагерь западно-европейских фашистов и интервентов.

После Октября в Советской Белоруссии возник ряд высших учебных заведений: университет, ветеринарный институт, сельхозинститут, политехникум и т. д. Была создана также сеть научно-исследовательских институтов и Белорусская Академия наук.

Развивались и доселе также издательства, театры, школы и другие культурно-просветительные учреждения.

Грамотность в среднем достигает уже 95 процентов. Контрреволюционные нацдемы, пробираясь в культурные учреждения, подчас захватывали в них командные высоты. Целый ряд молодых литераторов также был охвачен националистическим угаром.

Рабочий класс под руководством партии разоблачил этих врагов и разгромил их. Кадры новой советской интеллигенции, выросшей и окрепшей в боях за Октябрь и на фронте борьбы за социализм, заняли командные высоты в культурных учреждениях и повели решительную борьбу за

новую культуру, национальную по форме, социалистическую по содержанию.

Классовый враг разгромлен, но окончательно еще не добит. Отдельные вылазки его еще наблюдаются и возможны в будущем. Однако крепкий и быстрый рост новой, социалистической культуры вполне обеспечен.

В связи с этим за последнее время достигнут и значительный идейно-политический рост литературы Советской Белоруссии, расширение тематики, разрыв с провинциальной и национальной ограниченностью.

Социалистический реализм как творческий метод становится основным методом, которым стремятся овладеть все лучшие писатели.

Мудрая национальная политика партии и советского правительства обеспечила рост культуры не только основного населения БССР—белоруссов, но и других народов, населяющих территорию Белорусии.

Значительные достижения имеет литература этих народов.

Недавно закончившийся первый съезд советских писателей БССР явился мощной демонстрацией творческого роста и идейного единства одного из лучших отрядов советской литературы.

Русские читатели уже отчасти знакомы с произведениями белорусских писателей. Произведения Якуба Коласа, Янки Купалы, З. Бядули, М. Чарота, А. Александровича, П. Бровки, К. Чорного, П. Галавача, М. Зарецкого и др. переводятся на русский язык и появляются в наших издательствах уже давно.

Необходимо отметить, что эти издания не всегда были удачны в смысле отбора произведений и качества продукции. Первый дефект объясняется тем, что не была налажена связь между литературной общественностью БССР и РСФСР, писатели и критики Москвы не знали писателей

Минска. Такой же неосведомленностью отличались и наши издательства.

В последние время по инициативе А. М. Горького проводилось тесное сближение и взаимное тщательное изучение братских литератур. Это обстоятельство уже и сейчас дает возможность правильно ориентироваться в литературной жизни народов СССР.

В частности Белорусская комиссия Оргкомитета Союза советских писателей СССР во главе с т. Бахметьевым проделала большую работу, что отметил в своем выступлении на съезде писателей БССР, председатель Совнаркома т. Голодод и другие белорусские товарищи.

К съезду советских писателей СССР ГИХЛ выпускает лучшие произведения белорусских писателей: «Над рекой Орессой» Янки Купалы, «Трясину» Я. Коласа, сборник «Поэты Белоруссии» и «Антологию белорусской литературы», включающую лучшие образцы поэзии и прозы белорусских, еврейских, польских и русских писателей БССР.

К сожалению, приходится констатировать, что качество переводов еще далеко не соответствует тем требованиям высокохудожественного перевода, который мог бы передать все особенности и своеобразие стиля оригинальных произведений.

Этим делом—подготовкой квалифицированных кадров переводчиков—необходимо заняться серьезно и безотлагательно. Только при этом условии большие достижения литературы Советской Белоруссии станут подлинным достоянием всех трудящихся народов СССР. А это важнейшая задача издательства, так как каждый советский писатель—прежде всего интернациональный писатель.



М. КЛИМКОВИЧ

ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЕ ТРУДНОСТИ К ПОБЕДАМ

1

Дооктябрьская Белоруссия—отсталая, забытая полуколония царской России—со своей мелкой кустарной и полукустарной промышленностью, с таким распределением земель, при котором свыше 60 проц. их находилось в руках помещиков, церкви и царского двора, с сохой, как основным орудием обработки земли, была страной потрясающего бескультурья. Недаром произведения писателей того времени о Полесье дают жуткую картину дикой жизни белоруса-крестьянина: в этих произведениях, как отличительный признак белорусской деревни, всегда показывалась лучина, курные избы, нищета, почти поголовная неграмотность, ужасающее суеверие и неизменная соха. Гнет помещика и капиталиста, местного кулачества всех национальностей дополнялся национальным угнетением и разнузданной «пропагандой» национальной розни. На всю тогдашнюю Белоруссию не было ни одного высшего учебного заведения, было не больше одного десятка гимназий (разумеется, для помещиков и чиновников), несколько десятков народных школ и сотня церковноприходских школ. Белорусских школ не существовало, национальные школы, да и то религиозного типа, существовали подпольно. Буржуазия господствующей русской нации просто выжимала дополнительную прибыль со своей полуколонии, не давая ходу мест-

ной буржуазии, несмотря на постоянную помощь последней в общем деле угнетения трудящихся. Об этой помощи великорусской буржуазии свидетельствует предательская работа всех местных буржуазных и мелкобуржуазных политических партий (Бунд, ППС, БСГрамада), с которыми все время приходилось бороться РСДРП (большевиков) и ее местным комитетам в Белоруссии. Волною забастовок и восстаний в местечках и селах Белоруссии во все времена подъема революционного движения в России, героической борьбой большевистских ячеек крупнейших городов («Полесский комитет РСДРП (большевиков)» в Гомеле) отвечал рабочий класс Белоруссии на угнетение буржуазно-помещичьей власти, на провинистский угар местной буржуазии, кулачества и их идеологов.

Таким политическим положением объясняется и то, что дооктябрьская белорусская литература и по качеству и по количеству была чрезвычайно слаба и насыщена — у одних писателей больше, у других меньше — национализмом. До Октября белорусская литература насчитывала не больше десятка писателей, и все их творчество за десятки лет по объему едва ли может равняться с объемом произведений последних двух лет современной литературы. По содержанию своему эта литература имела различные оттенки, поскольку дооктябрьские писатели представляли собою различные классовые группировки. Так, Дунин-Марцинкевич стремился в своих произведениях идеализировать крепостничество, показать «отеческие» отношения помещика к своим крепостным. Но даже и ему не всегда удавалось спрятать бесчеловечную эксплуатацию и зверское отношение помещиков к крестьянам за приторно-сладковатой словесной мутью барской подделки под фольклор. Трубадуры новой, нарождавшейся тогда буржуазии — Богусевич и Ядвигин Ш. в своих произведениях указывали белорусским помещикам капиталистический путь развития, восхваляли кулачество, утверждали идею частной собственности и связанную с ней мораль. При этом Богусевич, именно в силу буржуазной природы своей поэзии, вынужден был в отдельных произведениях протестовать против угнетения своей нации и ратовать против пережитков крепостничества. Революция 1905 года выдвинула в литературе ряд мелкобуржуазных писате-

лей—Цётку, Гаруна, Купалу, Коласа, Гартного. Протестуя в эти годы, годы подъема революционного движения, против национального, а порой и социального угнетения крестьянства, эти писатели не поднимались до понимания подчиненного значения национально-освободительного движения в общем деле завоевания власти рабочим классом, не видели рабочего класса как гегемона революции, не видели расслоения крестьянства, беря в одни скобки и кулака и батрака. Этими скобками у них нередко была идея «единой нации», и тогда в эти скобки брались не только крестьяне, но и белорусские помещики и белорусская буржуазия. Не удивительно поэтому, что одни из них (как, например, Цётка) в момент спада революционной борьбы сошли на позиции «культурничества», другие (как, например, Гарун) через эсеровщину в февральские и октябрьские дни 1917 года перешли в лагерь прямой контрреволюции. (Гарун пошел в банды Булак-Балаховича в качестве полковника белорусской контрреволюционной рады.) Третьи из этих писателей на протяжении ряда лет сделали идеологами буржуазного кулацкого национализма (группа «Нашей нивы»—Колас, Купала, Бядуля). Четвертые писатели пробовали совмещать протест полукустарного пролетария против эксплуатации с ясно очерченным служением националистической буржуазии (Цишка Гартный). Очень немногое из этой дооктябрьской литературы могла взять наша советская белорусская литература в виде революционно-демократического наследства.

2

Октябрьскую революцию писательская интеллигенция того времени встретила с националистических позиций, продолжая борьбу против советской власти в новых формах на протяжении ряда лет. Этому способствовало то обстоятельство, что часть националистов типа бывшего президента Академии наук Игнатовского (как впоследствии выяснилось,—этот человек был провокатором и шпионом) не эмигрировала вслед за разбитыми интервентами, а осталась в Советской Белоруссии для того, чтобы вершить свое контрреволюционное, предательское

дело. Эти националисты стремились всеми силами предоставить монополию в литературе своим собратьям по националистическим убеждениям и контрреволюционным нацдемовским организациям. Создавался искусственный авторитет националистическим произведениям «стариков», тщательно выискивались у молодежи националистические «срывы» и захваливались нужные среди них, одновременно замалчивались или охаивались произведения молодых советских писателей. Пробравшись во многие культурные учреждения (Наркомпрос, театры, Белорусская академия наук, Госиздат, университет, сельскохозяйственная академия), национал-демократы и национал-оппортунисты всеми силами старались (и не всегда без успеха) вести и удерживать «свою линию» в литературе, создавать свои кадры, развивать националистическую пропаганду, отравлять националистическим ядом критику, словари, учебники по литературе. Писательские организации «Полымя» и «Узвышша» в значительной мере были превращены в литературные ячейки контрреволюционной нацдемовской организации.

Какие теории развивали нацдемы в литературе? Прежде всего теорию «возрожденчества». Эта теория означала, что Белоруссия и ее литература обязаны «возродить» золотой век, который якобы существовал в средние века, когда Белоруссия была в составе Литовского государства. Драматурги писали пьесы о тех далеких временах, поэты восславляли «белорусскую единую душу», критики—присущий этой душе «романтизм». Все усилия литературы нацдемов были направлены на то, чтобы отвлечь массы от классовой борьбы нашего времени, показать «бесклассовую» будто бы семью белоруссов во времена средневековья, разжечь патриотизм буржуазного толка. В смежных с литературой искусствах велась такая же работа: усиленно изучали церковную живопись, средневековую церковную и замковую архитектуру, церковные книги, песни, музыку. Все это возводилось в образец, которому слепо обязаны были следовать искусство и литература, если они хотели быть «великим искусством». Отсюда же—пропаганда архаизмов в языке и изгнание из него «советизмов». Словом, возродить буржуазную культуру—таков был лозунг нацдемов.

Вторая идея нацдемов—это равнение на Запад. Тщательно выискивая все то, что разъединяло белорусский язык и литературу с русским языком и литературой, тщательно избегая всего того, что в этих языках было общего, что их объединяло, белорусские нацдемы проповедывали ориентацию на литературу буржуазного Запада, в частности на польскую. Политическая концепция тут понятна сама собой: «дальше от пролетарской Москвы». Отсюда—полонизаторская политика в вопросах языка, теория борьбы двух культур—русской и белорусской, причем последняя должна была бежать от «более сильной» русской, если хотела сохранить свое существование», под щит западной культуры. Этому не противоречила теория самобытности, которую усиленно проповедывали нацдемы и которая разрешала националистическую замкнутость, реставрацию всех отживших форм культуры. Не противоречило потому, что это «спасало» от влияния пролетарской Москвы.

Пропагандируя особый, отличный от других частей Советского Союза, путь развития Белоруссии (хуторизация на датский образец, отказ от коллективизации и тракторов, задержка развития промышленности), нацдемы в литературе выдвигали идею мессианской роли националистической интеллигенции в противовес руководству пролетариата и его партии.

Конечно, такая линия в литературе была прямым отражением контрреволюционной работы буржуазных националистов в политической и хозяйственной жизни страны. Ставка на хутор и кулака нашла свое отражение в «Путешествии на новую землю» Зарецкого, в идеализации кулака в первой части «Языпа. Крушинского» у Бядули, в деревенской замкнутости тематики у других писателей.

Ставка на национализм, на борьбу против интернационализма нашла свое отражение в ряде стихов махровых нацдемов: Пущы, Дубовки, в пьесах—«Апрометная» Шашалевица, «Тутэйшыя» Купалы и т. д.

Октябрьская революция вызвала к жизни ряд писателей, выходцев из рабочих и крестьянских масс, писателей, прошедших школу гражданской войны. Среди них следует отметить первого пролетарского поэта-коммуниста Миха-

ся Чарота. Его «Босые на вогнішчы» явились первым произведением, отображающим борьбу Красной армии и пролетариата БССР против белопольской оккупации. За Чаротом поднялся молодой пролетарский поэт-коммунист Александрович, прозаики-коммунисты: Лыньков, Мурашка, Лимановский и др. Объединившись сначала в «Молодняке», потом в белАПП, эти молодые писатели БССР под руководством партии вели борьбу с националистическими силами в литературе, помогали партии разоблачать и разоружать врага и создать новую литературу.

3

Разгром национал-демократической организации в 1929—1930 гг., очистка Наркомпроса, Академии наук, Наркомзема, литературных организаций от националистов и национал-оппортунистов, разоблачение шпионской деятельности нацдемов, разоблачение кулацкой сущности их установок и теорий заставили ряд представителей писательской интеллигенции пересмотреть свои пути.

Победа социалистического строительства, рост культуры—вопреки нацдемовской подрывной работе и в борьбе против нацдемов—убедили этих товарищей в том, что единственный путь для писателя—это под руководством партии служить великому делу социализма. И хотя в литературных организациях, как и во всей стране, оставались замаскировавшиеся элементы буржуазно-националистического охвостья,—большинство писателей начало серьезно перестраиваться, преодолевая и уничтожая налеты националистической идеологии, а многие—и груз своего враждебного пролетариату прошлого. Разгром нацдемов сопровождался большим творческим ростом молодых писателей: Александровича (поэма «Цені на сонцы», «Нараджэнне чалавека», пьеса «Напор»), М. Чарота («Я прыгавар падпісваю першым» и др.), М. Лынькова (ряд рассказов из жизни железнодорожников, повесть «Апошні зверыядавец»), Р. Мурашка (роман «Сын»), П. Галавача (повесть «Спалох на загонах»), Ильи Гурского (пьеса «Качагарь»), Р. Кобеца (пьеса «Гута») и др. Эти произведения заменили собой вечно слезливое нытье нацдемов о

деревне, о «маці—Беларусі» (кстати, многократно предававшейся и продававшейся нацдемами).

Однако при всем росте советской белорусской литературы, при всех положительных качествах работы белАПП организационное построение писательских объединений, групповая борьба как внутри белАПП, так и вне ее стали тормозом дальнейшего роста литературы, дальнейшего более быстрого и четкого перехода многих писателей на позиции активной борьбы за социализм. Историческое решение ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года положило предел такому состоянию. Однако создание Оргкомитета единого Союза советских писателей еще не решило и не могло решить вопрос в целом. Оставались не изжитые групповые традиции и навыки, оставалось недоверие не только к писателям, пришедшим из других организаций, но и к писателям, принадлежащим к другим группам в самой белАПП. Самое постановление ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б было по-разному и, главное, неправильно понято многими писателями. Часть писателей, главным образом националистически настроенная, поняла постановление ЦК как свой реванш в борьбе против белАПП, как амнистию всех прошлых ошибок и разрешение писать все, что угодно и как угодно, вплоть до протаскивания идей прямой контрреволюции. Правые элементы поняли постановление ЦК как начало затухания классовой борьбы в литературе. Были и другие настроения. Часть писателей считала постановление ЦК для белорусской литературы преждевременным: у нас, мол, еще недостаточно выросла и окрепла пролетарская литература, поэтому следует сохранить для пролетарской части литературы некоторые «защитные» организационные мероприятия. Оргкомитет своевременно ориентировался в сложной обстановке, по-либеральному отнесся к напору со стороны правых и националистических элементов и тем самым допустил ряд выступлений буржуазных националистов на страницах литературных журналов и газеты «Літаратура і мастацтва»¹. ЦК КП(б)Б исправил ошибку Оргкомитета, мобилизовав всю общественность, и в первую очередь партийные организации, на борьбу против белорусского

¹ «Літаратура і искусство».

национализма, ставшего в условиях БССР главной опасностью на данном этапе. Под руководством ЦК КП/б/Б Союз советских писателей БССР ответил на вылазку классового врага еще большим сплочением вокруг партии, ответил новыми произведениями, направленными на разоблачение и разоружение националистов. Урок, который вынесла организация писателей из этого акта притупления классовой бдительности, дал возможность союзу внимательней пересмотреть свои ряды и очистить их от всех примазавшихся и пристроившихся, от всех, кто под фальшиво-национальным флагом пробовал скрывать свою контрреволюционную физиономию (Никанович, Лужанин, Таубин, Калюга, Русакович и др.).

4

В течение пятнадцати лет диктатуры пролетариата Белоруссия из страны отсталой и невежественной стала в один ряд с передовыми областями Союза. При братской помощи Советского Союза она не только неизмеримо увеличила продукцию промышленности, но и создала совершенно новую промышленность, причем многие предприятия Белоруссии являются одними из самых крупных в Союзе. Страна стала индустриально-колхозной и имеет сейчас вместо допотопной сохи 2 822 трактора, общей мощностью в 34 тысячи лошадиных сил. Большая часть бедняцко-середняцких хозяйств вошла в колхозы. Белоруссия стала республикой сплошной грамотности. Неизмеримо выросла и советская белорусская литература.

И тем не менее, анализируя нынешнее состояние белорусской советской литературы, мы обязаны отметить, что наша литература отстает от тех задач, которые партия и общественность ставили и ставят перед нею. Правда, мы далеко шагнули вперед, особенно за последние два года: мы имеем в активе большие, возросшие идейно и художественно произведения, мы обеспечили неразрывную связь литературы с политикой и практикой нашей партии. Однако мы имеем, и еще очень много, прорывов даже в области тематики, недостаточна еще наша борьба за качество произведений.

За эти годы мы сломали теорию дистанции, троцкистскую теорию «обоза», которая обрекала литературу на хвостизм. Такие произведения, как «Хлебная зима» Александровича, написанная в самый разгар хлебозаготовок, «Спалох на загонах» Галавача и «Адшчаченец» Коласа, созданные в разгар коллективизации, «Фронт» Главырина, написанный на материалах работы МТС, показали, что белорусский писатель может и должен создавать большие и долговечные художественные полотна на материалах нашего сегодня. Тов. Бровка своей поэмой «Так пачыналася маладосць», тов. Бядуля вторым томом «Язына Крушинского», в котором он разоблачает нацдемократизм и идеализацию кулачества, доказали, что наш советский писатель настолько органически включился в социалистическое строительство, что социальный заказ этого строительства является его родным, кровным делом. Мы сломали и другую контрреволюционную теорию национальной ограниченности—провинциальную «родную» замкнутость, которую яро проповедывали нацдемы. Пьесой и романом «Бацькаўшчына»¹ Кузьмы Чорнаго, стихами «Наша бацькаўшчына СССР» П. Бровки белорусская литература взорвала национал-демократический образ отечества, противопоставив ему отечество трудящихся всего мира—великий Советский Союз. «Баяном» и «На вялікай хвалі» Лынькова, поэмой «Ад полюса да полюса» еврейского пролетарского поэта Харика, романом Мизулича «Дужасць» (все эти вещи построены на материалах Беломорского канала и Магнитогорска) советская белорусская литература и по тематике вышла за границы БССР. Пьесой «Напор» Александровича на материалах бобруйского деревообделочного комбината, повестью «Каландры» Бровки о добрушской бумажной фабрике, повестью «Шелк» еврейского писателя Долгопольского—на материалах могилевской шелковой фабрики, пьесой «Конец дружбы» Крапивы—на материалах машиностроительного завода, повестью «Биография моего героя» С. Знаёмого—на материалах металлообрабатывающего завода им. Ворошилова и др. белорусская советская литература взорвала заколдованный круг слезливой деревенской тематики. Борьбой за очистку белорусского

¹ «Родина».

языка от национал-демократической засоренности архаизмами, ненужными провинциализмами, неологизмами нацдемовского порядка и полонизмами мы положили начало развернутой борьбе за качество литературного языка. И все же проделанная в этой области работа является только началом, только первым шагом в области борьбы за новые идеологические и художественные высоты нашей литературы.

Правильная линия партии в деле воспитания писательских кадров старшего поколения, успехи социалистического строительства и неуклонная борьба с национал-демократизмом создали то, что последние два года стали годами перестройки и тех писателей, которые в своем прошлом на определенных этапах стояли на враждебных для пролетариата националистических позициях. Старшее поколение писателей—Колас, Купала, Бядуля—активно включилось в практику социалистического строительства. На примере поэмы Янки Купалы «Над ракой Арэсай» мы видим плодотворное влияние на политический рост писателей, на их творческую активизацию факта непосредственного участия писателей в общественно-политической жизни страны. Поездка в коммуну ВВО с бригадой писателей подсказала тов. Купале новую для него тематику—о превращении белорусского болотистого Полесья в культурнейшее советское хозяйство. Это в свою очередь дало возможность народному поэту республики продолжить, развить и поднять на качественно новую высоту лучший, революционно-демократический элемент своего творчества: героический эпос, фольклорную простоту, народную лирическую песенность. Другой народный поэт, Якуб Колас, написал за последние годы две повести: «Адшчапенец» и «Дрыгва»¹, которые точно так же являются показателем перестройки этого писателя. Якуб Колас прекрасно знал дореволюционную деревню, но долгое время не мог осмыслить тех грандиозных классовых сдвигов, которые происходили в новой деревне. Повестью «Адшчапенец» писатель показал, что он уже начинает правильно понимать те классовые пружины, которые двинули основную массу бедняков и середняков в колхозы. В повести «Дрыг-

¹ «Отщепенец» и «Трясина».

ва» Якуб Колас показал, что он правильно понимает и те силы, которые двигали крестьянство белорусской деревни на борьбу против классовых врагов в период белопольской оккупации. Необходимо подчеркнуть перестройку таких писателей, как тов. Зарецкий, отягченных в прошлом значительным грузом национал-демократизма. Тов. Зарецкий написал за эти годы роман «Вязьмо» и пьесу «Сымон Карызна». В этих произведениях тов. Зарецкий пробует развенчать своего постоянного героя, «искателя красоты», который в разных вариантах появлялся почти во всех его произведениях. Этот герой-интеллигент со сложными, но в конечном счете пустыми переживаниями, главным образом любовного порядка, зачастую — лишний человек в нашем обществе. Неприспособленность к жизни вызывает у него своеобразную оголенность в звериных инстинктах. Но при этом автор так подает своего героя, что вызывает сочувствие к нему у читателя. Под влиянием упорной критики тов. Зарецкий в значительной мере развенчал своего героя и изменил свой творческий метод, в котором было очень много от буржуазного романтизма. В «Вязьме» и «Сымоне Карызне» тов. Зарецкий впервые в своем творчестве дал образ рабочего-коммуниста Зеленьюка, дал совершенно новый образ оппортуниста-левака Потероба и образ кулака в партии — Сымона Карызну. Такой же пересмотр своих творческих установок дает тов. Чорный. Пересмотрев и переоценив предыдущий свой деревенски-ограниченный принцип власти земли (роман «Земля»), тов. Чорный в романе «Бацькаўшчына» поставил идею классового понимания собственности и отечества, правильно обнажил классовые пружины этой самой «власти земли». Необходимо сказать, что перестройка писателей проходила под огромным влиянием консолидации коммунистических сил в литературе и усиления их ведущей роли. Пример Андрея Александровича, когда в наиболее острый момент борьбы партии против национал-демократов он бросил свою поэму «Цени на сонцы», как боевой снаряд, в лагерь врага или когда он обрушил на кулачество, саботировавшее заготовки, поэму «Хлебная зима», — вдохновил, толкнул не одного поэта и писателя на приближение своего творчества к актуальным задачам современности. Пример П. Галавача,

который впервые развернул показ классовой борьбы в процессе коллективизации, дал ориентацию многим писателям, отображавшим потом сложные переплеты классовых взаимоотношений в нашей деревне.

Примеры перехода на всесоюзную и индустриальную тематику дали писатели-коммунисты Лыньков, Харик, Александрович.

5

Какие проблемы подняла в последнее время белорусская советская литература? Мы уже говорили выше, что тов. Чорный в своем произведении «Бацькаўшчына» поднял и правильно разработал проблему отечества в буржуазном и пролетарском понимании этого слова, проблему собственности капиталистической и социалистической. Тов. Гурский в пьесе «Маці» поднял и правильно разработал проблему нации, показывая в художественных образах разделение наций на классы и классовую борьбу в них. Тов. Шашалевич в пьесе «Сімфонія гнева» поднял проблему становления на позиции пролетариата действительного художника, когда он лоб-в-лоб сталкивается с фашистской действительностью. Тов. Лыньков в романе «На чырвоных лядах» разработал проблему единства трудящихся и проблему руководства рабочего класса крестьянством. Его же перу в последнее время принадлежит ряд рассказов, рисующих переделку человеческого материала в процессе социалистического строительства. Тов. Микулич в своей комсомольской тематике чаще всего останавливается на проблеме воспитания кадров интеллектуального труда. Проблему перековки человека в социалистическом строительстве поднимает молодой прозаик тов. Знаёмы (повесть «Біяграфія моего героя»). Проблему перевоспитания крестьянина-единоличника ставят в своих произведениях гг. Колас, Бядуля, Зарецкий и другие.

Как положительный факт мы должны отметить, что писатели Советской Белоруссии правильно поняли сталинский лозунг о социалистическом реализме, правильно поняли, что только то произведение будет действительно

художественным и войдет, как полезное, в сокровищницу союзной литературы, которое поднимет и правильно, по партийному решит большие проблемы нашей современности, которое будет утверждать художественными образами большевистскую правду героической нашей эпохи и нашей борьбы.

Указывая крупнейшие произведения белорусских советских писателей последних двух лет, мы должны сказать и о драматургических произведениях. В области драматургии мы имеем за эти годы действительно большие достижения. Конкурс СНК БССР дал свыше семидесяти новых пьес. Среди них такие пьесы, как «Конец дружбы» Крапивы, вышеупомянутые пьесы—«Маці» Гурского, «Сімфонія Глеба» Шапалевича, «Фронт» Глазырина.

Эти пьесы являются ценным вкладом во всесоюзную драматургию.

Из остальных пьес следует отметить пьесу Романовича «Шчырасць і ман», показывающую классовую борьбу, развернутую вокруг постройки нового рабочего дворца; пьесу тов. Геловчинера «Великодушные», которая посвящена Парижской коммуне и причинам ее падения.

Из произведений молодых писателей мы уже упомянули о романе молодого писателя Микулича («Дужасць»¹) и повести Заёмого—«Біяграфія моего героя». Следует отметить также повести тов. Самуйленка «Паляунічае шчасце»² и «Теорыя Каленбрун». Последнее помимо роста качества художественных компонентов поднимает чрезвычайно актуальную и нужную нам тему (классовая борьба в армии соседнего с нами государства), мобилизует внимание советского читателя на продолжающейся работе фашистов по подготовке интервенции против Советского Союза. Точно так же следует отметить две повести тов. Шинклера «Сонца пад шпаль» и «Запіскі інструктара Томана», в которых разрабатывается тематика железнодорожного транспорта. Из молодых поэтов следует особо отметить тов. Кулешова, написавшего в эти годы две повмы: «Амонал» и «Гарбун». Эти повмы указывают на быстрый рост молодого поэта.

¹ «Мошч».

² «Охотничье счастье».

Было бы, однако, совершенно неправильным и даже вредным видеть только положительное, что имеется в советской литературе БССР, и не видеть многих прорывов и недостатков ее. При всем росте и достижениях все же остается правильным утверждение, что литература отстает от хозяйственного и культурного роста всей страны. Даже по тематике мы не отвечаем полностью на предъявленные нам требования. Мы взорвали деревенскую ограниченность, однако у нас чрезвычайно мало произведений о нашей индустрии, почти нет произведений о крупнейших новостройках БССР. Даже в деревенской тематике мы не отобразили работы МТС, работы политотделов МТС, совершенно не отобразили работы совхозов. Только в последнее время мы имеем, хотя и очень небольшой, сдвиг в этом деле (пьеса Глазырина «Фронт» — о крепком большевике, начальнике политотдела, пьеса Ильинского «Хвароба Лаурэна», стихи Федоровича «Дні палітаддзела»). Советская белорусская литература дала в последнее время ряд новых образов большевика (Евал Цывін у Кузьмы Чорного, Иван Иванович у Лынькова, Карнейчик у Крапивы, дед Талаш и Невидный у Коласа), однако у нас мало еще показан образ рабочего-ударника — центральной фигуры нашего строительства. Точно так же слабо показан тип строителя социализма, в том числе и члена коммунистической партии. При этом, как ни странно, в произведениях коммунистов-писателей образ коммуниста не занимает центрального места, в то время как это место он начал занимать в ряде произведений беспартийных писателей (у Крапивы, у Чорного, у Глазырина). Только у тов. Гурского в пьесе «Маці» коммунист Бупма является одной из центральных фигур. Чрезвычайно слабо обстоит дело с оборонной литературой. В этой области значительно лучше разработана тематика времен гражданской войны (поэмы Чарота «Босыя на вогнішчы», «Сын партизана», повесть Коласа «Дрытва», пьеса Крапивы «Конец дружбы», Гурского «Маці» и др.). Зато совершенно мало отражена жизнь современной Красной армии. Среди писателей, работающих над тематикой современной Красной армии, следует упомянуть о тов. Шаповалове, который сейчас

окончил роман «Большевики границы», начподив Чонгарской дивизии тов. Кропачев окончил повесть о борьбе с басмачеством в Средней Азии. Работник этой же дивизии тов. Крючкин дал ряд стихов и рассказ «Комзвод Шиханов» о быте и учебе в Красной армии. Отрывки из этих произведений и стихи ряда молодых начинающих писателей, работников Красной армии собраны нами в специальном альманахе «Атака».

Несколько слов о детской литературе, в которой мы за последний год имеем значительный сдвиг. Конкурс на лучшую книгу для детей дал свыше 35 новых книг. Среди них есть ряд чрезвычайно ценных произведений (Маура, Александровича, Якимовича, Коласа, Харика и др.). Однако при огромном голоде в области детской литературы этого мало. К тому же следует отметить, что ряд крупнейших писателей, как Кузьма Чорный, Крапива, Лыньков, Купала, в конкурсе не участвовали и задолженности перед пролетарской детворой не покрыли.

Развернувшаяся было борьба за очистку языка от нацдемовского хлама не переросла еще в борьбу за высокое качество литературы, в том числе и за качество языка. Мы имеем большую засоренность языка словесным хламом у Шинклера, Знаёмого, Бужана, большую «засушенность» языка у т. Скрыгана. Язык Лынькова, при всех положительных качествах его произведений и крепкой фольклорной насыщенности, страдает излишней деревенской «певучестью». Язык т. Микулича излишне расточителен. У ряда писателей нет достаточной работы не только над языком, но и над образом, над сюжетом. Поэтому нередко случаи, когда крепко сделанное произведение имеет большие «провалы» с этой стороны, что снижает художественную ценность всего произведения. (Это и в «Спалохе на загонах» Галавача, это даже у Я. Коласа в «Дрыгве» и у других писателей.)

7

Секция еврейской советской литературы является одной из крупнейших секций ССПБ, причем в ней широко развернута творческая и политическая работа. Еврейские писатели Белоруссии дали за эти годы ряд значительных произведений. Во главе основных коммунистических и

пролетарских кадров еврейской литературы БССР стоит тов. Харик. Он занимает одно из руководящих мест во всей еврейской литературе СССР. Он пользуется исключительной популярностью среди революционных и коммунистических еврейских рабочих за границей. Почти все его стихи перепечатаны в легальных и нелегальных коммунистических изданиях за границей. Его последнее произведение «Кайладыке вохн» («Конвейер дней») представляет собой большую патетическую панораму социалистического строительства. Перекрестным огнем пролетарской патетики, революционно-романтической фантастики, реалистических бытовых, жанровых зарисовок и пейзажей, саркастической пародией и сатирой по адресу буржуазно-националистических литературных канонов тов. Харик бьет по еврейскому, белорусскому нацдемократизму, по старому быту, по ряду авторитетов еврейской буржуазно-националистической литературы (Аш, Лейгорн и др.). «Конвейер дней» важен тем, что Харик не ограничивается здесь голыми лозунгами, а сохраняет свою органическую связь с советской действительностью в ее национальной конкретности (язык, новый социалистический фольклор, пейзаж, жанровые сценки и т. д.). Одновременно Харик весьма активен в жанре политической лирики. В последнее время он закончил поэму о Белморстрое, в которой дает яркий показ переделки людского материала.

Из рядов поэтического молодняка выделяется группа поэтов: Каменецкий, Тэйф, Гарцман и др. Недавно вышла из печати книга стихов тов. Каменецкого. Основная тематика его стихов—героика Красной армии, социалистическое строительство и советский быт. Каменецкий дает бодрый социалистический, доступный по своей простоте, фольклорно-насыщенный, романтически-приподнятый стих. Он прекрасно обыгрывает бытовые детали, показывая на них смену социально-экономических формаций. Стихи его крепко сцементированы фабульным стержнем. Основным недостатком Каменецкого следует считать некоторый крен в сторону излишней интимности и замкнутости темы, недостаточную идейно-творческую смелость (с целью немедленного реагирования на политические события).

Наиболее ярко процесс перестройки можно проследить на примере творчества тов. Аксельрода и Кульбака. До последних лет творчество Аксельрода носило на себе печать мелкобуржуазной растерянности, есенинской элегичности и отчасти—есенинской богемины. Основным стержнем его творчества был «плач» о тех, которые не в состоянии «смотреть светло на этот мир». Питательной базой упадочничества Аксельрода служила деклассированная мелкобуржуазная беднота. Под влиянием побед нашего строительства, благодаря систематическому воздействию со стороны коммунистической критики, тов. Аксельрод, прошедший к тому же в последние годы школу Красной армии, начал новыми глазами смотреть на разворачивающиеся перед ним события. Уже к 23 апреля 1932 года Аксельрод в значительной мере шагнул вперед в деле своей политической и творческой перестройки, начав этот поворот тематикой Красной армии. Пафосом оптимизма, чувством ответственности перед своей страной, усилением эпически-реалистического элемента отмечается путь этой перестройки. Но рецидивы мелкобуржуазного индивидуализма и литературщины еще не изжиты им до конца.

М. Кульбак—видный в БССР советский писатель—в последние годы написал книгу «Зельменяне» и поэму «Чайльд Гарольд из Диснь». В книге «Зельменяне» он освещает в юмористическо-лирическом свете уходящий полупатриархальный быт. Кустари и рабочие, противопоставленные патриархальному быту, показаны несколько в народническом и биологическом плане смакования «здорового народного нутра». Однако в книге есть ряд ярких сцен, подчеркивающих переделку кустарей в условиях советской действительности. Поэма «Чайльд Гарольд из Диснь» направлена против еврейской националистической мелкобуржуазной интеллигенции. На материале Германии и ее культуры, охраняемой юнкерами, Кульбак дает сатирические образы загнивания европейской буржуазной культуры. Юмористически, а порой сатирически даются образы «левых» эстетов, которые пытаются играть роль оппозиции против «мешанской культуры буржуа». В поэме мало и поверхностно показан рабочий класс и его культура в борьбе против культуры загнивающей буржуазии. Дальше обычной радикальной критики «разло-

жения Европы» Кульбак почти не идет. В самой поэме нет показа фашизма в Германии, как будто его и не было. Кульбаку, который идет от своих более ранних вещей, насыщенных национал-мистицизмом, идеализацией патриархальных отношений и мелкобуржуазного радикализма, следует в минимальные сроки повернуть свой тематический стержень в сторону действительных процессов окружающего его социалистического строительства.

Тов. Тэйф несколько лет блуждал идейно и творчески. Находился некоторое время под сильным влиянием есенинской лирики. Долгое время молчал. В 1930 году напечатал ряд оригинальных поэтических вещей («Виолончель», «Романтическая ночь» и др.). Подчеркивает свое положительное отношение к романтизму, находясь под влиянием Гейне, Гофмана и ряда других буржуазных романтиков. Одновременно крепко насыщает свой стих социальной патетикой. Однако его сатира порой снижается до уровня фельетона, его романтизм низводится нередко до буржуазного манерничания и аллегоризма, его патетика в ряде мест низводится до голой риторики. Сейчас работает над новой вещью, которая изображает отдельные моменты революционного движения.

М. Гарцман—молодой поэт—пришел в еврейскую советскую поэзию со значительным грузом символизма и социальной подавленности. «Простой безъязыкий человек»—это центральный образ первой книги его стихов, это образ отсталой и деклассированной бедноты, образующей классовую базу творчества Гарцмана. Отсюда у Гарцмана «немой протест» и тяга к неосознанным поэтическим видениям, к социальному надлому. Однако последние годы у тов. Гарцмана идут под знаком творческого подъема и освобождения от туманно-символической анархии ассоциаций, хотя и в последней его книге кое-что осталось от вычурности и надрыва прошлого.

Значительно слабее обстоит дело с еврейской советской прозой. В этой области нет достаточно квалифицированных работников. Проза тов. Долгопольского в значительной мере стоит на уровне натуралистических бытовых описаний. Более удачно тов. Долгопольский выступает в жанре поэтического фельетона и сатиры.

Из молодых прозаиков следует отметить тов. Каган Э. и тов. Кацовича. Последний недавно выпустил книгу своих юморесок.

Польская советская литература БССР находилась на значительно более низком уровне, чем белорусская и еврейская. Причиной этому послужило недостаточное внимание со стороны Оргкомитета (в начале его работы), остатки «вождизма» со стороны «общепризнанных» двух-трех писателей, а потому отсутствие работы с молодежью и слабая возможность печататься. Только этот год дал некоторые сдвиги. Уже сданы в печать: Ковальский—сборник стихов, две поэмы: «Шымон Свісь» и «Человек из Альтоны», Романовская—три повести: «С весной вперегонки», «Земля пахнет» и «Дети советских полей» и одна пьеса для детей о Красной армии; Крачковский—две повести: «Замок Любенский» и «Юлий Постригач»; Горавский—сборник стихов; Жарский—сборник рассказов. Сборник, посвященный съезду колхозников—«Пусть попробуют», вышел из печати.

Основная тематика этих книг—колхозное строительство в Советском Союзе, борьба с белопольскими войсками периода 1918—1920 гг., классовая борьба в сегодняшней Польше и других буржуазных странах. (Например, «Человек из Альтоны» Ковальского—поэма о героической смерти немецких коммунистов Лютгенса, Вольфа и др.) Тов. Ковальский—один из наиболее даровитых молодых писателей, однако ему еще очень многому надо учиться. В его поэмах, и в особенности в «Шымоне Свісе», большая расплывчатость в очертаниях образов, недостаточная фабульность, недостаточная рельефность политической идеи—стержня поэмы. В «Шымоне Свісе» больше увлекает романтика борьбы, чем ее политическое содержание.

Романовская—поэтесса и прозаик—дала за эти годы большую продукцию, причем в прозе оказалась значительно сильнее. Основная тематика—колхоз. Из недостатков творческого метода следует отметить все ту же недостаточную выпуклость идейного стержня.

Адам Горавский написал ряд небольших стихотворений на те же темы. Крачковский, политэмигрант, в своих повестях рассказывает о героической борьбе польского пролетариата.

На эту же тему (о Франции и Германии) есть ряд рассказов Жарского. В последнее время к литературе потянулся через газету «Орка» молодежь из колхозов, учебных заведений (Двожинский, Романовский, Ф. И. Павлович, Бабицкий, Войцеховский и др.). Сама секция начала более регулярно работать, помогая писателям. Одна беда: полиграфическая база слишком медленно проворачивает польские книги.

Литовская секция Оргкомитета состоит из восьми товарищей, большинство которых по творчеству надо причислить к начинающим писателям. Кроме этого, при литовской семилетке в Лезненском районе имеется литкружок. В этом году сданы в печать: сборник стихов Садонайсиса, сборник рассказов Джугаса. Литовские писатели БССР участвовали в общесоюзном сборнике. Основная тематика — колхозное строительство. Кроме того, Джугас дал ряд рассказов о безработице в Германии и о жизни малоземельных крестьян в Литве. Творческие дискуссии, которые проводила секция, дали возможность предупредить выпуск в свет двух поэм Скрилюнас с искаженным показом революционного движения (игнорирование роли рабочего класса в революции 1905 года). Сейчас на очереди проработка новой пьесы тов. Мейлутиса: «В когтях царизма» — из жизни литовских трудящихся до революции 1905 года.

Литовская секция крепко включилась в нашу секцию по работе над языком, в итоге чего должно быть унифицировано правописание литовского языка.

Русские советские писатели БССР в своей массе состоят из работников Красной армии. Из них мы уже упоминали вещи Глазырина, Шаповалова, Кропачева и Крючкина. Следует упомянуть драматурга тов. Курдзина, пьесы которого «Межбурье» и «Контратака» обошли почти все театры советских республик (как и пьеса белорусского писателя Р. Кобеда «Гута»).

Мы не охватили, конечно, всей советской литературы БССР. Однако и сказанного достаточно для того, чтобы видеть огромный рост, огромные достижения, с которыми эта литература приходит как к своему съезду, так и к первому всесоюзному съезду Советских писателей. Политический и экономический рост Советской Белоруссии, тор-

жество национальной культуры нашли свое отражение в расцвете советской белорусской литературы как части всесоюзной литературы. Правильное руководство ВКП(б) и ее ЦК и величайшего учителя и вождя партии тов. Сталина, взаимная поддержка, обмен опытом творческой и политической работы, братская помощь со стороны русских писателей— вот что обеспечило и обеспечивает в дальнейшем рост литературы наших национальных республик. Работа белорусской бригады всесоюзного Оргкомитета, под руководством т. Вл. Бахметьева, в составе тт. Огнева, Лидина, Бруно Ясенского, Левмана, Вашенцева и Маркиша, оказала огромную помощь Союзу советских писателей Белоруссии не только в развертывании массовой работы по подготовке к съезду, но и в развертывании творческой дискуссии, в постановке ряда проблем, которые оказались общими для всесоюзной литературы. Работа бригады еще больше укрепила интернациональную связь двух братских литератур в борьбе за боевой пролетарский интернационализм.

Следует особо приветствовать предложение бригады, осуществленное в чрезвычайно короткий срок, о выпуске настоящей книги, которая должна дать широким читательским кругам СССР некоторую возможность ознакомиться с лучшими произведениями писателей БССР. Самый факт выпуска этого сборника является еще одним доказательством правильности линии и практики всесоюзного Оргкомитета и его непосредственного руководителя, величайшего пролетарского писателя нашей эпохи, любимого всеми народами Союза Советов, Алексея Максимовича Горького.

ПОЭЗИЯ

РНДЭОН



ЯНКА КУПАЛА

Я Н К А К У П А Л А

ИВАН ДОМИНИКОВИЧ ЛУЦЕВИЧ

Родился в 1882 году 25 июня (ст. ст.) на хуторе Вязинка, Ви-лейского уезда, б. Виленской губ. Сын мелкого земельного аренда-гора. До 23 лет занимался хлебопашеством, потом служил на за-водах, в Вильно—в библиотеке, учился в Петербурге. Во время войны служил десятником в дорожностроительном отряде. С 1919 го-да—литературная и техническая работа в советских издательствах.

Начал писать с 1905 года, работая на земле. Первое стихо-творение «Мужик» напечатано в минской русской либеральной га-зете «Северо-западный край». В литературных организациях до избрания в члены ССП БССР не участвовал.

До сего времени вышло из печати шесть томов собрания сочи-нений, общим счетом около 125 печ. листов, кроме отдельных сбор-ников, печатавшихся в разное время. В 1933 году вышла из печати поэма «Над рекой Орессой».

В переводе на русский язык вышли:

1. Янка Купала, белорусский поэт. Избранные стихотворе-ния в переводах русских поэтов. Москва, 1919 г.
2. Янка Купала—«Сборник стихов». Москва, 1930 г.
3. Поэма «Над рекой Орессой», изд. ГИХЛ, 1933 г.

Пишет на белорусском языке.

из поэмы

«НАД РЕКОЙ ОРЕССОЙ»

Ворон клюв свой свесил
Над гнилой колодой...
Приснились Полесью
Минувшие годы.

Разлеглись без края
Болота далеко,
Трясина гнилая,
Тростники, осоки...

Человек идет там
(Покидают силы)
Кряхтящим болотом,
Широкой могилкой.

Зверь блуждает дикий,
Наползают тучи,
Птиц глухие крики,
Шорохи гадючьи.

Тишина тревожна...
Медвежья берлога...
Вышел осторожно
Лось на дорогу.

Кабаны выходят,
Волчий след—за ними....
Ночь глухая бродит
Пулями глухими.

Изредка по шири
Лодочка скользила,
Будто в этом мире
Не нашла могилы...

.....

Кукует кукушка—
Раз, другой и третий...
Считает старушка—
Скоро ль умереть ей...

И опять могила—
Полесье беспробудно—
Спит его сила.
Под тяжестью трудной.

Люди! Где же люди?
Много их, иль мало?
Впалые груди
Горе лапой сжало.

Безутешны дали...
На буграх песчаных
Встали пепелищем
Хаты, как курганы.

Под шум непрерывный
Соснового прибоя
Пашут слой песчаный
Нелепой сохою.

Сквозь зиму, сквозь осень
Шли, с судьбой не споря...
Мы—не люди вовсе,
Мы—выдумка горя...

.....
Свистнул раз, свистнул два
Юркий паровозик.
И повез и повез
За возиком возик.

Вагонетки бегут
По рельсам чугунным
Прямо в «Сосны»—в совхоз,
От самой коммуны.

Из совхоза назад
В коммуну помчали....
Сколько радости здесь—
Если бы вы знали!

То не шутка, не смех—
Хозяйству в подмогу
Проложили свою
Железную дорогу.

Ты кукуй, не кукуй,
Птица-подружка...
Коммунары поезд
Прозвали «кукушкой».

.....
А на речке на Орессе
Коротки сроки—
Наступают на болото
С севера, с востока.

Там цветет уже коммуна
Торфяником бурным...
Полещук же одинокий
Брови нахмурил.

Ты не хмурься, добрый дядька,
Светлой порою
Для твоей же лучшей доли
Мы коммуну строим...

.....

А по речке по Орессе
Бегают «моторка»...
Старый челн, как корыто,
Завидует горько.

Доживает век свой старый
Жизнью иною...
Новый быт плывет в Полесье
Лодкой стальнойю...

Перевел *М. Светлов*

Уходишь ты, как сон нелепый,
Деревня старая, из яви.
Твои сыны, отбросив трепет,
Сломав проржавевшие цепи,
Идут к иной судьбе и славе.

Твои задумчивые люди
Пойдут в поля с иною думой,
Под ляг и гром иных орудий.
Не будет надрывать их груди
Труд беспощадный и угрюмый.

И внук твой не пойдет с котомкой,
Как нищий безотрадной степью,
Искать пристанища и дома.
Былого мрачного обломки
Рассеются, как в бурю пепел.

Горбы твоих немых курганов,
Где спят рабы, князья, герои,
Изрежет сталь, как нож—барана,
Изжарит солнце, чтоб желанно
Цвели хлеба на перегное.

Где сёл погосты и ограды —
Колхозов вырастет величие.
И в блеске многоцветных радуг,
Гася лучины и лампы,
Зажгутся нити электричеств.

Твоих свирелей звук печальный
Растопчет трактор гулом зычным.
И пахарь твой тропюю дальней
Уж не пойдет многострадально,
Чтоб у креста стонать неслышно.

Твои трухлявые колеса
Испепелит авто бензином,
И твой косец простоволосый
Свои захватанные косы
Заменит рокотом машинным.

Не будет девушка дремотно
Клониться над куделью ночи.
Придет машина, принесет нам
Шелка, и сукна, и полотна
Для всех колхозников, рабочих.

Твои седые предрассудки
Рассеет радиоантенна.
Веселой песней, звонкой шуткой
Она напев развеет жуткий
Про бор и Неман неизменный.

Русалка с лешим ночью длинной
Не будут уж пугать селенья.
Погибнет водяной под тиной,
С домов сметая паутину,
Ворвется в окна день весенний.

Над башенкой твоей часовни
Взовьются трубы фабрик новых,
И станет пусто и темно в ней,
И робко смолкнет звон церковный,
Гудков слышца песни-зовы.

И сыновья твои и деды
Навек сроднятся с жизнью новой
И, новой радостью согреты,
Поймут величие победы,
Победы нашей октябровой.

И ты уйдешь, как сон нелепый,
Деревня старая, из яви.
Твои сыны, отбросив трепет,
Сломав прожжавевшие цепи,
Идут к иной судьбе и славе.

Перевел Д. Ронин



ЯКУБ КОЛАС

Я К У Б К О Л А С
КОНСТАНТИН ИВ МИХАЙЛОВИЧ МИЦКЕВИЧ

Якуб Колас—Константин Михайлович Мицкевич—родился в 1882 году. Уроженец бывшей Минской губернии, теперь Западная Белоруссия. Белорусс, сын крестьянина, лесника. Окончил учительскую семинарию, с 1900 по 1915 год был народным учителем. За участие в учительском съезде в 1906 году судился и отбыл три года заключения в крепости (1908—1911 годы). В 1915 году был мобилизован в армию. В 1918 году декретом советской власти был освобожден из войска как народный учитель. Печататься начал с 1906 года, когда стала выходить первая белорусская газета «Наша доля», «Наша нива». В 1921 году переехал в Белоруссию, поселился в Минске, где проживает и до настоящего времени. Был преподавателем в педагогическом техникуме, членом Института белорусской культуры. С 1929 года—академик Белорусской академии наук и вице-президент. Печатные произведения: «Песни жалбы»—стихи, «Родные зьявь»—рассказы в прозе, поэмы «Новая земля», «Сымон Музыка», «На шляхах волі», «Міхасевы прыгоды», повести «В глуши Полесья», сборники рассказов «На просторе жыцці», «Дрыгва», «Отщепенец» и другие.

Пишет на белорусском языке.

НА ПУТЯХ СВОБОДЫ

ОТРЫВОК ПОЭМЫ

Жизнь не бредет, а мчит ветрами,
И каждый день и каждый час
Растет порыв творящих масс,
И за фундаментом фундамент
Возводит мощными руками
Вчерашний раб и свинопас.

Страна рабочего расцвета,
Союз свободного труда
Вперед шагает как титан.
И что фантазия поэта
Пред постуью гремющей этой,
В которой воля и мечта?

И горы слышат эту постушь,
И недра темные земли,
И степь, где никли ковыли,
Где стыли древние погосты,
Где письма чертили просто
Соха и плуг в земной пыли.

Где рос бурьян, где цвел шиповник—
Теперь сметаются межи
Под горделивый гром машин.

Не превратилось сердце в тлен,
И распахни пошире двери.
Чтоб глаз пытливый мог измерить
Величье грозных перемен.

За годом год встают как грани.
Поэт, раскройся горячо!
Возьми винтовку на плечо,
Нащупай звонкий пульс дерзаний,
И в стены возводимых зданий
Пусть песня ляжет кирпичом.

А жизнь чудесно-тороплива
И сказочна, и трудно мне
Нарисовать на полотне
Ее неожиданные извивы
И волн гигантских переливы,
Бурлящих в страшной глубине.

Дорога дальняя стремится,
И на распутии трудных лет
Остановился ты, поэт.
Сегодня радостно искрится,
Горят вчерашние зарницы
И утро завтрашних побед.

И все, чем ныне сердце живо,
Что расцвело, но не нашло
Еще ни образов, ни слов,—
Бежит потоком прихотливым.
Да будет путь его счастливым!
Да будет мне хороший лов!

Перевел С. Лесман

МИХАСЬ ЧАРОТ

КУДЕЛЬКО



Михась Чарот (Куделько) родился в 1896 году в деревне Руденск, недалеко от Минска. Отец Чарота был малоземельным крестьянином.

Начал учиться поэт у так называемого «директора», т. е. у учителя, который ходил по хатам. В 1913 году поступил в молодецкую учительскую семинарию. В семинарии он и начал писать стихи.

По окончании семинарии, в начале 1917 года, Чарота мобилизовали в армию и направили в офицерскую школу. В это же время

поэт начинает знакомиться с революционным движением и принимает в нем участие.

После демобилизации приехал в Минск и поступил в педагогический институт. Во время белопольской оккупации принимал участие в подпольной работе. В 1920 году вступил в коммунистическую партию.

Только при советской власти Чарот получил все возможности для широкого развертывания творческой деятельности. Но поэт не ограничивается только литературной работой. Он работал редактором газеты «Советская Беларусь», редактором иллюстрированного журнала «Червоная Беларусь» и на протяжении долгих лет выбирается на всебелорусских съездах Советов членом ЦИК БССР.

Главнейшие книги: поэмы—«Босыя на вогнішчы», «Лейні», «Беларусь лапцюжная», «Карчма», «Марына», «Чырвоныкрылы вяшчу».

Сборники стихов: «Завіруха», «Сонечны паход», «Веснаход»—рассказ, «Творы», тт. I и II.

В переводе на русский язык «Рассказы». ГИХЛ, 1931 г.

Пишет на белорусском языке.

БОСЫЕ НА ПОЖАРИЩЕ

1

... Войной и пожаром!..
На пожарище люди
Проживают босыми...
— Неужель так и будет?
Мы работаем даром
Над полями чужими.
Работай—на пана,
Работай—на подпанка!
Жить стало погано,
А тут еще спозаранка
Всякий чорт лезет в болото!
Садануть бы его с налета,
Да—трах!
Какой тут страх?!
А ты молчишь—
И крест тяжелый волочишь...
Крестами усеяно поле,
Под крестами—могилы.
Не проложат дороги к Воле
Человечьи слабые силы.
— Эх, живи, как попало...
Но для жизни мало
Одного только хлеба...
Погулять бы, душу отвести!..
Эх! Пустяки!!!

На востоке румянится небо:
Словно золото, падают косы...
Полны золота нивы и плесы...
 День новый, новые ночи,
Век новый: пламени, дыма, пепла...
О, многим будет жарко!
Нам же только тепло,
Хотя мы и босые!..

2

— Пожар на Востоке!
Товарищи, ур-р-ра!
— Что вы так злы и жестоки?
 Разве не жаль вам добра?
Все, что копилось веками,
Уничтожают огни...
— Молчи! Мы тебя—кулаками!
Слышишь?!! Ни-ни!
Церкви, дворцы и хоромы—
Память бывшего—под дымом!
Выгнав грузные громы,
Мир мы на воздух подыдем!
Страшно вам? Чудится бездна?
Пламя коверкает очи?
Нам же светло среди ночи.
Не лейте крови—бесполезно!
 Молите, грешные, небо!
Но нет, не померкнет пожарище,
Но нет, не минуете кары!
 Товарищи!
Что нам треба?
 — Пожа-ары!..

3

И горит забор истлелый,
Искры мечутся окрест.
Ветер свежий, ветер смелый
Нам несет багряный крест.
— Пусть одним крестом—их боле!
Голосит людской поток...

На кресте читают «Воля».
— Братцы, гляньте на Восток!

Это пламень избавленья
Нам несет Багряный крест.
— Гряньте гимн освобожденья,
Братья из далеких мест!

И несется песня воли
Вдоль болота, вдоль реки...
И о лучшей вольной доле
Замечтали тростники.

4

Кресты и холмы на болоте...
Заросшие дерном могилы—
Все в пламени, как в позолоте:
Бушуют две страшные силы...

Труда и богатства сраженье,
Рождается светлое «завтра»...
В сверкающем вооруженьи—
На кривду обрушилась правда...

Глядят, потешаются люди,
И женщины шепчутся тихо:
—Быть может, и лучше нам будет!
Забудем пудовое лихо!

Трепещет наш поп-непоседа,
Поповская кончилась песня!
Довольно терпеть дармоеда,
Берись за работу, хоть тресни!..

5

— Стой, ребята! Стой на месте!
Не бросайте на беду...
— Улещал напрасно в Бресте:
Что войною не пойду...

А теперь—гляди!.. Ну, диво!..
Подождите... как же нас?

— К вам мы возвратимся живо,
А теперь мы: раз!—два!!—раз!!!

У обугленных строений
Слышен голос бедноты...
— Где укрыться в дождь осенний?
Иль задать нам ла-та-ты?
Пан с подпанками хохочет,
Гладит толстый свой живот
И под нос себе бормочет:
— Идет Федот, да не тот!

6

Белорусскими полями
Пролетает буря...
— Вновь мы скованы ярмами,—
Шепчет люд понурый.

Черный ворон, точно знамя,
Крылья расправляет,
Над склоненными крестами
Песню напевает.

Чует запах человеческий,
Когти выпускает,
Вниз опустится—навстречу
Копоть налетает...
Он бросается в просторы,
На буран мятежный...
Режет крыльями узоры
В небе черноснежном...

7

А на земле—дождались рая:
Старые порядки и манеры,
Вот идут в погонах офицеры...
— Упокой раба Николая...
—Алексею—многие лета...
Босые шепчут: что это?
С кокардой, очками украсив нос,
Чиновник по скверу гуляет...

В его карманах нет напирос,—
Должно быть, много получает?
На Захарьевской улице,—
Только ночь наденет черный халат,—
Песня проститутки слышится:
— Полюби хоть немножко, камрад!
Босые ступают по пеплу.
На Восток взирают, надеясь:
— Покуда нам еще тепло,
Но мы вам вспомним все,
Злодеи!..

8

Буря страшная взрезала высь,
Окарнала вороньи крылья...
— Земля! Ах, земля, теперь я
Вниз полечу—берегись!..
И ах откликнулось: «Ах!»
Буржуев объял страх,
Вертеться им нынче, скакать!..
Червоная гремела рать,
Шеренги ширились стальные—
И злобный шопот их встречал:
— Эх, вы, сякие и такие,
Чорт бы вас побрал!..
А босые приветствуют их:
Песни, шутки, крик...
— Туда бежал, назад прибежал,—
Ишь ты, большевик!

9

Босым дорогу!
Поп, помолившийся богу,
Плывет по проулку:
— Что за время ныне...
А в разбитой витрине
Спекулянт ищет булку.
Чиновник казенной палаты
Скинул парадный сюртук...

Бурчит под нос: «Проклятые!

Снова они тут!»

Паны удрали за границу—

Давай бог ноги...

Гроза в громах на город мчится...

— Б-о-с-ы-м д-о-р-о-г-у!..

Убежали? Ну, так что ж!

На пожаре босоножь!

Погуляем... Бедняки,

Покидайте чердаки!..

Завтра там, а нынче тут...

Буржуазии капут!..

Мы гуляем на болоте!

Мы воюем—на охоте!

Львиную забравши долю,

Раскричались люди вволю:

— Вой, вой, вой!

— Будет бой!..

10

Красным завешены улицы:

Окна, балконы, плетни...

Белая церковь сутулится,

Пустует ночи и дни...

Читают молитвы попы косматые,—

У бога спрашивают: как быть?

А босые на собраньи

Посылают... к чорту...

Довольно панам служить—

Вот наше задание!..

А как мы будем называться?

Как будет зваться то и это?

— Давайте вместе все сражаться—

За молодость планеты!

Замолкли все—не слышно слов...

Ответную все ожидают фразу...

Лишь шопоток несется из углов:

— Бог большевистскую послал заразу!

Вновь мы безъязыкие, немые,

Вновь терпи с тоскою затаенной:

Всю власть забрали босые,
А их тут—милльоны!..

11

Не молкнет буря. Стонет лес.
На все лады горланят вихри.
Залез к русалкам старый бес,
Над озером справляет игры.

Багровый цвет бесстрастных вод,
И этот небосвод глубокий!..
Из тех краев, где смерть поет,
Бегут кровавые потоки.

С русалками танцует бес,
Бьют музыканты—«Бух да бразь!»
Пред синее лицо небес
Над озером всплывает князь.

Нет сна ему... Громит огонь
Его родимую равнину...
Под ним подрагивает конь,
И кличет князь свою дружину...

Колеблется ночная тишь...
Поют русалки над водою...
И слышит он: «Чего кричишь?
Твоя дружина там с тобою».

— А где покорный мой народ?
Он за меня в сраженьи ляжет?
И страшен шум кровавых вод:
— Теперь он сам собою княжит!

Князь дернул своего коня
Так, что задрались к небу ноги,—
А на востоке в блеске дня
Легли кровавые дороги...

И снова слышно «Бух да бразь!»
В глубокой сердцеvine ночи,—
И вновь на дно уходит князь,
Надвинув шлем на лоб и очи.

Его синеющая тень
Застлала озеро туманом,
И плещут волны ночь и день,
Поют и плещут неустанно...
Русалочий рокочет смех
И нежно зазывает всех,—
И многим хочется воочью
Увидеть призрак князя ночью...

12

На пожарище—дым...
На улице—ветер... буря...
— Бежим,
Покуда душа наша мечется в шкуре...
— А мы, босые, отступаем...
Не отдадим охотою
Новой земли!
Товарищи, стреляем!
Ротою!
Пли!..
Эхо четко повторяет звук...
Черный жук
И паук
Сидят в подвале, точно воры,
Боятся высунуть живот.
Дети собачьи!
Они поглядывают через заборы
И в кулак плачут:
— Видишь, наши убежали,
А куда деваться нам?
Вновь служить панам—
Времена настали?
На улице мало людей.
Ночь явилась, и в городе—пусто.
Новый крик раздается сильнее и сильнее:
«Тшэ-пу-устка!!!»

13

Застонали веси и села...
Бричка стоит у светлицы...

А народ укрывался в костелах,
Чтоб в лампадном сияньи молиться...
Бэндзь, люд спанялы...
На шапке «ожел бяль»,—
Пуговицы блестят,—
Чиновник снова гуляет по скверу,
Подсолнухи луская подряд,
И думает:—Какую исповедует веру?
— Ах, холеры!
Чтоб достать работы,
Спрашивают—кто ты?
А босым—холодно,
Обутым—голодно...
Жить нет охоты...

14

Над болотами дымится—
Сгас огонь.
Сквозь пожарище стремится
Белый конь.
Скачет влево, скачет вправо—
Не сдержатъ.
Захотел улан на славу
Погулять.
Расступись земля-дорога—
Одному!
«За отчизну и за бога»—
Что ему?!
У него одно есть право—
Это меч...
Слева конь, несется вправо,—
Не запречь...
Легче! За коня держися,
Злой ездок,
Без поры не провалися
Сквозь мосток.

Видишь: мост раскинут новый—
Над водой.
Не проедешь ты дубровой,—
Вековой.

Над звездастою чащобой—
Волчий вой.
Конь прислушался и обмер—
Всадник, стой!

На болоте и на поле—
Вновь огни.
Не гулять тебе здесь боле—
Поверни!..

15

Веси и города
Дымом повиты
Днем.

Ночью—взглянешь куда!
Небо облито
Огнем.

Слезы... Кровь на траве...
Словно в могиле,
Сон...

Красный крест в синеве,—
Глянь,—без усилий
Взнесен!

Иволги, майские дни...
Мимо, все мимо...
Эх!..

Слышишь ли песнь? Они!..
Тает любимый
Снег...

Мы отдаем—в серебре—
Стужи сосновой
Тень...

Крест! Восстань на горе!
Выплесни новый
День!..

16

На пожаре босоножь!
Патронташ, винтовка, нож!
Добывать голодным славу:
«Даешь Варшаву!»

Нам не нужно городов!
Стяг труда всегда багров!
Мы несем земле пожары!
Смелей ударим!

Прочь с дороги столбовой!
Только слышны стон и вой!
Глянь, улан последний едет:
Ах, цо то бандзе?..

Но идут большевики,
Вскинув песни и штыки...
И бегут за ними люди:
«Теплее будет!»

17

Замолкли песни страшной силы...
— Откуда вы? Из света? Мглы?
— Зачем вы роете могилы,
— Зачем крушите кандалы?

Грустит о солнце и о звездах
Их кровью спаянная рать...
Их дом—трава, свобода, воздух!
Неволя—их слепая мать!

За ними все, кто злы и босы,
Кто в язвах коротаек век...
В дороге—снежные заносы,
В дороге гибнет человек.

Погибнет? Что ж! Из той могилы,
Где будешь похоронен ты,
Сквозя, как розовые жилы,
Взойдут прекрасные цветы.

Их аромат и их сиянье
Заставит на колени пасть
Всех тех, кто шлет нам поруганья,
Кто меч острит и скалит пасть...

За нами, братья! Брось, моленья!
Святой мы не дали обет!
Смелее! В нас летят каменья—
В апостолов великих лет!..

18

Босые шагают по улице...
Голод... Тоска... Мгла...
—Нечем жить... Тревога...
Буржуй в воротник сутулится,
Шепчет: «Дрянны их дела!
Слава богу!»

На западе

Грузные

Грохают тучи...

— Что? Опять непогода?

Ветер!—железная воля народа—

— Ветер, кружись!

И ветер отвечает, смятения полный:

— Согласен! Кто слабый—держись!!

... Кто режет,

Тому не больно...

Больно тому, кого режут...

— Тяжко жить, воюя...

Прорыты межи...

А ветер свистит и гуляет вслепую,
Стихнуть не хочет...
— Эй, кто там шагает?
Белым флагом махает
На ходу?
Хохочет?!
Ветер, плюнь ему в очи!
— Подожду!..

19

Мы—дети страны старинной,
Где бури бунуют всегда...
Мы на истлевших руинах
Построим замок труда.
Обутые не любят босоногих,
Истерзанных под приступом зимы...
На нас они поглядывают строго,
Хоть в кандалах гноились, как и мы...
Не вы ли гимном вдохновляли ближних
И лили свет в тюремный лаз?
А нынче подымаете булыжник,
Чтоб запустить с размаху в нас...
Быть может, огненное Солнце Воли
Вас ослепило!.. Вспомните ж скорей,—
Рабочим фабрик и рабочим поля
Вы присягали в верности своей...
Но не пропел петух три крата,
Вы изменили...

С у п о с т а т ы!!!

И без вас армия мужает,
Ряды густеют, крепнет дух!
И—слышишь!—песня не стихает:
«Паустань, хто з голоду вех пух!»...

20

Они бегут... Их руки, ноги
Испекаются в огне...

Они бегут по той дороге,
Где жутко ехать на коне...
В ночи, в распутицу такую
Споткнется самый легкий конь...
Галопом и напропалую
Летят в огне и сквозь огонь...
В руках—багряный крест страданий
Струит счастливые лучи...
Победа близится в тумане...
Играйте песню, трубачи!

Тру-ру-ру, тра-та-та!
Гей за нами, беднота!
На дороге мокрота...
Тру-ру-ру, тра-та-та!
Все пожарище в крови,—
Взвейте песню: «Дзинь-дзи-ви!»
Кто не наш, того дави!
Пойманного разорви!
Кто разут и кто раздет,
Кто убог,—за нами вслед!
Все за нами—в новый свет!
Там—чудовищный простор,
Звезд причудливый узор,
Солнца жадный кругозор!
Там твой отдых, беднота...
Тру-ру-ру, тра-та-та!

Бегут... И хочется бегущим
Поймать тот солнценосный луч,
Который, просияв грядущим,
Прорезал черный слиток луч...

Победа близится... Сломил!..
И знамя плещется в ночи...
Чем крест влачить—лежи в могиле...
Играйте песню, трубачи!!!

Перевел *О. Кольчев*

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ



Андрей Александрович родился 9 января 1906 года в Минске. в семье сапожника.

Начиная с 1923 года, был редактором ряда газет, журналов, занимал и другие ответственные партийные и советские посты.

Печататься начал с 1921 года.

Является одним из организаторов первого в БССР литературного объединения «Молодняк», реорганизовавшегося позже в белАПП. Участвовал в руководящей работе белАПП. Сейчас член Оргкомитета СССР и БССР.

Андрей Александрович является членом мнiгорнома КП(б)Б,
членом ЦИК ВССР.

Сборники:

«Па беларускім бруку»,

«Паустанць»,

«Прозалаць»,

«Гудні»,

«Угрунь»,

«Фабрыка смерці»,

«Цені на сонцы»,

«Поэма імя вызвалення»,

«Нараджэнне чалавека»,

«Напор»,

«Шчаслівая дарога»,

«Творы», кніга 1-я,

«Творы», кніга 2-я і др.

Изданы сборники стихов в переводе на русский, еврейский,
польский, узбекский и др. языки.

Пішпет на беларусском языке.

СОСНА

1

Вот стройна, как струна,
Сосенка росла
Средь сестер
На высокой горе.
А сегодня она,
Почерневши, легла
На широком
фабричном дворе.
Загудела пила,
Застонала сосна;
И опилки,
Как слезы, в пыли.
Сосенка росла,
Как струна,
Не одна —
С ней могучие сестры росли.
Росла молодницей,
Вершиною смело
Звенела
В январскую стужу.
Бывало, примчится
К ней ветер
И ветви
Дыханием легким обвьюжит.

И птицы играют
Сосенке
До солнца
Как будто на гусях зеленых...
Теперь, как скала
Каменья, легла
Безмолвьем ветвей обнаженных.

2

Эх, сосенка-сосна,
Дни суровые,
Ведь бревно до бревна—
Хата новая.
И болотная топь,
Будто в зори нам,
Буйным цветом, красотой
Разузорена.
Время скинуть гнет былой
Уж пришло нам,
Замуруем ширь болот
Мы бетоном.
Эх, сосенка-сосна,
Дни суровые,
Ведь бревно до бревна—
Хата новая!

3

Трудное дело, совсем не простое—
Нам, бедноте, свое царство построить.
Копейку, другую собираешь не скоро.
Растратчик истратил, напрасные сборы.
Много врагов мы имеем вокруг—
Поджогом, пожаром,
Черным ударом,
Тайным ударом
Враг появляется вдруг!
Много злодеев нас окружает,
Рвутся стреножить, да сил не хватает.
Корчится месть в их сердцах воспаленных...

Кругом же стальные проходят колонны,
Рабочая песнь врывается в уши.
И хочешь-не хочешь,
А песню рабочих,
Песню рабочих
Слушай:

Гей же, разом!

Гей же, разом!

Гей же, сразу

Возьмем

Разом!

Гей, еще!

Еще!

Еще!

Бьется солнце,

В краску щек...

Гей, отважно!

Все для нас!

Дай наляжем,

Дружно,

... Раз!

Эх, сосенка-сосна,

Наши дни суровые,

Ведь бревно до бревна—

Хата новая.

Где болот глубина,

Выросли дубровою

За сосенкой-сосна—

Сосны новые!

1926 г.

Перевал М. Светлов

ПОД ЗНАКОМ ДИКТАТУРЫ

Жизнь движется вперед, жизнь движется походом,
Жизнь сокрушает старческий закон
И формы, созданные испокон
Веков природой.

Жизнь движется вперед, стремглав, неудержимо,
Жизнь движется вперед, как корабли сквозь мрак.
Сопровождается ее железный шаг
Победным гимном.

А на пути—и смерть и рожденья,
А на пути—бессилие и страсть.
Тем, кто устали, неизбежно—пасть,
Как листьям, с ржавчиной тленья.

А на пути—борьбы сверкающие бури,
И в этих бурях—вдохновенный рост.
Мы через рубикон прокладываем мост
Под знаком диктатуры.

1929 г.

Перевел О. Колычев

БОРЬБА

Борьба—это жизнь. Жизнь тождественна бою.
И в этом—единственно мудрый закон.
Борись со вселенной, с природой, с собою,
Работай во славу грядущих времен.

И мало родиться... Запомни заранее:
Будь тверд, как камень, и упрям, как свинец.
Дыханье твое—миллион дыханий,
И сердце твое—миллионы сердец.

С недолею—счастье, а бодрость с изломом,
Чем кончится схватка? Товарищ, борись!
Не каждым ударом не каждого грома
Во время грозы поражается жизнь...

1930 г.

Перевел *О. Колычев*

ПЕРЕД БУДУЩИМ

Текли года. Свинцовый, одичалый
Трепал наш парус небывалый шторм.
За валом вал взлетал на наши скалы,
Разбитый падая к подножью темных гор.

А ветер гнал, смелея, вал за валом,
Трепал наш парус небывалый шторм.

Текут года. Видны все ближе с моря
Огни знакомые далеких берегов.
В сияньи том, в их молодом узоре
Растет грядущее и радость новых слов.

Земля великая, великие просторы,
Огни виднеются далеких берегов.

1929 г.

Перевел *М. Голодный*

ХЛЫНЕТ НАМ СЧАСТЬЕ

ИЗ НАРОДНЫХ МОТИВОВ

Осень проснулась, омылась зарею,
Зашелестела листвою золотою.

Только б не ведать ни кривд, ни напастей,
Путь я избрала из многих путей,
Хлынет нам счастье,
Счастье нам хлынет,
Хлынет нам счастье
солнечных дней!

Утренней зорьке я кланяюсь в пояс,
В сердце рождения счастья не скроешь.

Жаркое солнце распахнуто настезь,
Путь я избрала из многих путей.
Хлынет нам счастье,
Счастье нам хлынет,
Хлынет нам счастье
солнечных дней!

Жаркое солнце, сиянием брызни!
Ты открываешь преддверие жизни!

Ты открываешь, в твоей это власти,
Путь я избрала из многих путей.
Хлынет нам счастье,
Счастье нам хлынет,
Хлынет нам счастье
солнечных дней!

Перевел *О. Кольчев*

П Я Т Р У С Ь Б Р О В К А



Родился 12 июня 1905 года в бедной крестьянской семье в дер. Путилкивчи Ушачского района БССР. Долго работал на комсомольской работе. Окончил литерат.-лингвистич. отд. педфака БГУ. Начал писать в 1926 г.

Вышли книги:

«Прамова фактам», поэма, 1929 г.

«Гады як шторм», сборник стихов, 1930 г.

«Цэхавыя будни», сборник стихов, 1931 г.

«Каландры», повесть, 1931 г.

«Поэзия», сборник стихов, 1932 г.

«Так пачыналася маладосць», поэма, 1934 г.

Пишет на белорусском языке.

ЗЕМЛЯ

Надрывалась земля
в своей муке исконной,
человеческим голосом
молила нас:
— Накройте меня
навозной попоной,
чтоб жар в груди моей
не погас.

Мы же рвали ее
на клочки,
на делянки,
межой, как ножом,
ее плоть раскроив.

Подрастали
Сымоны, Рыгоры да Янки
и делили полоски:
одна на троих.

Шел костлявый декабрь,
посиневший от стужи.

Вихрь
в амбарах пустых
на цymbалах играл,

Мы же
только ремень подтянули
потуже
и лепешки пекли
с лебедой пополам.

Из мякины той хлеб
был и горек и жесток,
застревал
на распухшей цынготной десне.

И брели мы—
подстать мертвецам на погостах—
или хворь,
или смерть встречать по весне.

Это только кусок
нашей длинной дороги
и голодной тоски
За порожним столом,
когда ветер бил в стекла,
и днем
на пороге
смерть повадилась
бить нам холодным челом.

Наша мачеха-жизнь,
расквитались мы с ней
вместе с тронном царя
и погонами пристава,
чтобы ты нам,
земля,
расцвела покрасней,
чтоб хватало для всех
хлеба чистого.

Мы избавили живо тебя
от невзгод,
кормим калием,
золотом ублажаем,
чтоб была ты беременна
каждый год
не одним,
а тремя урожаями.

Мы создали плуги
такой быстроты,
что со вспашкой
в три счета справятся,
для того, чтобы ты
понарядней стала,
красавица.

Раздобревшая, сытая,
ляжешь пластом,
разжирев
от ухода частого.
Будешь нам пироги подносить
на стол
и другие
вкусные яства.

Да, мы знали за что,
и поэтому плохо ли
мы дрались в Октябре,
все, кто сир и бездомен?
И немалую силу
в тебя мы угрохали
вместе с братьями нашими
в цехах, у домен.

Наше время пришло,
время боя веселого,
неизведанной радости,
неизъезженных тракторов.
Для врага есть у нас
против олова—олово,
для тебя ж,
для товарки,
наш путиловский трактор.

На великих полях,
где пришлось уже сразу нам
потягаться с врагом,—
даже смерть не беда.
Эта воля и мощь
в сочетании с разумом
жизнь сумеют создать,
какой мир не видал!

Перевел *Бруно Ясенский*

НА РАЗГРУЗОЧНОЙ

Солнца желтый комок
пил болотную тину.
Пар вздымался от жирной
перегретой земли.
И надвинулись тучи,
как в паводок льдины,
Чтоб вечернее поле
дождями залить.

Мы носили корзины,
набитые торфом,
От ножей торфорезки
на бетонный помост.
И вагончики,
полные торфом по горло,
Уносил к бункерам
громыхающий трос.

А вблизи,
где усы распустила антенна,
За поросшей ложбинкой,
где новый барак,
Развлекалась на отдыхе
последняя смена,

И гармоника пела,
 Как во все вечера.
(Из-за старенькой вербы
 в переборах баяна
Долетала к нам песня,
 частушка на-ять:
— Серби...
 серби...
 серби...
 яна,
Сербияночка моя.)

Нам казалось:
 в корзинах—тяжелое пламя,
Ломти солнца и торфа
 мы несем на плечах.
Это молодость наша
 сдавала экзамен.
Это молодость наша
 была горяча.

И как черные гуси
 проплывают быстроной,
Так по гулкому тросу
 вагонетки неслись,
Чтобы солнечной кровью
 напились машины,
Чтоб звенела и пела
 электрическая жизнь.

Мы водой истекали,
 именуемой потом.
На плечах обнаженных
 мерцала соль,—
Когда гром разметался
 над жарким болотом
И рассыпались молнии
 в миллионы вольт.

Вот тогда комсомолка,
 веселая Ганна,

Подошла и сказала:
— Дай руку, Андрей!
Гроза нас пугает,
Да слишком рано.
Никто не бросит
работы своей.

И тучи плевались
дождем и градом,
И яростью ветра
гудел простор,
Но ударно работала
наша бригада,
И качался в корзинах
фрезерованный торф.

Мы сняли рубахи
и работали споро.
Мы работали молодо
и легко,
Чтоб неслись вагонетки
к машинным моторам,
Как черные гуси
проплывают рекой.

Перевел С. Лесман

П Я Т Р О Г Л Е Б К А



Петр Федорович Глебка родился 6 июля 1905 года в деревне Великая Усса, Узденского района, в семье крестьянина-средняка. Учился сначала в узденской семилетке, потом в минском педтехникуме; в 1927 году поступил в БГУ и окончил его в 1930 году.

Первые стихи напечатаны в 1925 году в газете «Советская Беларусь». В этом же году Глебка вступает в литорганизацию «Молодняк». Весной 1926 года выходит из «Молодняка» и вступает в литературно-художественное объединение «Узвышша», в котором работает вплоть до его ликвидации в 1930 году.

За время своей литературной работы Глебка издал пять книг:

- «Шпышина»—1926 г., стихи,
- «Урачыстыя дні»—1930 г., стихи,
- «Хада падзей»—1932 г., стихи и поэмы,
- «Арка над акіянам»—1932 г., поэма,
- «Арлянка»—1933 г., поэма.

Пишет на белорусском языке.

*Памяти члена ЦК компартии Польши
т. РЕДИКО, убитого возле
местечка Влохи.*

КАРА

Дорога идет на Запад,
Купаясь в густой пыли.
Деревьев кудлатых
Лапы,
Как крылья, над ней легли.

Деревья стоят дозором
На страже вечерних теней.
Но шаг человеческий упорен
В тяжелой лесной тишине.

Тумана лохматые клочья
Ползут из низин, с полей,
Лежат, как призраки ночи,
В глубоких провалах колеи.

Куда ты, товарищ, куда ты?
Вернись, мой далекий друг!
Дойти до столицы не хватит
Ни ног у тебя, ни рук.

Тех ног, что в тоске о хлебе,
Оставляли везде свой след,

Тех рук, что дубовую мебель
Мастерили так много лет.

Вернись! Ты прошел немало
И тянешь тяжелую кладь,
Ведь с детства еще усталость
На плечи твои легла.

Чтоб сестры голодными не были,
Чтоб были на хлеб медяки,
На фабрику гнутой мебели
Ты отдан был в ученики.

Ты гнулся, корчась от боли,
Над стульями у верстака,
И кожу развели мозоли
На слабых твоих руках.

В кровавом поту, стелая,
Работал ты целый день
И видел—жиреет хозяин
На тяжком твоём труде.

За черствую хлеба корку,
За жалкий глоток воды
Неужто должен так горько,
Так тяжело трудиться ты?

И этот вопрос проклятый
Ты ставил себе не раз,
Пока языком баррикады
Тебе не ответил класс.

И когда над людьми вскипело
Кровавое знамя боев,
Сражаться пошел ты смело
За жизнь, за право свое.

Сквозь муки, огонь и темень,
В ревкоме, в пути, в бою—
Под красноармейским шлемом
Ты юность пронес свою.

Но в глубь боевого подполья
Ушел отряд борцов,
И ты, молодой комсомолец,
Стоишь во главе храбрецов.

И ты, секретарь комсомола,
Четыре весны и зимы
Проходишь суровую школу
В застенках буржуйской тюрьмы.

Ты вырос в огне и лишениях
От мальчика до вожака
И ныне идешь с поручением
От самого ЦК.

Там ждут уж в убогих хатках,
Там ждут в предместьях глухих,
Твоих указаний братских,
Боевых советов твоих.

Там ждут зажигательной искры
Твоих большевистских слов.
И ты, мой товарищ, быстро
Минуешь село за селом.

Твой шаг повернуть железный
Не в силах ничто на земле.
Пройди ж над могильной бездной,
Как ветер над строем аллея.

Как птицы летят над водою,
Как морем проходит смерч,
Как реки текут чередою—
Обойди стерегущую смерть...

Но, видно, в походке скорой
Прочесть ухитрился враг,
В какой ты стремишься город,
Куда направляешь шаг.

И возле местечка Влохи
В засаде отряд залег.
В раздумьи ты стал на дороге,
Не чуя уставших ног.

Теперь уж раздумывать поздно
И поздно решать сейчас.
Пусть в миг опасности грозной
Тебя вдохновит твой класс.

Вперед же! Еще немного
И скроешься ты в темноте...
Но что это? Вдруг над дорогой
Твоя заплясала тень.

Ты валишься медленно навзничь,
Настигнутый пулей шальной,
И вот—на дороге грязной
Кровавое меркнет пятно.

Ладонью песок взрывает
Живая еще рука...
О мести, о каре взывает
Смерть верного члена ЦК.

И то, что в предсмертной дрожи
Не мог досказать твой взор,
Мы громко воскликнуть можем,
Врагу вынося приговор:

Ликуйте, пойте и бейте в литавры,
Банкеты героям своим справляйте,
На них возлагайте победные лавры
И золотом им вышивайте платье!

Ликуйте пока, палачи миллионов;
Не слышите вы наших гневных проклятий.
За горе, страданья и кровь угнетенных
Мы вас призовем к справедливой расплате.

Вы жизнь воровали, как хищная банда,
У тех, кто мозолистой крепкой рукою
В труде вековечном, в труде безотрадном
Ее для всего человечества строят.
Мы помним об этом! Ярмо ваше скинув
И шею сломив вам тяжелым ударом,
Прокатимся мы по земле, как лавина,
Сурово и справедливою карой.

Перевел *Борис Лесман*

И З И Х А Р И К



Родился в местечке Зембин (БССР) в 1898 г. в семье сапожника. Работая на заводе. Был профработником, библиотекарем, учителем. Печатается с 1920. Член компартии, член ЦИКа Белоруссии.

Первая книга стихов «На земле» выходит в 1926 г. и сразу продвигает Харика в первые ряды еврейских поэтов. Второй сборник стихов «Всем существом» («Mit lieb un leb'n») появляется в 1928 г. Третья книга его поэзии, посвященная социалистическому строительству, «Конвейер дней», выходит в 1932 г.

И. Харик—один из крупнейших деятелей советской литературы БССР.

Пишет на еврейском языке.

ЗОЛОТЫЕ ПОХОРОНЫ

из поэмы «КОНВЕЙЕР ДНЕЙ»

Диковинные похороны. Странная процессия.
Ни слез, приличных случаю, ни скорби нет во взорах.
Не больно был покойничек, повидимому, дорог.
Рабочим да работницам, шагающим так весело.

Что же не слышно плакальщиц? Где ж носилки черные?
Что так разухабиста музыка оркестра?
Товарищи, спокойнее. Сбавьте пыл, маэстро!
Труп не разбудили б вы музыкой задорною.

Кто же тот покойничек? Звали как сердечного?
Видно, был персоною он весьма известной.
Умер быт субботний, умер быт воскресный...
Грянемте, товарищи, память ему вечную!

Кони в белых талесах выступают, чинные.
Торжественно колышутся пышные попоны.
За санями шествуют бодрые колонны,
Сани же нагружены всякой чертовщиною.

Не счесть мордатых ковшиков, брюхатых самоваров,
Сережек да браслетов, колечек обручальных,
Лампадок да подсвечников, да люстр синагогальных,
Да «таны-бары», растабары—прах всей жизни старой.

С языками вырванными, рыжие, пузатые
Туши колокольные распластались грузно.
А к ним, в пасхальном трепете, робко так и грустно
Чарочки чеканные жмутся поросятами.

Все это пахнет ладаном, синагогальной плесенью
Да бражничеством праздничным, да благочестьем постным,
Прокисшей домовитостью, печным уютом косным,
О миндалях с изюмами давно протухшей песенкой.

Рухлядь эту старую сбросят в крематорий,
Где печи раскаленные гудят от нетерпенья.
Обретет покойничек там упокоенье—
В тракторной громоздкости, в реве их моторов.

Перевел *Лев Пенъковский*

ИЗ ЦИКЛА

НА СТРОЙКЕ

Домой ты плетешься под вечер, свой день отработав.
Тускнеет и меркнет закатных лучей позолота.
И день потухает мгновенно за ближним кварталом,
И воздух трепещет крылом голубиным, усталым.

Уже электричеством залиты все перекрестки,
И вдруг замечаешь—песок, иль кирпич, или доски.
Поднимешь тяжелые веки, посмотришь: постой-ка!
Когда же тут выросла эта богатая стройка?

Давно ль, точно жалкие, дряхленькие побирушки,
Стояли тут ветхие, вросшие в землю лачужки?
А нынче—их память печальную будто бы дразнит,—
За корпусом корпус веселый свой празднует праздник.

Не сняты леса, и течет еще влага со стен там,
И пахнет кругом непросохшим и кислым цементом.
Стоишь и глядишь, и попробуй—уйди, оторвись-ка!
Ты счастлив! Ты солнечным дождиком будто опрыскан!

Домой же уходишь, в рассветное небо уставясь.
К себе самому ты уносишь прекрасную зависть.
Идешь и поешь, и прохожие думают: пьяный!..
А звезды уж гаснут в лазури утра осиянной...

Перевел с еврейского *Лев Пеньковский*

СТЕПЬ

Степь да степь... Безграничные дали
В первозданном солнечном свете...
Мнится, будто бы здесь обитали
Только дикое солнце да ветер...

Грубы травы—в пронзительной сини,
Горько пахнут ромашка и мята,
И великой тоскою пустыни
Тишина здесь от века объята...

Словно колокола меднословье!
Пустыри полнозвучны и строги,—
Так и хочется вдаль по-воловы
Средь бурьянов брести—без дороги.

Сиротливо прижавшись друг к другу,
В синих далях сутулятся хаты,
Сытый стрепет вспорхнет с перепугу
И—в лазурь унесется распятый...

Глушь... Ни рощицы, ни перелеска
В безграничных просторах—от века...
Степь лежит изнывая от блеска,
И тоскует и ждет человека...

Перевел *Д. Бродский*

ИЗ ПОЭМЫ

«НАШИ ДОРОГИ ВЕДУТ В МОСКВУ»

Такой размах,
 такой гигантский ход—
Они могли ль
 России старой сниться?
Два моря чрез канал
 простерли руки вод
И Волге под Москву
 приказано явиться.
О, эта русская
 великая река,
Что грузы горя,
 золота,
 несчастья,—
Всю эту тяжесть самовластья
Несла века
 под песню бурлака;
Она
 не та теперь,
 не те дороги,
 песни...
И дружбу верную
 неся свою,
Протянет руку
 Красному Кремлю.

С великим:
«выполним чудесней!»
Мы к чудесам
уже привыкли сами...
А было сколько их у нас гниющих вод,
Которых не назвать
болотными местами,
Какие там болота!
Нет болот!
Уж не болота—стелются овсы.
Там ячмени с пшеницей колосятся.
Там огурцы
все в жемчуге росы,
Своими соками зелеными
лоснятся.
Там помидоры красные горят,
Как губы девы,
тронутые чувством.
В три жбана добрых
там растет бурак,
Как семь голов—
один кочан капусты.
Мог проползти
один лишь гад безногий,
Там от столиц теперь,
во все концы
Проложены шоссеиные дороги.
Где суеверьями
был край повит,
Где мудрости учил
столетний дед плешивый,
Туда несут культуру,
новый быт,
Краса дорог—советские машины...
О нашем росте
всюду говорят,
И шепчутся враги
в глухой тревоге,
Что партией
курс верный,
точный взят

По Ленинской,
По Сталинской дороге.
И взгляд,
и гениальный ход вождя
Все связано
с энтузиазмом края.
Мы
каждый новый день календаря
Гигантами строительства встречаем.
Через шторы
На штурм
ведет нас верный штаб,
На штурм вершин
стремительного роста.
15-й партсъезд—
15-й этап,
Широкий путь
рабочего героизма.

...Когда-то Минск
строительства не знал,
Не знал великих фабрик и заводов,
У речки остов мельницы торчал
И всюду глушь губернская и моды.
А на окраине—
смолокурня,
лес шумит...
И это все,
Чем Минск был знаменит!
Минули дни
кровавых непогод,
Мы справились с врагами,
с оккупантом;
Где мельница была,—
стоит гигант-завод,
Освоивший всю технику гиганта.
Там день и ночь
не дремлют верстаки,
Работа там
людей перековала...

А сколько их таких,
А сколько их таких,
Несметных толп
из темноты восстало!
Вся в ритмах творческих,
в работе БССР!
Забыты войн
кровавые години...
В индустриально-хлебную теперь
Превращена безхлебная крайна.
Какой простор
невиданных дорог,
Расцвеченный
и Октябрем
и Маем...
Мы закрываем
старый сад эпох,
Свою эпоху
дивно открываем.
И хвалимся
И радуемся мы
Всему,
что братские республики построят.
Где лучшими цветами у весны—
Турксибы,
ЧТЗ-ы
Днепрострой...
Поля колхозные
еще под снегом спят,
Но радостью готовы засветиться,
Что в Бобриках
уже Химкомбинат
Готовит им
предорогой гостинец.
Им пахнет урожай,
им пахнет дивный лен,
Весна им пахнет
сытостью довольной,
Достанем удобрений тонны тонн,
Чтоб колос на полях
о жизни пел раздольной.

Через шторм
 На штурм
Ведет нас верный штаб.
На штурм дорог
 стремительного роста...
15-й партсъезд,
 15-й этап!
Развернутый поход
Рабочего геройства!

Перевели *Н. Кауричев, В. Наседкин*

ГРИГОРИЙ КАМЕНЕЦКИЙ



Родился в семье рабочего.
До 13 лет учился в хедере.
По профессии парикмахер.
Принимал участие в гражданской войне.
Был на ответственной хозяйственной, кооперативной и профсоюзной работе.
Занимался на литфаке Белорусского государственного университета. Учебу прервал на 2-м курсе.
Печататься начал в 1926 году.
Выпустил книгу стихов «Прямой дорогой».
Состоял членом литгруппы «Юнгер арбейтер», был членом белАПП. Теперь состоит членом ССП Белоруссии.
Пишет на еврейском языке.

ПРОЩАНИЕ

Уезжаешь?—Привет!
Не забудь лишь тех лет
И запомни тот час,
Как с ружьем у плеча
Я лежал на мосту
И стрелял в темноту—
В убежавший вагон,
В офицерский погон.

А затем—
Ты взмахнула копной непокорных волос
И ушла
В придорожную темь,
Под откос,
И из тьмы
Принесла
Динамит.
А конец этой ночи был ясен и прост:
Вдалеке
На реке
Разметался обломками взорванный мост.
Мы бежали во мгле
Через дремлющий лес
И от полной души
Хохотали в тиши.

В эту самую ночь,
Где-то там,
Далеко,
Где в местечке глухом
Покосившийся дом
(А тогда еще там находились дома),
Видит сон про тебя твоя старая мать.

Будто едешь ты гордо в карете большой,
На прекрасном коне, по долам, по горам,
И карета украшена дивной резьбой,
И упряжка из золота и серебра.
И с тобою, в одежде из мягкой парчи,
Твой красавец-жених, заглядевшись, молчит.

Ты, ликуя, сидишь со своим женихом
В белоснежном и длинном наряде своем,
И без усталости ночи и дни напролет
По горам, по долам конь домой вас везет.

Ночь в туманном лесу
Окунулась в росу.
Мы присели с тобой у плетня на земле
И поели на ужин—селедку и хлеб.
Стала ночь глубока
И усталость легка.
Отдохнувши чуть-чуть,
Мы отправились в путь.
Вдруг сова зарыдала в овраге лесном.
Мы махорку с тобой закурили вдвоем.
И от всей мы души
Хохотали в глуши.

.....

Собираешься в путь?
Что ж, прими мой привет!
Лишь тех дней не забудь,
Не забудь этих лет.

А Р К А Д И Й К У Л Е Ш О В



Родился 24 января 1914 года в семье сельского учителя. Учился в семилетке, педагогическом техникуме. В 1931/32 году в Белорусском государственном университете на литфаке. Комсомолец. В центральных газетах и журналах печатается с 1931 года.

Книги:

«Па песню, па сонца» (стихи, 1932 г.).

«Медзі дождж» (стихи, 1932 г.).

«Амонал» (поэма, 1933 г.).

Пишет на белорусском языке.

ПОХОРОНЫ

I

Соседа из морга везет гробовщик,
Коня подгоняя кнутом.
Лежит стекольщик суров и велик
У гробовщика за горбом.
Сестренку рукою к груди прижав,
Стекольщика старший сын
Мимо реки и спокойных трав
За гробом идет один.
Земля в весеннем угаре,
Рощи,
Голубизна...
И старшая дочь
В трауре,
И в даль уходит
Гроза.
У младшей—цветы в подоле,
И мир ее тих и юн...
Она и смеется
И плачет,
И ей говорит горбун:
—Молчи! Ты же знаешь и видишь—
Отец твой лежит в гробу,
А брат твой будет до гроба
Груз таскать на горбу.

И ты, что в трауре,
Слушай,
Швеей ты будешь и шлюхой,
И смертный саван
Сошьешь...
Когда же умрешь ты— в гости
Придут: бродяги, воры.
Они увезут твои кости
В кусты,
В овраги,
В яры!

.....
Печально, скорбно и строго
Кричу я в ответ:
—Погоди!
Другая нас ждет дорога
И мужество—
Впереди!

II

Вчера, когда звезды светили
В рассветной мгле далеки,
Рабкора в лесу хоронили
Красные фронтовики.
Они вырезали било—
Сырой, березовый кол,
Двенадцать маузеров било,
Когда опускали в дол....
Товарищ бросил в могилу
Тяжелую горсть песку:
—Прощаемся мы с тобою,
Стуча в гробовую доску!
Хороним тебя мы сами
И грозный поем
Гимн,
Тебя мы опоясали
Знаменем красным
твоим!
Имя твое не забыто,
Твой подвиг смел и красив...

Нашли мы тебя убитого
Среди полевых крапив...
Стоял над тобой полосатый,
Рогатый фермерский бык,
Смотрел на тростник усатый,
И зноен был его рык.
И вот мы в лесу хороним,
Знамена склонив, поем...
Мы все—церкви, и троны, и тюрьмы—
С земли
Снесем!

Перевел *астор*

З. М. А К С Е Л Ь Р О Д



Родился в местечке Молодечно, Виленской губ., в 1904 году. Учился в хедере, в городском училище, в школе 2-й ступени и в Высшем литературно-художественном институте имени В. Брюсова.

Работал в детских домах, в типографии «Дер Эмас», в издательствах и т. д.

Служил в Красной армии.

Печататься начал в 1921 году, состоял в группе еврейских писателей «Штром»¹ и группе московских еврейских писателей «Октябрь».

Книжки стихов:

«Идин»,

«Лидер».

Пишет на еврейском языке.

¹ поток

Ш А Х М А Т Ы

Я сел под вечер в шахматы играть.
Сидел сутулый,
Задумывался снова,
Опять, опять...

И чья-то воля за руки тянула:
— Иди слоном. Постой.—
Иди ладьей.

Но—шах и мат. Окончен долгий бой.
Прекрасна ночь над белою землей.
По белым улицам мы неспеша идем.
И светом розовым мы дышим с ним вдвоем:
Я и мой враг, противник мой.
Пряатель мой и друг мой дорогой.

И говорит он мне средь молчаливых стен:
— Читал ты речь, что произнес Кашен?
Одну пословицу ты мог бы в ней прочесть:
Кто знает верный ход, тому надежда есть!

Тонких снежинок медленный ход,
За поворотами поворот...

И снова сказал приятель мой:
— Что ты сегодня как будто злой?

Сквозь белый снег,
Сквозь розовый свет
Слышит приятель мой ответ:
— Мне очень жаль, досада берет
За первый мой ошибочный ход...

Перевел с еврейского *Мих. Светлов*

ВЛАДИМИР КОВАЛЬСКИЙ



Родился в селе Воронеже, Черниговской губ., 21 октября 1912 года в семье служащего. Член ВЛКСМ с 1932 года.

Самостоятельно начал работать с 1925 года после смерти отца.

Работал на сахарном заводе. Потом работал чернорабочим в фосфоритных копях (шахта имени Ленина, Вербецкий рудник,

Ярмолинского района), затем курьером в проскуровском украин-
банке, каменщиком 6-го разряда и секретарем сельсовета в селе
Заречье, Проскуровского района, до осени 1929 года. Осень 1929 года
и 1930 год—польская театральная студия в Киеве. Осень 1930 года—
Донбасс, забойщик в шахте «Мария», Никополь-Мариупольского
рудоуправления, г. Сталино.

1931 год (до октября)—токарь по металлу 2-го разряда Прес-
скуровского механического завода. С октября 1931 года до поздней
осени 1932 года—музыкально-драматический институт имени Лы-
сенко в Киеве, откуда со 2-го курса переходит на газетную работу.
Работает в райгазете «Коллективист погранича» (Проскуров) и
«Серп» (Харьков). С 1930 года (июль) работает во всебелорусском
комитете по радиовещанию в Минске.

Печататься начал с 1929 года в газете «Орка», в центральных
польских газетах СССР и в журнале «Культур. Москва». В 1932 году
в литературном альманахе (Харьков) помещена поэма «Петель»
о пограничниках и стихи. В 1931 году Первый польский театр в
Киеве ставит пьесу «Штурм черноводов» (пьеса не печаталась).

Теперь выходят из печати две книги: «Поэзия» и «Две поэмы»;
сюда входят стихи и поэмы: «Шымон Свись», «Человек из Альтоны»,
«Война войне», «Нефтепровод».

Пишет на польском языке.

ИЗ ПОЭМЫ

«ЧЕЛОВЕК ИЗ АЛЬТОНЬ»

О кровь рабочая! О пытки!
Ее не смыть вам с мостовых.
Но имя пламенное «Лютгенс»
Навек запомните и вы.

О песнь моя! Звени и пой
О том, как Лютгенс шел на плаху—
Суровый, гордый и простой,
Не зная трепета и страха.

Ты, песнь моя, ты рождена,
Как вечный шум высоких кленов,
И будешь вечно, вечно в нас,
О песня грозная Альтоны!

О кровь рабочая! О пытки!
Ее не смыть вам с мостовых,
И имя пламенное «Лютгенс»
Навек запомните и вы!

На камни серые в Альтоне
Скатилась голова его,
И напрягается и стонет
Кровавый камень мостовой.

А вы, в коричневых рубахах,
Со свастикой на рукавах!
Смотрите, как лежит среди праха
Отрубленная голова.

Горячей кровью истекая,
Целует камни голова,—
И завтра встанет мостовая,
Чтобы обрушиться на вас.

О кровь рабочая! О пытки!
Ее не смыть вам с мостовых.
Но имя пламенное «Лютгенс»
Навек запомните и вы!

Перевел Д. Роник

МИКОЛА ХВЕДОРОВИЧ

СТАЛИНСТРОЙ

На фронте борьбы и труда
Наш творческий дух закален.
Гудят провода,
Гудят провода.
Порывом
рабочих
колонн;
Волей ударных бригад
Фабрик умножен строй.
В бой, авангард,
В бой, авангард,
В последний,
решающий
бой!

Воля—
что сердца
огонь,
Кровь—
Энергия—ток,
Режет стальной конь,
Режет стальной конь
Черное золото—
Торф.

Всходит индустрии
 День,
Входят заводы
 В строй.
Детище воль—
 Сталинстрой,
Имя ему—
 Сталинстрой,
Дело бригад—
 Сталинстрой,
Республики каждый день
Искрится, точно кремень,

Осушим топи болот,
База энергии—
 Торф.

Топок
 прожорливый рот,
Топок
 могучий рот,
Осушит топи болот.
Пускай же на сотни
 Верст
Дружней
 провода гудят
 Этот могучий рост,
 Этот успешный рост—
Творческий пыл
 Бригад.
Дело ударных бригад
Совзвучно
 Оркестрам гудков,
 Мы—авангард.
 Мы—авангард
Новых и светлых
 веков!

Перевел *Макар Пасынок*

КОНДРАТ КРАПИВА



Родился в 1896 году в деревне Узденского района, БССР. Первоначальное образование получил в церковно-приходской школе, потом окончил четырехклассное городское училище и держал экзамен на звание учителя. Проучительствовал один год, после чего (август 1915 года) был призван в царскую армию.

Писать начал, будучи уже в Красной армии, в 1922 году.

В 1925 году вступил в литературную организацию «Молодняк». Во время откола группы «Узвышша» примкнул к этой группе.

Борьба, которую повела пролетарская общественность с национал-демократизмом, представители которого возглавляли и организацию «Узвышша», помогла Крапиве осознать тот политический тупик, в котором очутилась эта организация, и свое положение в ней. Был одним из инициаторов самороспуска этой организации в 1931 году.

Основной жанр творчества—сатирический.

Вышли написанные в этом жанре книги:

«Крапива»,

«Библия»,

«Байкі»,

«Людзі—суседзі»,

«Хвядос—чырвоны нос».

Кроме этого написал

роман «Мядзведзічы» и пьесу «Конец дружбы».

Пишет на белорусском языке.

СИГНАЛЬЩИК ИВАНОВ

БАСНЯ

С тех пор прошел который год—
Учебную стрельбу вела пехота.
Так вот, стрелял однажды взвод,
А может быть и рота.

Тут военком верхом внезапно—шашты!
Взглянуть занятно, как стреляет часть,
Как верен глаз и как тверда рука
У красного стрелка?
Команда—«шопади!»
И скрылся красный флаг,
Стрелки—на линию. Застыли на упорах.
Вот выстрелил один,
Вот разом—трах-тах-тах!
Щекочет нос и отдает в ушах
(Когда-то военком наш тоже нюхал порох).
Вот кончили. Отбой...
Довольны все начальники стрельбой:
Тот три попал, тот пять,
И редко, редко промах.
Тут вспыхнула у военкома
Охота пострелять.
Мишень себе он подсмотрел,
И, лежа на упоре,

Прижав ружье, напрягши взоры,
Навел прицел.

И—бах!

Под носом землю варыло.
Еще раз. Пуля вдаль завыла.
Еще за ними три,—
И все—«за молоком».

— Ах, чорт их побери!

Рассержен военком.

Какой позор, какое поражение!

Но уж бегут сигнальщики к мишени,
И машут торопливо
(У них хороший нюх!):

«Две, три, четыре, пять! Да это просто диво!
Легли все пули в круг».

Тут осенило командира:

Пять холостых патронов он берет,

И тех же шлет сигнальщиков вперед.

И что б вы думали? «Ни разу не промазал»,—

Как доложил, не шевельнувши глазом,

Сигнальщик Иванов:

«Все пули в самый центр загнали вновь».

Комдив же Иванова похвалил:

—Ты, Иванов, примерный подхалим.

Всем подхалимам сей прием знаком:

Бьет ли начальство в цель или шлет «за молоком»,

Всегда найдутся Ивановы,

Что услужить ему готовы.

Перевел К. Яковчик

ИЗ ПОВМЫ

ДЕСЯТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Край легенд,
Крестов, могил-курганов.
Край труда—
Отрада родников.
Сторона
Белесых кос-туманов,
Край полей—
Краса густых лесов.
Край болот—
Озера и низины.
Край лесов,
Певучих сосен-струн.
Край поэм—
Сказанья и былины.
Дорогая сердцу Беларусь.

Дни прошли
Отшелестели зори
На крылах пылающих зарниц.
Вьется радость в солнечном просторе,
Золотые светятся огни.
Десять лет
Работы неустанной,
Десять лет
Борьбы, побед, тревог,—

Пусть же ветры плачут над курганом,
Простирают руки у дорог.
Кто же думал в час, как плыли тучи,
И кому мерещилось во сне,
Что страна
Тоски глухой, дремучей
Расцветет вдруг в грозном огне?

Творчество. Дерзания. Порывы.
Радостный и непреклонный труд.
И под небом, никшим сиротливо,
Здания гигантские встают.
Добрый день,
Снегов простор безмерный!
Добрый день,
Столица торжества!
Скоро в свете сумерек вечерних
Прозвенит по улицам трамвай.
И тогда
Я стану под горою,
В сердце—
Гулы песен и борьбы.
Буду слушать песни Осинстроя,
Напоенный музыкой турбин.

Край легенд—
Извечный сказ былинный.
Край поэм—
Отрада родников.
Край труда—
Болота и низины,
Край безмолвия,
Бури и громов!
Край лесов—
Минувших дней Восстанья,
Край просторов,
Шири и низин!
Родина моя,
Когда ж ты станешь
Краем фабрик дымных
И машин?

Перевел С. Лесман

ПРОЗА

ОТЩЕПЕНЕЦ

ИЗ РОМАНА

I

Смело и уверенно ходит по полю ветер. И с особенным напором насаждает он на двор и на постройки Прокопа Дубяги, нанося туда целые сугробы шуршащего снега, пронизанного хрупким морозом. От забора остались одни только концы кольев над замысловатыми карнизами снегов, а клуния до самой крыши вошла в сугробы. И трудно сказать, почему так немидостив ветер к дяде Прокопу: может потому, что его усадьба немножко выступает из ряда других усадеб, ютясь в лощинке возле болота, что подступает почти к самой деревне Затонье.

Уж месяца два, а может и больше, как дядя Прокоп носит в себе тяжелый груз неотступных мыслей о колхозе. Да как и не думать о нем, когда все и всюду только и делают, что говорят о коллективизации, о колхозах, и чем дальше, тем все громче и все с большей страстностью. Просто в ушах гудит от этих разговоров.

— Что будет?—в сотый, в тысячный раз спрашивает себя Прокоп и не находит ответа.—И как это так? Он больше не будет хозяином на своей земле?

Теперь он волен делать, что хочет, как хочет и когда хочет, а там, брат, шалишь: делай то, что тебе прикажут. Даже над своей лошадкой не будет он хозяином.

Прокоп втыкает в снег лопату, идет в хлев. Своеобразный, знакомый Прокопу запах хлева и конского стойла

остро бьет в нос. Белобрюхая корова с заскоруальными от навоза бедрами и трехлетняя телка стоят по одну сторону, а по другую, свесив губы, дремлет над жолобом спокойная красивая лошадка. Скотина дружелюбно, каждая на свой манер, приветствует хозяина односложными звуками, что отпустила ей скупая природа. Прокоп стоит молча, смотрит на скотину, как будто что-то прикидывая в своем уме, а потом говорит, обращаясь к телке:

— Сделаешь ты меня, волчая сыть, кулаком, а пользы от тебя—кот наплакал. Продать тебя, что ли? Или ты в колхоз пойдешь?

Телка, ожидая хозяина, чтоб он почесал ей под челюстью, что делалось не раз, трясет головой и вытягивает морду.

— Не хочешь в колхоз? Ой, видно, пойдешь!—говорит Прокоп и чешет телку, а потом сразу обрывает эту крестьянскую лирику и деловито подходит к коню, смотрит, как там у него в жолобе. Строгим голосом делает выговор коню за его неделикатное поведение: конь ухитрился положить в жолоб то, чему быть там не полагается. Прокоп приводит жолоб в порядок и придает иной характер своему визиту в хлев, хоть основной причиной этого визита было как раз желание полюбоваться скотом. Наведя порядок, он еще раз смотрит на скотину и выходит на двор. Работы там нет никакой. Его тянет на улицу послушать, что нового слышать, о чем говорят люди.

Из района ожидается сегодня какая-то бригада. Будут, говорят, делать коллективизацию. Прокоп выдыхает и идет на улицу.

II

Густо лепятся по обе стороны улицы крестьянские хаты с такими же узкими и тесными, как и сама улица, дворами. В палисадниках возле хат за посеревшим частоколом наметены сугробы снега. Маленькие оконные стекла плотно затканы морозом. Толстым пластом лег на соломенных крышах снег и, кажется, еще ниже гнет к земле старые постройки, серые, низкие, однообразные. Отпечаток старины, убожества и закостенелости положил на них глубокий след. Но Прокоп привык к этим картинам своей деревни, как привыкает таракан к своей щели.

Глухо и пусто на улице, разве только изредка промелькнет на ней женщина с ведрами, да скрипучим голосом отзовется журавель над примитивным колодцем с тухлявым деревянным срубом и буграми льда около него. Пустым, как будто вымершим, кажется и само Затонье. Но под этими пригнутыми соломенными крышами, за занесенными снегом стеклами окон, бурлит жизнь, ведутся горячие дискуссии, а иногда и ликвидация движимого имущества. Кое-где на задах пылает огнем солома, а ветер разносит запахи гари от свиной шерсти. В этих тихих на взгляд хатах на все лады упоминается коллективизация. О ней—все думы, чувства и соображения практического крестьянского ума, вокруг нее ведется самая действенная агитация за и против. Она делает людей искренними друзьями и упорными врагами, разделяя их на разные категории.

Потянув носом воздух, Прокоп подымает голову. Его взгляд останавливается на хате Леона Маринича. Из дымохода, где воткнута серая под цвет стали глиняная труба, торопливо, будто его лихорадка трясет, плывет-бежит синеватый дымок, а вместе с ним расплывается в воздухе искушающий запах сочных шкварок. «Гуляет Маринич,—думает про себя Прокоп:—в колхоз надумал итти».

Повернув голову в другой конец улицы, где она уже выходит в поле, видит он—человек движется сюда. Кто же это? Прокоп всматривается, узнает. Да и узнать не трудно: лисья шапка, короткая на меху поддевка, суконные штаны с некоторым намеком на галифе. Это Игнат Чикилевич. Прокоп прочищает нос, проводит рукой по усам и бороде, готовясь к разговору с Чикилевичем. Чикилевич—оборотливый, смекалистый человек, ловкий хозяин, живет на отшибе, индивидуально обложен, с чем он никак не может примириться, и считает, что с ним поступили несправедливо.

— День добрый, товарищ Прокоп!

Чикилевич старается показать себя советским человеком. Он горой стоит за советскую власть и иногда может, где нужно, подпустить в ее пользу агитации.

— Здоров!—кратко отвечает Прокоп.

Чикилевич сразу замечает, что Прокоп чем-то озабочен, не в настроении.

— Что невесел, голову повесил?—спрашивает Чикилевич и острыми, немного насмешливыми глазами смотрит на Прокопа.

Прокоп, как и каждый крестьянин, дипломат. Свои карты раскрывает не сразу.

— Теперь, брат, невеселых нет. Всем стало весело. Работу побросали. А Маринич так тот скоро целого кабана прикончит. Такие закатывает жаркие, что всех из околиц, того и гляди, сманит сюда...

Чикилевич также меняет позицию и заходит с другой стороны.

— Темный, глупый народ! Ой, какой темный! И зачем ему канителиваться? Записывались бы в колхоз.

— Некоторые и записались было, да выписались.

— Дураки!—с жаром набрасывается Чикилевич.—Ну чем же плохо будет в колхозе? Ты же посуди сам: громада, общий труд, простор. Ни тебе этих межей, ни узких загонов, где и с лошадкой-то повернуться нельзя. Земля же, брат, она вольной явилась на свет, так зачем же делить ее, резать на клочки, драки затевать из-за нее? А миром управиться с ней сподручней. Вот тебе пример. Ты один тукаешь цепом, руки деревянные, подыматься не хотят. А станут четыре молотильщика, да как ухнут—откуда что возьмется: и руки легко ходят, и цеп сам подымается, прямо как под музыку, хоть танцуй. Так и в колхозе. Да разве цепами там молотить будут? Машин тебе пришлют, трактор пустят, а ты себе ходи да посвистывай.

— Будешь свистеть, так шипи иметь будешь,—угрюмо отзывается Прокоп:—одна машина работать не будет. И прежде чем пустить трактор, нужно сначала попотеть. Да и что твой трактор? Трактор стоит больших денег. И сам он дорог, и бензин оплатить нужно, олифу. Да его кто-нибудь и водить должен, а меня или тебя на него не посадишь. Да по нашей земле-то, по каменистой, пойдет ли твой трактор? А поломается,—вот тогда и свисти. А навоза даст он тебе? Работать миром с нашим народом—немного ты наработаешь. Один будет трудиться, а десять избегать работы, прятаться от нее, как собаки от мух.

— Дисциплина, дисциплина, братец, должна быть. Без этого нельзя!—Чикилевич поднимает палец и слегка грозит Прокопу, как учитель неразумному ученику, и

переходит к такому способу защиты колхоза, чтобы еще больше оттолкнуть от него Прокопа.

— Прежде всего нужна твердая рука. Нужно покомандовать нашим братом, на работу поставить, да заставить и сделать ее. Свои соображения и свою волю придется в карман положить. Там, брат, не скажешь себе: сегодня сделаю это, а завтра то. Или: сегодня дольше посплю, а завтра встану пораньше. Тут, брат, как по гудку на фабрике: загудели—и становись! И уж не поедешь, куда тебе захочется. А если такая нужда и случится, то ты должен к начальству своему обратиться. Начальством же может быть и Кондрат Козей. Хоть руки его к работе и неспособны, но язык у него ловко ходит... Что ж? Работник он хоть и неважный, но может быть хорошим администратором...

III

Андрей, старший сын Прокопа, был в Красной армии. Как раз в этот день прислал он письмо. Второй сын, Никита, сидел в хате и читал матери письмо. Андрей категорически требовал, чтоб шли в колхоз, и это очень радовало подростка Никиту. Он не раз уж доказывал родителям, что колхоз имеет все преимущества перед мелким хозяйством. С матерью Никита договорился легко: она видела, что в колхозе будет лучше. Еще раньше высказывала Татьяна Прокопу мысль о том, что колхоза нечего бояться: если человек будет трудиться, ему везде можно жить. Вот здесь, на своем хозяйстве, если захворает работник, то вся работа останавливается. В колхозе совершенно иначе. Там работа никогда не остановится: заболели десять, а на работу станут сотни. Да и работа там не будет такая тяжелая. Правда, эти мысли высказывались сначала несмело, осторожно. Теперь же, когда и Андрей так твердо высказался за колхоз, она стала более активной его сторонницей.

— Прожили мы свою жизнь. Дети займут наше место,—рассуждала Татьяна,—а раз они хотят жить в колхозе,—так зачем становиться им поперек дороги?

Но когда в хату вошел Прокоп, то мать и сын сразу умолкли. Переступив порог и остановившись, Прокоп искоса взглянул на жену и сына, зацемячил пальцами

нос, как музыкант кларнет, и двоекратно звонко затрубил.

Так он обыкновенно делал, когда был чем-нибудь недоволен или сильно озабочен. Не глядя ни на кого и ступив шага два, Прокоп молча развязал пояс и снял сермягу. Несколько минут тянулось молчанье. Прокоп чувствовал, что и в собственной хате напирала на него колхозная стихия, выбивала почву из-под ног: ни в жене, ни в сыне не находил он опоры в своем противоклхозном настроении. Но чем крепче нажимала на него эта стихия, тем с большею силой и упорством отталкивался он от нее.

— В последнее время тебя, Прокоп, и узнать нельзя, — первая подала голос Татьяна: — ходишь угрюмый, словно осужденный, или как будто на себе землю носишь.

Это вступление было той лишней каплей, что переполнила чашу терзаний Прокопа. Он весь вскипел и готов был разразиться всеми признаками грозовой тучи, но внезапно сдержался, и вместо молний и громов, готовых низвергнуться из него, он со спокойной насмешкой ответил:

— Нельзя узнать? Так, стало быть, богатым буду.

Татьяна не ожидала такого спокойного тона и такого ответа, и этот ответ ее немного смутил:

— Небольшое счастье быть теперь богатым, — заметила она.

Никита, боясь, что родители начнут сейчас городить всякие глупости и письмо Андрея может выпасть из центра внимания, счел нужным вмешаться в их разговор.

— Андрей прислал письмо, — обратился он к отцу и показал письмо.

Прокоп перевел взгляд на Никиту, а потом на письмо.

— Что же он пишет?

— А вот я прочту.

IV

Прочитав последнюю фразу: «Так не слушайтесь кулацких провокаций, а первыми записывайтесь в колхоз», — Никита выразительно посмотрел на отца. Прокоп сидел неподвижно. Письмо Андрея еще больше придавило его. Вот наваждение: как будто все сговорились против него

и жмут со всех сторон. Но надо что-то сказать, откликнуться на письмо сына.

— Молодец Андрей: знает красноармейскую дисциплину.

Никита не заметил иронического тона и счел ответ отца за хороший знак.

— Вот пусть только Андрей со службы вернется: его председателем колхоза изберут, — горячо отозвался Никита.

В нем говорила гордость за брата, в то же время хотелось угодить отцу.

— А тебя сделают секретарем, и будете отцом командовать... А работать на вас кто будет?

Прокоп двоекратно затрубил носом. Никита разочарованно посмотрел отцу в глаза. Но здесь не стерпела мать.

— Тебе тоже никто не препятствует быть секретарем.

Прокоп укоризненно посмотрел на жену: зачем это издевательство над ним? Как может он быть секретарем, когда он неграмотный? Сердито затрубил носом, а мать сыпала дальше:

— Ты же думаешь — писать, так это не работа? Небось надо посушить голову, пока научишься. Да снесет ли еще твоя голова, чтобы писать?

— Да куда уж годится моя голова? — с обидой в голосе сказал Прокоп: — старался, трудился, сколько было возможно, собирал добро, как ворон кости.

— Кто же говорит, что ты не трудился? Трудился-то ты много...

— Много ли, мало ли, а благодарность одна.

И, неожиданно возвысив голос, промолвил с горькой иронией:

— Эх, вы, колхозники! Батраками захотели быть!

У него явилась потребность высказаться о колхозе. Давно уж беспокоила его мысль выступить с речью на собрании, а теперь как раз подвертывается удобный случай. Так не сказать ли сейчас? Во-первых, будет для него практика, а во-вторых, он проверит силу своей речи. Чтоб приблизить свою роль к роли оратора на собрании, он кашлянул, поднялся:

— Товарищи! — не в меру громко начал Прокоп.

Татьяна и Никита с удивлением и страхом подняли на Прокопа глаза. Прокоп сделал небольшую паузу и сказал еще раз:

— Товарищи... Вот вы тут говорите—колхоз, обобществление скота, чтоб, значит, ничье, коллективно, ну, значит, миром... реконструкция сельского хозяйства.

— Реконструкция,—поправил отца Никита.

— Поправь козе хвост, шибенник ты! Что ж не даешь мне слова сказать?

— Что ты плетешь, Прокоп?—в тоне вопроса жены чувствовалось недоумение.

Прокоп сбился, нос его покраснел, и мысли вылетели из головы, как из дупла молодые скворцы. Злость охватила его: проваливается он с речью.

— Вы слушайте, пустые ваши головы! Это я говорю вам, как сказал бы я на собрании: должен же я высказать свои мысли, свое понимание, а не бросаться с головой в омут, чтобы потом не бегать, как кот с обожженным хвостом. А вы мне рот затыкаете! Если не хотите вы слушать меня, так я буду говорить этим глухим стенам—пусть они послушают меня,—с горечью выкрикнул Прокоп.

— Глупый ты человек, что ты забрал себе в голову? Ты ведь не знаешь, лучше ли одному на хозяйстве или с людьми в колхозе. Неужели же люди все глупы, а ты один умен? Просто на тебя смотреть тошно. Неизвестно, чего терзается человек! Не ты, если уж на то пошло, жить там будешь, а дети твои. Прожили мы уж, можно сказать, свой век: пусть дети живут. Не становись ты им поперек дороги. Или лиха себе нажить хочешь? Кого ты слушаешь?

— Классовых врагов,—заметил Никита.—Просто не хочет мозгом пошевелить, заупрямился, и все... Тут делаешь тысячи работ, а там будешь делать одну. Тут дрожишь ты за свою лошадку, чтоб ее не уворовали у тебя, а там кто будет воровать? Каждый встанет на свою работу и будет знать свое одно дело и не разрываться на части, как здесь. Земля даст больше дохода—будут возделывать ее машинами, подвезут минеральных удобрений... Да что тут говорить? Слепой только не видит этого.

Никита немного стыдился, и речь его была не очень гладкая, но он говорил искренно и убежденно.

Прокоп почувствовал себя одиноким. Молчал, угрюмо потупясь. В хате снова стало тихо. Своя же хата смотрела на Прокопа неприветливо и нерадушно, как будто он здесь был чужой и лишний. А может, и действительно он тут чужой и ненужный?

V

Затонская школа переполнена. Полушубки, армяки, шапки и платки разной формы и цвета пестрят в глазах. Бородатые и безбородые, молодые и старые сидят и стоят, где только можно, плечо в плечо. Шумит, гудит сходка, как весеннее половодье. Настроение приподнятое. Сегодня на этом сходе должно так или иначе разрешиться дело о колхозе.

Председатель сельсовета Никола Тур из соседнего села Крутогорье заметно волнуется. Справа от него сидит, разложив бумаги, секретарь Михайлик, поставив буфером чуб, и это придает секретарю значительную долю удалства. Рядом с ним широкоплечий, художавый и жилистый, словно сбитый из чугуна, Мирон Бриль, бригадир, рабочий с завода. Широкое лицо его спокойно, а взгляд смелый, уверенный. С другой стороны еще два человека: худой, бледный учитель здешней школы и писатель Василь Василец. Это—высокий, подвижной человек лет под тридцать, в романовском полушубке. Перед ним на столе—записная книжка, в которую он время от времени делает записи. Эта книжка и записи в нее производят очевидное впечатление на собрание.

Пора бы уж и сходку начинать, но там, за столом, не очень торопятся: у них есть известный опыт этих сходок: чем больше наговарятся, нашумятся до сходки, тем глаже проходит она.

Собрание начинает выражать нетерпение—надоело уж так сидеть.

— Сходку начинать!—заглушая шум громады, раздается голос из темного угла.

— Начинать, начинать!—присоединяются голоса.

Председатель наклоняется к Мирону Брилю, что-то говорит, видно—об открытии собрания. Бриль молча кивает головой, как будто для него все равно, теперь или еще

подождать. Неспеша подымается председатель, перебирает бумажки, собирается с мыслями, звонит. Шум в передних рядах затихает, и волна тишины медленно проходит по всей школе до задних парт.

— Объявляю собрание открытым. Товарищи!—начинает председатель.

Прокоп стоит возле печки. Сердце его бьется сильнее. «Товарищи» и я могу сказать, но что скажешь ты дальше?»—думает он про себя.

— У нас сегодня на повестке стоит вопрос о коллективизации и текущие дела. Других вопросов не будет?

— Хватит и этого!—гудит сходка.

— Уж пять сходок утопили в этой коллективизации!—слышится сердитый голос.

— А тебе что—времени нет?—спокойно подает кто-то реплику с места.

— Товарищи!—голос председателя становится строгим. — Давайте к делу приступим и прошу прекратить шум — так мы ни до чего не договоримся. А договориться и вырешить вопрос мы должны. Вот здесь кто-то сказал, что уже пять сходок пропущено впустую. А кто виноват в этом?

Председатель потер лоб, а потом сказал:

— Слово дается тов. Брилю, рабочему с завода. Товарищ Бриль, твое слово!

Широкий и плотный Бриль поднялся и увесистыми кулаками, порядком поработавшими у станка, оперся на стол. Он весело окидывает глазами серую крестьянскую массу.

— Товарищи!—начал он. Голос его чистый, звонкий. — Я думаю, товарищи крестьяне, что нашему председателю не придется прибегать к строгим мерам: мы—люди свои, а чужаков мы легко узнаем. Так давайте побеседуем попросту, как говорится, на чистую. Не лишним будет здесь, товарищи, спросить—в чем сила и крепость нашего пролетарского государства?

Словно учитель с большой практикой, Бриль сделал небольшую паузу, как бы давая собранию немного подумать.

— Будет правильным ответ, если я скажу: сила и крепость нашего государства держится на союзе рабочего

класса с трудящимся крестьянством, с бедняцкой и середняцкой массой. Этот союз дал победу Октябрьской революции. Он освободил нас от помещичьего угнетения, выпряг из ярма капитализма. Он же оборонил нас от нашествия белых армий и их союзников, закордонной буржуазии, которая в смертельной схватке пробовала задушить нас, чтобы снова вернуть господство помещику и капиталисту. Наконец, этот союз сделал нас хозяевами на земле и на фабрике, строителями своей собственной жизни на основе социализма. И если, товарищи, я слышал здесь злостные выкрики, недоверие, то эти выкрики можно расценивать только как голос или сознательного врага, который стремится расколоть наш союз с трудовым крестьянством, или же просто как голос непонимания и политической несознательности.

— Правильно!—подтвердили голоса из передних рядов. Собрание слушало внимательно.

— Теперь я перехожу к основному нашему вопросу, к перестройке сельского хозяйства на основе коллективизации. Эта перестройка, товарищи, так велика и настолько нова, что мир видит ее впервые. Так неудивительно, товарищи, что вы подходите к ней с некоторым страхом и сомнением. Но давайте разберемся, дойдем до конца, чтобы принять правильное решение. Допустим, товарищи, что кому-либо из вас приходится переделать то или иное свое строение. Вот он осматривает его, что подправить и как. И оказывается: стреха сопрела, обрешетины обратились в прах, стены покривились, бревна сгнили, фундамент расползся. Что же тогда он будет делать?

Пример, приведенный Брилем, понравился. Оратору зааплодировали, а из передних рядов раздалось гуще:

— Ломать гнилое строение и возводить новое, крепкое!

— Правильно, товарищи! В плане советского строительства, когда на наших глазах гиблые болота превращаются в плодородные земли, когда страна покрывается сетью электростанций и возникают гиганты—заводы, фабрики и целые города,—ваше строение, ваша форма мелкого хозяйства—гниль. Ваши хозяйства разбросаны, отделены межами, а на этих межах и в этих межах вместе с полынью и чернобыльником будет выращиваться и то

дикое зелье, что уж в силу своего существа стремится разорвать наш союз,—будет расти кулак. Ваше хозяйство, товарищи, в его настоящей форме—одна нелепость. Вы трудитесь много, а собираете мало. Живете в душных, тесных хатах вместе со скотом, в грязи, в нечистоте, но вы не видите этой нечистоты—вы опутаны паутиной древности и находитесь в ее плену. Наша задача, задача партии и советской власти, сохранить силу человека, облегчить его труд, освободить его из-под власти земли, что так скупо оплачивает его труд; наша задача—увеличить его продукцию, дав ему машины. А этого мы добьемся тогда, когда мы до основания сломаем гнилое строение нашего хозяйства, а на его месте возведем новое на фундаменте коллектива свободных людей.

Бриль был не плохой оратор. Очень красиво и метко нарисовал картину жизни в коллективе, не закрывая глаз и на те трудности, что неизбежно будут на первых порах. И когда он окончил речь, ему дружно и долго аплодировали.

VI

Никита, сидя в первых рядах и слушая речь, весь горел. Громче и усердней всех аплодировал оратору, и радость его возрастала по мере того, как таял лед недоверия в крестьянских сердцах под искрами горячих слов.

Совершенно иначе чувствовал себя Прокоп. Перед сходом он льстил себя надеждой, что и сегодняшняя сходка окончится так же, как оканчивались прежние: поговорят, пошумят, может кто и запишется, а в общем дело вперед не подвинется. Но когда с речью выступил этот рабочий и увлек крестьян простотой своей беседы и искренностью веры в победу новых форм жизни, то надежда Прокопа погасла, и он тихо сказал своему соседу:

— Запишутся все!

— Запишутся!—подтвердил сосед.

Прокоп слушал оратора, а мысли его вертелись возле колхоза. Он видел широкое поле, нигде ни межи, и его полоска, которую он так хорошо унавожил с осени, слилась и затерялась в сплошной шири запаханной земли... Он боронил парю лошадок колхозную землю, а за ним тоже с бороной шел Маринич. Маринич—хитрый, лени-

вый человек, только вид подает, что трудится, а сам по-смеивается над Прокопом.

— Смотри, Прокоп, как Михайла стегает твою лошадь. Что значит не своя собственная лошадь.

Прокопа забрала злость против Маринича: сам прогулял свое добро, да еще насмеяется, что он, Прокоп, сохранил свое имущество и в колхоз вошел, как невеста из богатого дома в семью мужа. Прокоп вспомнил, что он еще не в колхозе, стал искать глазами Маринича. А Маринич сидел себе с видом невинного ребенка и слушал. Прокоп был уверен, что Маринич одним из первых войдет в колхоз, и глухая неприязнь к нему зашевелилась в сердце Прокопа.

Никита часто оглядывался; ему хотелось знать, как воспринимает отец слова Бриля. Бриль в глазах Никиты был героем. Но ничего не мог рассмотреть Никита на лице отца. Прокоп сидел сзади у стены, и лицо его было видно неясно.

Окончились речи. Председатель обратился к собранию, какие у кого есть вопросы.

— Вопросов нет?

— Нет.

— Кто хочет высказаться?

Собрание молчит, а потом слышится один голос, другой, а за ними хор голосов гудит:

— Чего там высказываться? Записываться—и все.

Но никто не решается записаться первым. Подталкивают один другого, немного шутят, посмеиваются. Наконец вытолкнули Емельяна Ничипорука, мотивируя это тем, что у Емельяна рука легкая. Емельян набрался смелости, подошел к столу и жесткими, заскорузлыми пальцами вывел свою фамилию.

— Ну, колхоз, так колхоз—сказал он, расписавшись.

За ним смелее и дружнее повалил народ. Возле стола образовалась очередь. И Маринич в первых рядах. Порог, что стоял между собранием и колхозом, был преодолен, и люди очутились по другую сторону межи.

Никита с тревогой смотрел за отцом. Прокоп подался вперед, остановился, всмотрелся в передние ряды, в очередь у стола. Увидел Маринича. Прокоп нахмурился, затоптался на месте и незаметно отступил к двери. Еще с

большой тревогой посмотрел Никита на дверь, которая пропустила отца. Никита тоже направился к двери—догнать, воротить отца.

Уже третьи петухи пропели на селе. И какой странный, какой далекий и глухой голос их! Это—деревенские гудки и сирены, что из глубины времен донесли свой голос вплоть до этого часа и первобытной мерой измеряют сельским людям время и возвещают о переменах погоды. Шумит ветер в оголенных ветвях березы, а в окна смотрит бесконечная зимняя ночь, а там, за селом, лежат бескрайние омертвелые просторы.

Прокоп видит их в своих мыслях, лежа на полатах возле печки. Докучливые, невеселые думы толкаются в его голове, и тяжело на сердце. Никак не может уснуть Прокоп. Перебирает в памяти события дня и вечера. И какой это длинный, бесконечно длинный день!

Припоминает утро, встречу и разговор с Чикилевицем. Чикилевиц, может быть, и рад был бы пойти в колхоз, но его не примут—он лишен права голоса. А что сделают с ним, с Прокопом? Как будто этот рабочий что-то намекал на него в своей речи. Прокоп беспокойно поворачивается под дерюгой. Ему вспоминаются слова жены: или ты лиха себе ищешь? И действительно: не ищет ли он себе лиха? Прокоп тихонько вздыхает. Извечный круг крестьянской жизни становится тесным. Поднимается, садится, свешивает ноги и думает. Ему нужно что-то сделать, но что? Не знает. Нужно найти какой-то выход, на что-то решиться. В глазах встает Никита. Как просил, как умолял, как укорял отца, чтобы возвратился на сходку. Но он не возвратился, а парень плакал от обиды.

Прокоп поднимает голову, смотрит сквозь тьму на топчан, где спит Никита. Никита дышит ровно и спокойно—что значит молодость: не захватывают ее так терзания, как забирают они его, старого. На потускневшие от времени и труда глаза набегают слезы. Прокоп чувствует себя одиноким, его что-то ест, грызет. И он здесь чужой для всех, лишний. Отцепился от громады, от семьи, как пень торчит на их дороге.

Перед его глазами встанут белые просторы за селом, и дорога с рыжими колеями о чем-то говорит ему.

Он решительно поднимается с постели, зажигает огонь. Обувается. Навертывает на ноги суконки, надевает сапоги. Отбирает одежду, как будто бы собирается в гости. Пробуждается жена, молча, испуганно смотрит на Прокопа.

— Куда ты собираешься?—в ее вопросе слышна тревога.

— Пойду своей дорогой.

— Прокоп! Да одумайся ты. Что ты забрал себе в голову!—причитает Татьяна.

— Тятя, что с тобой делается? Куда собираешься?

Прокоп молчит. Надевает короткий полушубок, а на верх натягивает подлиннее, новый, с широким воротником, становится перед иконами, стоит несколько минут, а потом нахлобучивает шапку, берет сумку с хлебом и палку.

Старуха срывается с постели, хватая Прокопа за руку. Прокоп отталкивает ее, вырывает руку. На помощь ей бежит Никита. Прокоп замахивается на них палкой.

— Прочь!—строго кричит он, а потом более спокойно и кротко говорит:

— Не мешайте мне, как не хочу мешать и я вам. Теперь вы идите в колхоз: не буду стоять вам поперек дороги. Теперь я—бобыль и вольный человек. Прощайте, живите счастливо.

И направляется к порогу.

Жена и сын снова бросаются удерживать его, но он замахивается на них палкой и отгоняет.

— Не вводите меня в злость!

Скрипнула дверь, одна и другая, раза два прохрустел снег, и стало тихо.

Темная ночь охватила Прокопа со всех сторон, и сторбленный силуэт его сейчас же исчез в темноте.

Перевел автор

З М И Т Р О К Б Я Д У Л Я



Змитрон Бядуля (Самуил Плавник) родился в местечке Посаец, Вилейского уезда, в 1886 году. Отец Бядули сначала был балаголой, а потом начал торговать лесом.

Детские годы поэт провел в семье отца. С семи лет начал учиться в хедере. На двенадцатом году отец отдал его учиться в ешибот в местечке Ивье с целью подготовить его в раввины.

После трех лет учения в ешиботе он удрал назад в свое местечко и стал работать учителем. З. Бядуля начал писать стихи с 13 лет, сначала на еврейском языке, а потом на русском.

Когда к нему попала белорусская газета «Наша ніва», он начал писать на белорусском языке.

В 1912 году писатель приехал в Вильно и начал работать секретарем буржуазно-либеральной газеты «Наша ніва».

С начала Октябрьской революции вплоть до 1921 года З. Бядуля вел активную борьбу против пролетарской революции. В этот период он работал в редакциях белорусских национал-демократических газет («Вольная Беларусь», «Звон», «Беларусь»), был активным литературно-художественным и публицистическим сотрудником их.

С 1921 года в течение ряда лет З. Бядуля работал в газете «Советская Беларусь», затем был редактором детского журнала «Зорка» и членом редакции журнала «Полымя», состоял в литературном объединении «Узвышша».

Книги:

«На зачарованых гонях»—рассказы (несколько изданий),

«Салавей»—повесть,

«Нязвычайныя гісторыі»—рассказы,

«Язэп Крушинскі»—роман, книги 1-я и 2-я.

В переводе на русский язык имеются:

«Повести и рассказы», ГИЗ, 1929 г.,

«Соловей», «Прибой», 1929 г.,

«Язэп Крушинский», кн. 1-я, ГИХЛ, 1931 г.

На украинском языке:

«Соловей»—Украинск. раб., 1929 г.

Пишет на белорусском языке,

МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ

На листьях берез розовеет утро.

Вдали местечковые хаты. Выгон в белых перьях, как в снежинках. Сажалка. На сажалке гуси. Солнце только что выглянуло из-за леса. Крик ворон заглушает пение жаворонков.

Дорожкой вдоль тракта идет из местечка кузнец Лейба. Сегодня он первый оставляет неуклюжие следы на росной стоптанной траве. Под тяжестью мешка на спине он так нагибается, что седая борода прижата к груди. Рукою он опирается на палку.

Медленно идет Лейба вперед к Дроздам и Дятлам. В мутноватых черных глазах выражение удивления и недоумения. Медленная ходьба придает такт его мыслям:

...Уже столько лет не был в Дроздах и Дятлах. А за это время, ой, как изменилось местечко. Вероятно и Дрозды и Дятлы не те...

Мешок натирает спину. В мешке твердые узелки. Старик снимает его с плеч, с улыбкой перебирает узелки и снова вскидывает на плечи.

...Совсем не тяжело.

Пошел быстрее. Ни одной подводы, ни одного человека на дороге. Только по обе стороны по полю, где-то далеко, суетятся люди с лошадьми—черные точки на синеватом фоне небосклона.

...И не осмотрелся, как местечко стало иным. Около местечка несколько мелких сельскохозяйственных артелей «Иди зайнен авек аф карке»¹.

...Мир перевернулся...

О том, что «мир перевернулся», Лейба уже не печалится: пробовал раньше печалиться—не помогло, ну и черт с ним. Пускай идет, как идет.

«Пускай идет, как идет»,—Лейба часто повторяет таким тоном, как будто он сам выпустил из рук, из-под своего руководства этот мир, который скачет перед ним галопом.

Изо дня в день удивляется Лейба страшному «галопу».

...Мир перевернулся...

Некогда удивляться этому, однако Лейба удивляется... А раньше печалился, что «королева Шабес» поднялась и поплыла на облачных крыльях к «Королю Иденею в самое седьмое небо» (образ этот Лейба позаимствовал из субботней молитвы). Но не хуже «королевы Шабес» комсомолика Среда—день отдыха у артельных кустарей. Так отдыхают в этот день, что тосковать не приходится.

Сначала Лейба пугался.

Потом вместе с «королевой Шабес» исчез страх. Вместе со страха у него осталось одно удивление.

Вчера он получил по почте письмо от своей дочери Мери. Подумаешь, почта ей понадобится, если от Дроздов и Дятлов до местечка три раза плюнуть.

Мери писала по-еврейски. Так писала:

«Дорогой татанька!

Зорочка, внучка твоя (он думал, что дочку Мери зовут Сарочка), хочет тебя увидеть. Дедушку Лейбу дай ей,—говорит она. Напиши, если согласен приехать, если зло твое отлегло от сердца,—и мой Мартын запряжет коня и поедет за тобой. Я тоже хочу тебя увидеть. Ждем тебя... Кстати, теперь к нам приехал второй зять Микола Яремчик. Вот и познакомишься с ним.

Твоя дочка Мери».

¹ Евреи пошли в земледельцы.

— Я только Сарочку хочу увидеть — свою кровь... — оправдывался Лейба перед женой.

Был как раз день отдыха — комсомолка Среда, — и Лейба вместо того, чтобы написать письмо о согласии, запряг «свою пару», натянул новые сапоги на ноги и утром пошел к Дроздам и Дятлам. Жена его, которая уже несколько раз была у дочки, накупила для внучки разных подарков, дала ему с собой продуктов («трефного мой Лейба не будет кушать, хоть с голоду умрет»), — говорила она часто соседкам), и он пошел.

Укололо старика тонкой булавочкой то, что и вторая дочка Соня, которая учится в Минске, тоже за «гоем» замужем. Но на этот раз укол был не очень болезненным.

Привык к Мартыну, привыкну и к соинному Миколе. Как Мартын не Шлема, так же и Микола не Борух.

Долго об этом рассуждал перед своей женой, считавшей его самым умным на свете человеком...

Он часто излагал перед нею свою новую философию относительно «перевернутого мира». Обыкновенно заканчивал так:

— Мы все теперь ходим вверх ногами, а если все так ходят, то кажется, что прямо... Интересно взглянуть и на другого — Миколу.

Погладил бороду и добавил:

— Две одинаковые беды — одна беда. Свыкнешься с бедой — уже полбеды беды. Все зависит от времени. На сегодняшний день, возможно, и никакой тут беды нет...

Жена не дослушала. Она и так хорошо знала:

...Ибо «мир перевернулся».

Удивленные глаза Лейбы глядят на знакомый старый тракт, обсаженный березами.

...И старые березы не те, что раньше...

Когда-то ему казалось, что старые березы вечно богу молятся, а теперь поют какие-то задорные песни.

...Вот как те девушки!

(По дороге проходила теперь толпа девушек с граблями.)

— Откуда? — спросил Лейба.

— Из коммуны «Червонный Октябрь», — ответила одна из них.

За последние годы выражение удивления никогда не сходило с лица Лейбы.

Со слезами на глазах Мери встретила старого отца впервые после нескольких лет разлуки. Сейчас же побежала нагумно будить своих—Мартына и Николу.

— Вставайте, гость пришел, мой отец.

Мужчины вошли в избу. Старый Лейба их не заметил. Трехлетняя Зорочка сидела у него на коленях. Удивление было в глазах у деда и у внучки.

Это удивление сблизило их возрасты. Оба смотрели на интересную вещь—на старый мешок, стоявший тут, рядом на скамейке, который как-будто подмигивал им с хитростью клоуна.

В мешке было все то хорошее, интересное и вкусное, что только может быть в мире...

— Еще—говорила Зорочка,—еще.

Дед вынимал из мешка все новые вещи и медленно, с большими остановками, с театральными жестиами.

— Еще..

Из мешка перекечевали на стол: юбочка, пряники, сусальный конек, конфеты...

Мешок пустел, морщился и, кажется, радовался своему опустошению, а «самое привлекательное и вкусное, что только может быть в мире», наполняло стол.

Зорочка была очарована своим «новым дедуней», смеялась, хлопала в ладошки и все повторяла:

— Ой, какое красивое! Еще, дедуня, еще!

— Больше нет,—сказал Лейба.

На дне мешка осталась только его «кошерная» еда... Мешок был теперь скомкан в блин.

С лица старого Лейбы сошло выражение удивления и уступило место тихой ласке,—это впервые за последние годы.

«Вероятно, «тот» так захотел, — подумал Лейба. — Тут уж ничего не сделаешь...»

Под словом «тот» старик подразумевал бога, от которого еще не отошел, но в его представлении и «бог» изменился вместе со «всеми на свете».

— Видно, бог примирился. Ну, тогда и я тоже...

Мартын и Микола молча смотрели на старика и подмигивали друг другу без слов.

— Смотри, осваивается старик...

Микола заметил у Лейбы руки кузнеца,—потресканные, черные.

Теплая сердечная улыбка заиграла на лице Микола.

Старый герб труда! Такой же герб и на руках миколиного отца. Герб интернациональный. Нет расовых признаков...

— Смотри, дедуня,—вскочила Зорочка,—папа плисел и дядя. Они смотрят на нас и хотят смеяться...

— Хотим,—сказала Мери, и все засмеялись. Здоровались со стариком. Лейба поднялся и показал рукою на Миколу.

— Это Микола? Муж моей Сони?

— Этот самый,—ответил Микола.

— А где теперь Соня?—и положил руку на плечо Микола.

Вспомнил, что Микола «гой», и снял руку.

— Соня гостит теперь у моих родителей,—ответил Микола.

«Каждый ребенок имеет родителей, и все родители имеют свою беду,—подумал Лейба.—Может, родители Микола плакали, что их сын взял в жены какую-то еврейку...» И Лейба сочувствовал родителям Микола.

Микола зорко присматривался к старику. Он находил в лице Лейбы, обросшего до самых глаз сединой, что-то общее с лицом Сони.

Тем временем Лейба сказал вслух:

— Ну, что же, если ты муж моей дочери, то значит ты мой сын. А если ты мой сын, то значит ты поедешь ко мне в гости вместе с ними. (Он указал рукою на Мартына и Мери.)

— Хорошо, соберемся как-нибудь,—от имени всех согласился Мартын.

И тут же старый Лейба пожалел, что пригласил их в гости. ... Это ж местечковые как увидят, как возьмут на языки!

Не додумал до конца.

Что-то решительное блеснуло в его глазах. И он сказал голосом твердым, как бы обижаясь:

— Обязательно приедете! Будем ждать. Старуха очень просила...

На этот раз он солгал, потому что старуха об этом ему ничего не говорила.

Лейба снова взял к себе на колени маленькую Зорочку и заговорил сам с собою на еврейском языке голосом заговора:

— Зэер гут вос амэйдале ун нит а ингелъ. Мэдарф нит махн абрыс. Гот хот дос гетон цуліб мір...¹

— Райд нит ідыш, тата. С'паст нит²,—сказала Мери.

— Говорите, говорите по-еврейски,—спохватился Мартын.—Я все понимаю. Только мне самому говорить трудно на этом языке.

— А я и разговаривать от Сони научился,—похвастался Микола.

— Хорошо, сынки, хорошо...

У Лейбы снова появилось удивление в глазах.

... Какая-то путаница среди народов...

Мери суетилась возле печи. Она была озабочена скрытой мыслью:

— Будет ли отец есть ее завтрак?

Лейба осматривал хату. В углу икон нет, но и «мазузе»³ нет у дверей. Что-то ни то, ни се...

В эту минуту тихо открылись двери. В хату всунулся бойкий маленький седой старичок. Лицо в глубоких морщинах. Борода редкая и желтовато-белая. Это был отец Мартына.

— Я заметил, что свой человек идет,—начал старичок тоненьким пискливым голоском. Глаза его заслезились.—Свой человек, так я, говорится, подумал, что нужно зайти. Как же это, говорится, не придешь?

Отец Мартына посмотрел на каждого в отдельности и начал что-то засовывать глубже за пазуху.

— Ты что сидишь, Лейба, давай поздороваемся. А может, ты, говорится, сердисься на меня? Я же не виноват: мир таким стал.

— Мир перевернулся...—поправил Лейба и осторож-

¹ Очень хорошо, что девочка, а не мальчик. Не нужно обрезания, бог это сделал ради меня.

² Не разговаривай по-еврейски, папа, неудобно.

³ Сверток пергамента с надписью-заговором против нечистой силы на дверях жилищ евреев.

ненько, точно кувшин, полный молока, поставил внучку на пол.

Два деда приближались друг к другу.

Можно было подумать, что они готовятся к бою или к такому необыкновенному поступку, от которого сейчас если не весь мир, то мартинова хата перевернется...

Можно было подумать, что Мартын, Мери и Микола тоже готовятся к чему-то необыкновенному, потому что они молча, с большим интересом посматривают на обоих стариков.

Встретились старики посредине хаты, подали друг другу руки, точно два силача, которые за последние годы очень ослабели.

— Сваток, — дрожащим голосом проговорил мартинов отец, — сваток.

— Махути, — поправил отец Мери, — по нашему это будет махути...

— Пускай себе «хомуты», все равно, братец, — добавил отец Мартына. — Внучка у нас одна — Зорка.

— Сорка, — поправил отец Мери.

Старики обнялись.

Микола с Мартыном переглядывались. В глазах Мери заблестели слезы.

— Не хочу, чтобы дедушки плакали, — просила Зорочка.

Старики успокоились, сели.

Отец Мартына с особенной торжественностью вытянул из-за пазухи бутылку водки, взмахнул ею против солнца, и в бутылке засверкали искры.

Отец Мери подошел к своему мешку, чтобы достать оттуда «кошерную» закуску.

Старый Лейба был взволнован. Мысли быстро плыли одна за другой, как челны по реке.

... Новое родство (старый Лейба любил побольше родственников)...

Он начал подсчитывать:

... Мартын, Микола, их отцы, матери, братья, сестры, дяди, тети, двоюродные братья...

Закружилась голова:

... Я не одиноки!

Вспомнил библию:

... Первый еврей Авраам для своего сына Исаака также взял в жены не еврейку...

И я тоже делаю. Вот одинаковое начало и конец библии.

Тем временем отец Мартына наливал водку в рюмки и приговаривал:

— Вот, говорится, интересно жить на свете, сват, что ты там копаешься в мешке?

Перевел *М. Б.*

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА „МЕДВЕДИЧИ“.

Снег под луной синевато искристый, мерцает, переливается. На нем резко легли тени—молчаливые, неподвижные. Тени от строений, от безлистных, стоящих в опеченении деревьев, от колодезных журавлей. Хаты, как окоченелые старушонки, которые надвинули свои белые платки на самые глаза, не гармонируют с феерическим блеском и меланхолическим спокойствием улицы. Они то яснеют, то снова тускнеют, в них что-то трепещет, как будто скачут живые веселые чортики. Одна из старушонок, самая маленькая и сторбленная, отеснена более сильными и молодыми на огород за Громобоевы амбары. Ее стеклянные глаза застыли.

Но вот из-за соседнего строения подкрадывается к сторбленной, укутанной снегом хатенке какая-то фигура. Прислоняется к стене, секунду прислушивается. Поворачивается в ту сторону, откуда пришла, машет рукой:

— Сюда,—шепчет вполголоса.

Из тени амбара выходят еще четверо. Заходят от глухой стены, чтобы их не видно было в окно. Жмутся к стене, замирают. Из хаты слышен высокий молодой и чистый голос:

«Ой сама я йду
Дый бяду вяду,

А беда ня вядзеца,—
Пад вішняю
Пад чарэшняю
Са мной спаці кладзеца.

Дрожит, переливается девичий голос. Бьется в песне женщина с лихой бедой: не осилить беду, не отцепиться от нее, везде беда неразлучно с ней. И нервы, как струны, натягиваются, когда слушаешь эту жалобу—песню, горячую и чистую, как слеза. Хочется узнать, как очутилась эта бедная девушка в трухлявой хатенке; почему она страдает тут одна, впотьмах, без огня; кто обидел ее? Хочется защитить ее от неотвязной беды. Даже эти сорванцы, которые пришли совсем не для того, чтобы наслаждаться искусством, и те не смеют прервать очарование песни, хоть и не впервые слышат марыськино пение.

Но довольно раз взглянуть на певицу при свете, как вся иллюзия девичьей нежности, красоты и молодого томления исчезает. Молодая девушка становится пожилой женщиной с восково-желтым изможденным, как у мертвеца, лицом. Однообразие этой мертвенной желтизны нарушают только глаза—жуткие, изъеденные застарелой трахомой. Кроваво-красные, набряклые веки слиплись. Платок надвинут с головы на лицо, чтобы защитить от яркого света и нестерпимой боли раны глаз. Трудно поверить, что это та самая Марыська, голос которой дополняет теперь очарование ночи.

От прежней красоты и девичьей молодости остались у ней только этот голос, чистоты и молодой звонкости которого, кажется, совсем не тронули лета, да еще девичье имя ее, ласковое когда-то и ироническое, почти оскорбительное теперь—Марыська. Закрепилось это имя у людей не в память ее давнишней молодости, а скорее как кличка. Она сама никого иначе не называет, как ласково: Тодарка, Ганулька, дяденька. Своего мужа и то иначе никогда не называет, как Яночка. Даже если и проклинать ей кого приходится, то и проклятия эти ласковые. Подразнят ее дети на улице, увечьем ее попрекнут, слепой назовут, а она так добродушно, ласково, будто целебное лекарство к ране прикладывает:

— А, мои деточки, дай господи, чтобы моя долечка встретила вас в мои молодые годы, чтобы вы на ясное

солнышко взглянуть не могли, чтобы вы татки и мамки не увидели.

Но когда начинались марыськины песни,—кончались издевательства над ней и насмешки над ее слепотой, утихали даже наиболее жестокие медведические зубоскалы. Песен она знала, пожалуй, больше сотни и отдавала им всю себя без остатка, как бы отгораживаясь ими от реального мира, радостного для иных и мучительно-темного для нее. Перепевая, может, в тысячный раз те песни, которые она пела в молодости, Марыська вновь переживала в них свое девичество, свою синеокую молодость.

Сидит Марыська под окном за прялкой, выводит нитку за ниткой, такие же длинные и тонкие, как ее песни. Света в хате нет, прядет она при луне. Ей все равно. Ее несчастье является вместе с тем и источником ее экономии: не нужно тратиться на керосин и лучину. Долгая практика с малых лет и увечье научили ее прядь в темноте. При мягком свете луны может она еще взглянуть кудели в бороду, а при огне совсем не может.

Зашуршала спичечная коробка, чиркнула спичка.

— Яночка, не сдурел ты? Опять спички жгешь! Поискал бы уголька в ямке, еще, может, жарок не потух. На прошлой неделе только коробочку спичек взяла, так скоро все и пожгешь.

— Молчи...

Кашель забивает, не дает ему вымолвить...

— Кошка слепая!—оканчивает он наконец фразу, прерванную кашлем.—Не передай нутра.

Под окном начинается хорканье, мяуканье и наконец дружно:

— Яночка, на крестины позови!

Осторожно звякнула дверная скоба, и озорники брызнули за углы соседних строений. Вдгонку им летит и ударяется об угол березовое полено:

— Чтоб вам языки повыперло!

Ухватился за косяк и долго надрывно кашляет.

Задразнили Яночку. Ни на улице пройти, ни дома на печи спокойно полежать. Задразнили так, что если даже кто случайно в разговоре о крестинах вспомнит, Яночке все кажется, что это его дразнить собираются.

Во сне даже часто мерещится, что под окном собрались озорники со всей деревни, прыгают, языки высовывают, на крестины просятся. Схватывается Яночка, чтобы нащупать скалку или полено; осмотрится—нет нигде никого. Опомнится, что это ему снилось, покашливает и опять лезет под одеяло. Одиннадцатый год так потешаются над ним лихие люди.

Который год живут Яночка с Марыськой, они сами хорошо не знают—не то восемнадцатый, не то двадцатый. Помнится, Яночка тогда только что из царской службы вернулся. Фуражку без козырька с красным околышем носил, сдвинув на правое ухо. Шинель, хоть старая, но с блестящими пуговицами—в накидку. Правда, и тогда уже внутри была какая-то червоточина,—одышка одолевала и покашливал слегка. Отзывалась царская службаматушка. Но старался пофорсить перед медведичскими девицами. У Марыськи же тогда были румяные щеки и синие зоркие глаза. Сквозь шинель с блестящими пуговицами она видела яночкину третину земли и—«сама себе хозяйка в доме». Как ни хитрил Громобой, а вынужден был дать Яночке треть надела. Потому что, хотя теперь, взглянув на Яночку, трудно было сказать, что он громобоев брат, а оно было действительно так. Две трети Громобой оставил себе и сестре, старой деве. В скором времени ему удалось сплавить сестру замуж, и он так и остался хозяином двух третей. Яночка и не домогался особенно половины, он и с третиной справлялся с трудом. Одышка при тяжелой работе все больше давала себя чувствовать, и какая-то слабость одолевала—не то от хвори, не то от плохого питания. А у Марыськи в скором времени с глазами что-то приключилось. Думала, поболит да стихнет, а оно чем дальше, тем хуже. И с детьми им тоже сильно не повезло,—бездетной осталась Марыська. Сначала думали это так, пока что. Но, дальше-больше,—начали беспокоиться, друг на дружку вину сваливать: не знали, из-за кого у них так выходит. Стала Марыська по ворожеям да по шептухам ходить. Той холста трубку, той яичек или маслица. И это ей наговаривают, и то советуют—не помогает. Наконец, как-то перед самой немецкой войной замечает Марыська (по своим женским делам), что она как-будто забеременела. Надежду и радость большую до

поры до времени в себе затаила: «А может оно так, мало ли что бывает». Прошел другой, третий месяц,—не ошиблась Марыська. Наконец и фигура ее стала округляться. Соседки стали замечать, распрашивать у ней, стали наплетывать при встрече разные советы. Когда перевалило на другую половину, Марыська уже и не таилась ни от кого. И Яночке, прислушиваясь к самой себе, радостно шептала:

— Вот так и слышу, как оно там барахтается, ножонками выделявает. Хоть дал бы господь мальчика.

И Яночка повеселел. Казалось даже, меньше горбился при ходьбе. Улыбаться чаще стал, теребя пальцами курчавую русую бородку. Не надо будет теперь ему беспокоиться о том, кто его старость почитит, милости у чужих людей не надо будет просить. Чего-чего, а кусок хлеба дитя своему отцу не пожалеет. Соберутся бабы на завалянку, увидят Яночку на улице, шутят над ним:

— Загордился, и в нашу сторону не смотрит. Да иди ты сюда, поговорим немного. Вскоре, может, рюмку у тебя не выпьем ли?

Смеется Яночка, щерит свои мелкие овечьи зубы.

— Так и быть, соседushки... Только—чтобы дал господь все хорошо обошлось, а рюмки я не пожалею.

Когда стал приближаться срок, начал Яночка о рюмке беспокоиться. Попостился немного, холста трубку Марыська дала—завез на базар, у брата несколько рублей займа взял. А Марыська уже счастливой минуты ждет—вот не сегодня-завтра.

Однако и срок проходит, и неделя, и другая миновала—а Марыська все в одном положении. Что-то не нравится это Яночке. Нетерпение его берет:

— Да когда же ты наконец рассыплешься?

— Яночка, глупенький, ты только не сердись! Вот как бог даст ту минуту, так и будет. Может это я, считая, ошиблась,—успокаивает его и сама себя Марыська.

Наконец и десятый месяц проходит, нет ребенка. Зло Янку разбирает.

— Да не кобыла же ты, прости мне господи, что год будешь носить! И все у тебя не так, как у людей. Вот наказал меня бог!

Марыська уже и не оправдывается, слезами больше

отбивается. Она теперь и сама себе не верит, не знает, что тут такое может быть.

И наконец, когда перевалило на одиннадцатый месяц и когда марыськина полнота пошла на убыль, всем ясно стало: не будет у Марыськи ребенка. Ахнула вся деревня: никогда такого ни с кем не случалось. Даже самые старые люди не помнили такого случая. Ахнули от удивления, а потом от смеха. И пошли перебирать марыськины косточки, пошли перемывать языками. Подойдет иная лепетуха: такая она приветливая, такая доброжелательная, так жалеет Марыську, а отвернется—передником рот закрывает, чтобы громко не расхохотаться; бежит скорее соседке рассказать, что еще от Марыськи про это чудо узнала.

Долго не хотела Марыська доктору показываться. За стыд, даже за большой грех это считала. Наконец решилась и пошла в местечко. Хотела знать, что же это с ней такое творится. Доктор ее осмотрел внимательно и скавал, что никакой беременности у нее не было, что это ложная беременность, но бывают такие случаи с женщинами, которые слишком сильно желают иметь ребенка. Он еще ей что-то разъяснил, но она почти ничего не поняла. Когда Яночка стал спрашивать дома, ничего рассказать не могла, чувствовала только себя сильно и навсегда несчастной.

Янка сразу осунулся и еще более сторбился. Седина в волосах появляться стала, хотя ему тогда еще и сорока лет не было. Очень уж его насмешки людские допекали! Марыська—та более спокойно их принимала, даже как будто и примирилась.

— Брешите себе, люди хорошие, издевайтесь надо мной, несчастной. И ваша долечка еще впереди. Может, бог даст, над вами еще пуще посмеются,—сказала она однажды на улице. С тех пор к ней не так приставали. А Янка не мог спокойно сносить насмешек. Со взрослыми он ругался последними словами, а с теми, кто помоложе, кого он мог осилить, просто в драку лез. А тем только это и надо было: догнать их он не мог, а подразнить его да поиздеваться над ним—лучшей забавы для них не было. Потому и не давали они ему покоя даже дома, на печи.

Из-за этого и Марыську Яночка возненавидел. Мало

того, что сама слепая да неудачливая, еще и его на всю жизнь опозорила. Потому никогда он ей теперь и слова по-человечески не скажет—все с окриком да с проклятием. Покричит на жену, на лошадь, на кур,—будто и легче станет, а если в поле выйдет или выедет, то по всему полю, из края в край, слышно, где он поворачивается. Поедут на луг, начнут сено на воз метать. Берет Марыська сено ощупью, не видит, как его лучше подать. А он уже кричит на весь луг:

— Падла слепая, как ты даешь! Спереди заноси, чтоб тебя на кладбище вынесли!

Пока занесет она спереди, руки ослабнут, пласт рассыплется—опять беда:

— Только с воза слезать не хочу, показал бы я тебе, как подавать!

— Тише, шальной, не смей ты людей,—уговаривает его Марыська, стараясь собрать разбросанное сено.

Особенно ослабел Янка за прошлую осень. Теперь, зимой, и работа небольшая: на заработки он не ходит, лапоть какой-нибудь сплести или починить да за лошадью с коровой присмотреть и то ему трудно

В последнее время что-то Громобой к нему стали ласковой: и сам часто заговаривает с Янкой, и Громобоиха иногда и простокваши кувшин с девочкой пришлет (уже с месяц как янкина корова перестала доиться). Чувствует Янка, что это не так себе, что брат имеет что-то в виду. В чем тут дело, Янка хорошо не знает, только немного догадывается. «Пускай,—думает себе,—посмотрим. Брат, все-таки не чужой кто-нибудь: может, обиды моей не захочет».

Начиная с половины марта, каждое утро заливается жаворонок, упорно напоминая, что весна—вот она. А там и дикie гуси и журавли,—все бьют в одно. И стали медведичские хозяева посматривать на солнце: как оно, серьезно взялось или пробует только? Зимняя одежда земли прорвалась раньше всего на буграх, как старый кафтан на локтях, потом начала расползаться все больше и больше,—стала земля отогревать под солнцем свои голые, окоченевшие за зиму бока. Заботливые хозяева принялись осматривать инвентарь, собирались по трое, по четверо

у кузницы: тому колеса перековать нужно, тому лемех поточить. От сумерек до сумерек шел в кузнице веселый звон на всю деревню.

Если зимой часто беспокоили Яночку хозяйственные хлопоты и думы о будущем, то он старался их отогнать: «А!.. как-нибудь же оно будет! Весна еще далеко». А теперь прижала Яночку весна—никак не выкрутишься, надо что-то предпринимать—то или это. Выйдет Яночка на улицу (на чистом воздухе легче дышится и думается), задерет бородку, свои мелкие овечьи зубы щерит на солнце: тепло, как раз бы в кожухе на завалинке посидеть. Но увидит на улице гурьбу ребятишек (из школы, что ли, идут!?) и не сядет на завалинку (погибели на них нет, дразниться еще начнут!)—возьмет и пойдет в хлев как бы за делом. Откроет ворота—сивый одним глазом косит, уши почти потолка касаются, навоза возов пятнадцать настоял. Радоваться бы тут Яночке, но как подумает, что весь этот навоз придется ему вилами вздрать да на воз перебросить, страшно становится. Нет его силы на такую работу: ноги дрожат, руки слабеют и кашель жить не дает. А еще как подумает: весь яровой клин придется перепахать, всю весну надсаживаться за плугом, принимается Янка кричать на все поле, проклинает страшными проклятиями ни в чем не повинного Сивого; садится в борозде и по полчаса корчится в судорогах, пока отшпалляется. Некому ни заменить, ни помочь, а жить надо. Хоть бы не слепота эта марыськина! А то придется картофель сажать, и этого не может: где густо в борозду набрасает, а где плешины голые.

Выйдет Яночка из хлева—и солнце, кажется, потускнело и петух нарочно дразнит Яночку, дерет горло и хвастается: вот какой я форсистый да бойкий, как мне весело жить на свете, и как меня любит вся эта стая кур! Возьмет Яночка полено: «Кыш, чтоб вы сдохли! Собралась сволота!»—и разлетаются от его броска враспынную куры и перосята. Сам он идет в хату и ложится на горячую печь—там не так добывает весна со своими заботами-

Смотрят Громобой, как тоскует Яночка. Смотрит и как будто ничего не видит и не знает. Встретится, поздоровается, о погоде поговорит—морда добродушная такая.

Пускай истомится Яночка, легче тогда Громобою будет ввязать его своими загребистыми руками, не так трепыхаться будет.

Подошла наконец такая пора, что в самый раз с Яночкой разговор вести: день праздничный, пасха, и сев на носу. Послали девчонку:

— Тата и мама просили, чтобы вы с тетей к нам пришли.

— Ты же смотри, Яночка,—попросила Марыська, когда закрылась за девчонкой дверь,—может что о земле будет говорить, или о чем, так не ошибись. Смотри, как бы чего плохого не вышло.

— Хотя ты меня не учи!—огрызается Яночка, а самому страшно. Знает, что придется об этом говорить. Сам начнет, если что... Не поможет, так хоть посоветует что-нибудь—брат все-таки!

У Громобоя было, как говорится, и пареного и вареного, и кусками, а над всем красовалась бутылъ самогонки.

Глотнул Яночка рюмку, и глаза выпучил с неприщички, дух захватило, насили отдышался. Марыська даже перепугалась: ей со слепу показалось, что он совсем кончается.

— Ты, Яночка, все равно что маленький. Пусть бы ты хоть понемножку, так он разом опрокидывает,—упрекнула она.

Хотел Янка со зла ответить ей, да слова не мог выговорить. А тут Громобойха рот широкий в приветливую улыбку кривит:

— Ничего! Закуси возьми. Пройдет! Бери телятину, или окорока отведай.

— Ну как, дяденька? Крепкая удалась?—ржет Микола.—Это молодой мастер делал,—показывает он пальцем себе в грудь.

Яночку будто раскаленным железом прожгло насквозь. С середины тепло стало растекаться по жилам, стало обмякать тело. Слабый он на выпивку. В голове от первой рюмки легкий туман. И легко стало говорить о том, о чем раньше никак не мог начать.

— ... Кому же я пожалуйюсь больше, как не тебе? Нет же у меня на свете никого больше, ни родного, ни близкого. Обидел нас бог: здоровье у меня отнял, ей

глава затмил. И люди нас бросили. Хоть ты упали, никому никакого дела до тебя. Вот хоть бы налог этот.. Просил же несколько раз: «Яешна, ты же там в сельсовете,—замолви словечко,—может, что сбросят на нашу немощь». Обещал... Обещанье обещаньем, а между тем—налог отдай... Двое едоков всего считается, а того не знают, что только едоки, не работники. Просто скажу тебе, как брату родному: нет моей силы. Крепился, крепился, да не могу больше. Посоветуй, что делать, помоги...

— Сам я несколько раз говорил,—гудит Громобой.— Вот пусть она скажет,—кивает на жену:—«Жалко, говорю, Янку: бился, бился, да из сил выбился. Надо, говорю, помочь, никто чужой не поможет». Да не знаешь, что у человека на уме. Хочешь ему как наилучше сделать, а он подумает, что на его добро зарышься. А теперь, когда разговор зашел, я тебе хочу посоветовать как родному. Правду говоришь, что нет у тебя силы. Сам вижу. Так зачем тебе так мучиться? Сколько человеку надо?—лишь бы не голодный да не голый. А с работником у нас не беда. Сам я, слава богу, еще в силе; дети подрастают. Вот и Павлу уже восемнадцатый год—работник. Миколу в этом году оженим—еще работник прибавится. Не зубоскаль, Микола,—довольно тебе по вечеринкам до по свадьбам пляться, пора за ум взяться. А своей силы не хватит—люди помогут. Люди меня еще, слава богу, не чуждаются, хотя товарищам это и не по нраву. Лошадь твоя не плохая, даром что небольшая. С нашим в паре эту землю обработать им—пустяки стоит. А бороновать и кобылицу будем запрягать, пускай привыкает. Корова будет с нашими пастись, это не то все-таки, что в стаде. Налог—это уже моя забота, а работать—я тебя неволить не буду: сработаете что—хорошо, не сработаете—без тебя управимся. Так же и с Марысей. А жить: хочешь—ко мне переходи, не хочешь—живи в своей хате. Может, у меня тесно будет. Я же говорю, полный пансион даю тебе. А если я раньше тебя умру, то вот Микола останется. Если он не согласен с отцом, пускай теперь в глаза говорит.

— Не бойся, дядька, так заживем, только держись! Будешь себе на правах старика возле дома управляться, а мы молодые, будем работать,—подбодрил Микола.

Смекнула наконец Марыська, к чему оно клонится, и руки задрожали, и еда в рот не лезет.

— Как же оно теперь будет? Это же, как видно, и лошадь уж будет не моя, и коровка будет не моя?

— По-моему так, что там считаться—мое или твое. Свои люди—помиримся. Товарищи в коммуну хотят согнать, а мы возьмем да свою коммуну устроим—пусть кусят. А вы впрочем как себе хотите. Я вас не принуждаю. Хотел для вас же лучше сделать. Говорите, если что не так, стесняться тут нечего.

— Не слушай ты, что глупая баба плетет,—насилу ворочает языком Яночка.—Брат я тебе или нет?

— Брат.

— Ну, и ты мне брат! Свое дело—свой и совет! Что мы с тобой скажем, то и будет, никто тут не влезет!

— О чем же я и говорю! Не следует сюда чужих людей вмешивать. Не надо даже, чтобы кто знал об этом. У людей языки длинные: скажут, Яночка от земли отказался. В фонд землю заберут, а хлеба тебе фонд не даст. Хозяйство, как считалось твоим, так пусть и считается, а мы с тобой будем жить, как одна семья.

Не повинуются Яночке ноги, одна за другую цепляются, землю загибают, кренделя выписывают. Голова на вялой шее болтается. У Микола на руке повис Яночка:

— Говори... дядька я тебе или нет?

— А как же! Еще какой дядька!—пронизивает Микола.

— Нет... брешешь... отец я тебе—вот кто... Нет у меня сына... И дочери нет... Бог не дал мне... Кошка слепая не родила... Ты мой сын... Умру я... Умру я или нет?

— Поживешь еще, дядька! Умереть всегда успеешь.

— Брешешь... умру!.. Тебе останется... Конь тебе... Корова тебе... Хата тебе... гуменце тебе... земелька тебе... Сын же ты мой!.. Ты же меня и похоронишь... Хорошо похоронишь....

Перевел автор



Кузьма Чорный (Николай Карлович Романович) родился в 1900 году в крестьянской семье на Случчине. Детские годы провел при родителях в имении, где служил отец. Потом родители переехали на родину в местечко Тимковичи и начали обзаводиться своим хозяйством.

Среднее образование получил в учительской семинарии. В 1923 году поступил в Белорусский государственный университет, но университета не окончил. С 1924 по 1928 год работал в газете «Беларус-

екая вёска». С 1928 года занимается исключительно литературной работой. Состоял в литературной группе «Уавышша».

Кузьма Чорный—один из писателей, которые под влиянием успешного социалистического строительства исправляют ошибки, перестраиваются и помогают своим творчеством социалистическому переустройству общества.

Главнейшие книги:

«Зямля»—роман, 1928 г.,

«Лявон Бушмар»—повесть, 1930 г.,

«Вераснёвыя ночы»—1929 г.,

«Брыгадзіравы апавя данні»—1932 г.,

«Бацькаўшчына»—роман, 1932 г.

В переводе на русский язык:

«Сосны говорят»—рассказы, ГИЗ, 1930 г.

В переводе на украинский язык:

«Вересневі ночі», ЛІМ, 1931 г.

Пишет на белорусском языке.

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

РАССКАЗ

Осенью тысяча девятьсот пятнадцатого года солдат российской армии Петро Тодорович был легко ранен в ногу. Сначала Тодорович даже подумал, что ему просто ударило в ноги сухой землей, но потом, одумавшись, оглядевшись, увидел на левой ноге, под коленом, кровь. Раненой ноге было холодно, кровь скоро засохла, и разорванные штаны прилипли к ране. Начало светать, но Тодорович не прервал работы: как и все, он окапывался в бесконечной первой линии. Окапываться—значит спастись. Поэтому он изо всех сил налегал на лопату. Тодорович из строя не вышел—нельзя было. Он вышел из него через день, ночью.

Первая российская линия после атаки окапывалась на новой позиции. Германцы били из орудий, вероятно готовились к атаке.

В атаку они могли пойти ночью, теперь же было раннее утро. Вдруг германцам ответили российские орудия и уже не стихали весь день. Солдаты пролежали в земле дотемна, потом, не дожидаясь германцев, их потянули снова в атаку. Петро Тодорович вперед не двинулся, хотя и мог это сделать. Он лежал лицом на земле, в своей яме, ощущая всем существом близость смерти. Он слышал, как в темноте проползла через него вторая российская линия, а затем и третья; потом этот близкий шорох больше не беспокоил его.

Взошла луна, ложбины почернели; война слышалась уже где-то далеко, а здесь стало очень тихо. Раненый солдат мог теперь смело встать и идти. Он не знал, куда ему двинуться: пошел бы к санитарам, да рана очень легкая, несколько дней продержат и снова сунут на фронт. Догонять фронт—значит идти на смерть. Можно было бы где-нибудь провести день-два; дальше—солдат стал бы дезертиром. А за это жестоко накажут. И в эти минуты тяжелого раздумья солдат поковылял неровным полем, сам не зная куда; он шел вдоль опустевшей линии окопов. Местами они были разрушены орудийным огнем: земля по краям осыпалась, бесформенная чернота выбилась в этих провалах. Около одной из окопных руин солдат остановился: где-то далеко он услышал человеческие голоса. Он взгляделся и заметил в нескольких местах миганье электрических фонариков. Санитары подбирали раненых. Солдат присел на краю окопа. Идти к санитарам или нет? В эту минуту ему хотелось, чтобы рана его была большая, чтобы можно было долго пролежать вдали от войны, в госпитале, не думая ежеминутно о том, как бы спастись от смерти. Достаточно было ему одному побыть это короткое время здесь, в открытом поле, ночью, чтобы весь этот ад, ушедший куда-то вперед, снова встал перед ним со всем своим ужасом. Куда ушла война, солдат не знал и не хотел знать. Даже думать об этом страшился.

Он был слабым, измученным и безвольным. Как пригибался он вместе со всеми на первой линии, услышав свист немецкого орудийного «чемодана», так и теперь он как бы пригибался перед железной поступью событий: все происходит независимо от него, и ему остается только ждать—может и минет его это ужасное бедствие,—или же стараться быть подальше от всего и думать только о себе. Человек не враг себе! Этот солдат, что сидел теперь на краю окопа под звездным небом, если бы спросил себя, не мог бы ответить, где кончается у человека враждебное чувство к себе и где начинается приязнь; он мог сформулировать свое понимание мира так: мир велик, и в нем не счесть всевозможных событий и происшествий. Одни из них человеку враждебны, другие—нет. И каждый человек старается избежать враждебного, злого и жить хорошо. А человеческая деятельность? Человек старается делать себе добро-

и этого добра он добьется, достигнет, если ему повезет. Такой человек может стать, например, богатым, ему не придется бедствовать. Но чаще всего человека посещает горе. Потому большинство людей может расценить свою жизнь как бесперывную и беспросветную борьбу с несчастьями. А что такое война? Война также принадлежит к бесконечному железному ряду несчастий, которые время от времени переживает человечество, как переживает голод, напасть, смерть. И каждый человек спасается от них, как может. Так и он, Петро Тодорович, переживает теперь черную напасть. Если вся его жизнь была беспросветной, как мрак, в котором изредка светились звезды, то теперь не светится ни одна звезда. «Господи, спаси меня», — просил он всем своим существом. Мир окружал его богатством своих проявлений; стояли облитые лунным светом леса, принимала человеческое тело тихим и радостным холодом земля. Небо светлело, теплились звезды, на их месте загорались новые и все тлели и тлели. Время безудержно текло в бездну без конца и начала. «Этот мир и горюя перегорюешь, а тот и радуясь не минешь», — как грозный рок нависла над человеком рабская философия. Правда, ни про какой «тот мир» человек не думал, но этот мир терялся весь в безнадежности.

Где-то вдали кое-как пробивалась семья Тодоровича. Он думал о детях, когда забывал о несчастье — войне! Это случалось, когда он бывал в тылу или когда надолго устанавливалось затишье на фронте. В такие дни, как этот, человек выбивался из обычной колеи своей жизни на фронте и вставал как противоречие всему окружающему. Живое существо хотело жить!

Санитары с фонариками шли в эту сторону вдоль окопов. Они подошли совсем близко; они казались солдату как бы врагами: они вернут его в тот страшный мир, из которого он недавно вышел. Не задумываясь, солдат сполз в окоп, и санитары прошли мимо. Послышались их голоса, медленно и тихо проскрипели колеса, фыркнули кони, и снова стало тихо вокруг. Солдат в отчаянии снова заметил над собой безнадежные звезды и холодное небо. Он отчетливо слышал, как недалеко что-то глухо терлось как о жесткую землю, что-то поскрипывало; потом ему стало казаться, что кто-то старается выговорить слово,

но произносит только полслова, и все прерывистым шопотом, хворым и неживым. Солдат много раз слышал такой человеческий шопот и много раз видал, как умирали люди с таким шопотом и хрипом. И он сразу догадался, что где-то здесь, недалеко, лежит смертельно раненый.

Петро Тодорович в эти минуты, как и всегда, был далек от того, чтобы напрягать до отчаянья нервы и забывать о том, что над ним висит смерть. С такою мыслью можно свыкнуться, но все равно человек обыкновенный не переступит межи, за которой бы он стал безразлично относиться к своей жизни. Поэтому Петро Тодорович легко привык к смерти сотен и тысяч людей вокруг. Предемертные хрипы неизвестного солдата в окопе его несколько не удивили. Он только глубже подался в окоп, прислонился плечами к покатой, разрушенной снарядами оконной стене и несколько минут молчал. Человечий неясный, может даже несознательный шопот доносился издали. Вдруг Тодорович начал различать слова в этом шопоте, он отчетливо слышал: — «Кто там? Кто там? Сюда! Сюда!»

Петро Тодорович, недолго думая, подался в темень окопа. Ему показалось странным, что шопот раздавался не так уже близко, как раньше. Тодоровичу пришлось пройти окопом не менее двадцати пяти шагов. Подойдя ближе, он услышал, что неизвестный шепчет осмысленно и внятно; можно было хорошо разбирать слова; раньше они скрадывались расстоянием:

— Кто это? Кто?—спрашивал шопотом неизвестный.

— Солдат,—ответил Петро Тодорович и, подумав, на всякий случай добавил:—раненый в ногу.

— Помогите мне,—сказал неизвестный.—Я полковник и ранен в живот.

Во-первых, это был полковник. Во-вторых, он так просил, умолял. Значит, все перепуталось, никаких прежних различий. И неожиданная неясная мысль мелькнула в голове рядового солдата, раба, легко раненого в ногу, Петра Тодоровича. Без всякого чиновничества, просто, и вместе с тем лелея в голове заветные мысли, становившиеся все более ясными, он начал говорить с полковником:

— Что же мне делать, как помочь?

— Вынеси меня из окопа, если можешь. Эти окопы навсегда останутся пустыми, никто сюда не заглянет, и

мне придется здесь умереть. Наверху же меня могут заметить. Если можешь, отнеси меня к санитарам. Или же заметь место и сообщи, что здесь лежит раненый полковник. Ты ходить можешь?

— Могу, я не тяжело ранен.

Полковник несколько минут молчал, стонал и отдыхал от своего недолгого разговора. Когда шевелился, — новые ремни поскрипывали на его плечах. «Я тебе обещаю, захрипел он снова, белый билет».

— Значит, я никогда больше на войну не попаду?

— Никогда... Кроме того; я дам тебе земли, выделю из своего имения...

— Значит, вы можете выхлопотать белый билет?

— Это не составляет для меня никакого труда. Наконец, я могу дать тебе столько денег, что ты сам можешь купить себе белый билет. Бери и неси... Не бойся! Ты останешься, если боишься, при-мне. Ты мой денщик, и больше ничего.

Солдат решительно пошел в темный окоп, оцупал полковника. Это был грузный человек.

«Деликатно бери, потихоньку», — застонал он, когда солдат, кряхтя и все же чувствуя и свою рану, взвалил его на плечи. Ремни скрепели на плечах полковника.

Труднее всего было вынести наверх. Пришлось спустить его на землю, вять подмышки и так тащить, плечами по земле, головой вверх. Потом и солдат и полковник лежали минут десять около окопа и старались отдышаться. Наконец солдат вгляделся, заметил вдалеке мигающие электрических фонариков, снова взвалил на плечи полковника и двинулся в путь. Шел он медленно, не то неровным полем, не то кочковатым болотом. Ноги его вязли. Черные неподвижные очертания ночи вырисовывались вокруг. Далеко молчал фронт. Звезды все также светились на холодном небе.

2

Солдат Петро Тодорович получил белый билет. Он сходил с ума от радости, оцупывая в своем кармане эту бумажку. Все это произошло так быстро, что он и сам не ожидал.

о Полковник с помощью своего «денщика», спустя очень короткое время, был уже в госпитале, в прифронтовом городе.

К полковнику скоро приехали родные: сестра, жена и какой-то молодой человек. Паны! Они приехали из имения. Имение полковника находилось в полосе войны, но от фронта далеко. Это была та самая полоса, где находилась и родина солдата Петра Тодоровича. Полковник подписал лишь короткое, написанное молодым человеком, письмо к знакомому начальнику мобилизационных комиссий. Самого письма Петро Тодорович не читал, он знал, что там насчет белого билета. Он ходил с этим письмом к адресату и через несколько дней получил чудесную бумажку. Он теперь навсегда распрощался с войной. Больше того. Полковник только короткое время пролежит в госпитале. Потом, когда немного поправится, уедет домой. Разве пан станет лечиться в госпитале, если у него имение, слуги, деньги, всего вдоволь? Недели примерно через две полковник будет уже дома, тогда Петро Тодорович явится к нему за обещанной наградой.

И он явился. Он получил обещанное полковником. Но перед тем столько минут великой, никогда прежде не испытанной радости пережил солдат Петро Тодорович!

Это было, когда он вернулся домой. Рана его позволила ему пуститься в путь немедленно. Он ехал, шел. Все теперь казалось ему легким делом. Война—дело не его. Пусть кто хочет и за что хочет воюет. Пусть светят звезды над холодным и страшным полем, и на нем под огненный гром и свист умирают и стонут миллионы людей! Что теперь до войны и до всех этих людей счастливому человеку, Петру Тодоровичу! У него есть свой уютный угол, от войны он отделался, и больше ничего. Никого он трогать не будет, и его никто не тронет. Война—бедствие, и бедствие всеобщее, но ему посчастливилось от нее спастись. Голодное существование дома? Теперь он будет хорошо жить, полковник его отблагодарит за спасенье. Навсегда, значит, Петро Тодорович выбыл из рядов воюющих. Он сам себе будет паном! Какой он счастливый теперь!

Был теплый вечер, когда Петро Тодорович вернулся домой. Слегка прихрамывая на левую ногу, подошел он к хате, взволнованный и возбужденный. Он чувствовал да-

же, как пахнет трухлявый забор под красной рябиной. Солнце светило в слепые окна хаты. Под навесом, напротив окон, виднелся хворост; его было немного, но он лежал аккуратно, сложенный заботливыми руками. Посреди двора валялось гнилое разбитое корыто, несказанно обрадовавшее солдата.

— Папаня пришел!—закричали дети.

Минут пять длилась радостная встреча. Потом Тодорович сразу пошел осматривать свои углы, закуты на дворе. Семья не отставала от него ни на шаг.

В тот же день Петро Тодорович взялся за работу. Он сгребал какую-то солому на току, скошил траву у огородной изгороди, молотил свой нищенский урожай—пудов десять ржи на год намолотил! Потом пошел в имение полковника. Оно находилось не очень далеко. Там он, сняв шапку, сидел на кухне. Его угостили остатками от обеда панских слуг. Наконец проводили к полковнику. Тот лежал на веранде, рядом с ним доктор просматривал газеты.

Доктор, как видно, знал эту историю: он сейчас же спустился в сад.

— А, это ты,—сказал полковник.

— Как ваше здоровье, ваше...

Денщик твердо и отчетливо назвал полковничий чин.

О своем здоровьи полковник однако ничего не сказал солдату. Некоторое время он глядел куда-то вдаль, казалось—он вдруг забыл про солдата. Солдат глазом не моргнул, стоял и терпеливо ждал.

— А, это ты,—снова сказал полковник.—Чего же ты хочешь? Земли хочешь, или... или может предоставить тебе хорошую службу у меня на фабрике? Моя фабрика не здесь, а в городе, верст двести отсюда. А земля здесь, в имении.

— Как ваша воля.

— Ну, так выбирай, что хочешь. Долго не думай. На фабрику хочешь?

— Очень далеко, паночек. Да и никогда я не жил в городе.

— Значит, земли?

— Земля пана здесь?

— Здесь. Где же ты хотел бы получить?

— Также далеко от дома. Маетня большая, да и карман не выдержит.

— Так я должен тебе угрождать? Ну, говори!

Солдат ничего не сказал.

— Будешь жить там—упустишь землю. Так ты не хочешь земли?

— Хочу, паночек, хочу!

Полковник сердито и устало откинулся на подушку и закрыл глаза.

Однако солдат молчал. Он не ожидал, что так обернется дело, он предполагал, что полковник отблагодарит независимо от чего бы то ни было. Он не посоветовался ни с женой, ни с соседями.

Конечно, о том, как понал ему в руки белый билет, соседям говорить нельзя было. Но одному-двум из них или родственникам можно было обо всем рассказать и воспользоваться их советами.

Полковник, стояя, приподнял голову и нажал пальцем какую-то кнопку. Вбежал лакей.

— Пусть мой управляющий,—сказал полковник,—выделит этому человеку из имения пять десятин земли. Бесплатно. В вечную собственность.

Солдат поблагодарил и следом за лакеем пошел к управляющему.

Дня два еще Петро Тодорович терся в панском имении: все ждал оформленной бумажки на землю.

На третий день, поздним вечером, Петро Тодорович вернулся домой. Целый день он ехал с солдатским обозом. Немного странным казалось ему, что в этой местности вдруг появился солдатский обоз, но излишних разговоров с солдатами он избегал. В шести километрах от дома он слез с повозки и пошел пешком. Теперь это был совсем уже иной человек, чем тот, что недавно плутал под холодными звездами около окопов в пустом поле. Теперь он думал не о себе, а о земле и хозяйстве. Озабоченным возвращался домой. Но слезши с повозки и пройдя немного пешком, он услышал нечто такое, что сразу напомнило ему те дни, когда он думал только о том, как бы спасти свою жизнь. Сначала он не поверил, стоял и прислушивался, но потом волосы на его голове зашевелились.

Вечер давно уже окутал землю. Было тихо, так тихо,

что Тодорович слышал, как падали листья с полевых груш на дорогу. Взошла осенняя луна и облила спокойным светом поля, отчего еще тише казалось вокруг. Где-то далеко лаяла собака, пискнула полевая мышь. И вдруг... Но сначала Тодорович не поверил. Не может быть! Война была далеко, он навсегда избавился от нее. Пусть кто хочет воюет, пусть гонят людей на смерть—что ему, Петру Тодоровичу! Ему посчастливилось, и он отгородился ото всех! Но вдруг он схватился за голову: он отчетливо слышал артиллерийскую канонаду. Звуки эти он знал хорошо. Теперь ему стало ясно, почему в этой местности появилась обоз. Как неживой, дошел Петро Тодорович домой. На дворе он постоял, послушал. Канонада усиливалась. По звукам можно было предположить, что она далеко, но никогда прежде здесь он не слышал ее. Дома все спали. Со двора он пошел на ток. Там он тревожно продремал всю ночь на соломе. Утром было тихо, но с полдня с новой силой, еще громче, чем ночью, раздавалась канонада. Значит, война подвигалась сюда. Она догоняла Петра Тодоровича, не давала ему покоя. Она гналась за ним по свежим следам, и ничего иного он сделать не мог.

Прошло еще дня два-три. За это короткое время местность изменилась до неузнаваемости: снова потянулись дорогами подводы беженцев, уже местных жителей. Через несколько дней упорного орудийного грома войска заняли окрестности.

Петро Тодорович натянул на свою повозку с поломанными лесенками верх из старых спитых мешков. В те дни он выехал из дому, вадыхая, горя, полный мучительной жажды жить, чувствуя над собой смертельную опасность. В кармане у него лежала зашитая крепкими нитками бумажка на пять десятин земли. Война гналась следом за ним. Ему пришлось смешаться с тысячами беженских подвод на осенней дороге. Как он ни старался спастись от всеобщего бедствия, оно все равно постигло его.

3

Через год, а может и два на вокзале можно было встретить человека, всегда державшегося там, где было тесно, мрачно и грязно. Казалось, этот человек ничего лучшего

не знал, не видел—так спокойно и понуро лежался он вечером спать где-нибудь у стены, на заплыванном цементном полу, или, когда позволяла погода, на помятой пыльной траве. Все свое имущество он подстилал под себя и подкладывал под голову.

Люди замечали, как изо дня в день стоял он с протянутой рукой в шумных проходах. Изредка находил работу и работал очень усердно.

Он любил работать! Но сколько зарабатывал—неизвестно. Лицо у него было темное, землистое. При нем был мальчик. Когда отец корпел на работе или стоял с протянутой рукой, мальчик куда-то уходил. К отцу возвращался вечером. Спать они ложились вместе, накрываясь одной солдатской шинелью. Рано утром отец поднимался: он беспокоился о будущем и не мог прогулять ни минуты. Каждая минута должна была что-нибудь дать в сокровищницу будущего.

Этот человек был несчастный, но он не задумывался над этим,—так упорно не замечал он настоящего, неустанно заботясь о будущем. Он как будто не замечал и себя и всего окружающего: все это когда-нибудь кончится, ничто не вечно. И не только себя не замечал человек. Казалось, не замечал он и сына. Сын жил своими интересами и, кажется, также мало интересовался отцом. Горе сближает людей—это верно. Но тут человеком овладела идея. И все было принесено ей в жертву. Эта идея заключалась в том, что нужно пережить, перегоревать эти дни и подготовить то, за что можно будет ухватиться, когда настанут лучшие времена. Однажды между отцом и сыном произошло следующее. Сын (ему было лет двенадцать) больше недели не показывался к отцу. Отец начал беспокоиться—куда девался паренек. Сын пришел в полдень и нашел отца на железнодорожном полотне за вокзалом. Отец дробил молотом камни.

— Снова работу нашел?—сказал паренек.

— Нашел,—ответил отец.

— Я хочу тебе сказать...—заговорил паренек.

— погоди,—перебил его отец,—скоро перерыв на обед, тогда и скажешь. На работе говорить неудобно. Десятник будет недоволен.

Паренек послушно отошел в сторону и просидел с пол-

часа на откосе. Отец заметил, что за это время сын выкурил четыре папиросы.

— Вот что,—сказал паренек, когда отец начал обедать,—я хочу тебе сказать, что завтра совсем уеду отсюда.

— Куда?!—встревожился отец.—Хочешь есть? Вот хлеб.

— Не хочу, я обедал,—ответил сын.—Я давно уже занят на саперной работе. Каждая воинская часть держит одного-двух таких рабочих, как я. Рота уезжает отсюда, и я с ней.

— Может ее посылают на фронт?—не на шутку встревожился отец.

— Это военная тайна. Даже солдаты не знают до последней минуты... Я не буду больше таким оборванцем, как теперь. Солдат перешивает для меня старую шинель. Обещают дать гимнастерку и сапоги. Шапку уже дали.

Отец посмотрел на сына и увидел на его голове новую солдатскую шапку с кокардой.

— Погоны у меня тоже будут,—похвалился паренек.

— Как же ты уедешь от меня? Подумай, солдат гоняют с места на место, ты можешь совсем потерять меня из виду. Может быть, мы никогда и не встретимся больше.

— Встретимся! Я тебе буду писать, а ты мне будешь отвечать. Там я по крайней мере не голодаю. Солдатской каши и борща дают вдоволь.

— Хорошо, сынок, хорошо, что добрые люди кормят тебя. Только боюсь я тебя отпустить.

— Что я здесь буду делать? Там я, может, выбьюсь в люди.

— Ты у меня один из всей семьи остался (глаза отца покраснели от слез). Мать свою мы похоронили в дороге, когда убегали от войны. Отъехав верст сто еще, похоронили в один день твоих младших сестру и брата (он расплакался). А через три дня пал конь, пришлось все бросить в дороге. Война догоняла нас. Нужно было спастись.

— Отпусти меня.

— Теперь как мы живем? Только бы день прожить, прогоревать. И нужно, чтобы осталось у нас что-нибудь на то время, когда кончится война и все упрямится, когда можно будет вернуться домой и начать жить по-человечески. Я тебе скажу, сынок, ты еще мал был и ничего

не помнишь: мы с матерью и с вами, детьми, не жили, а гнили. Мы имели маленький клочок земли, на нем было можно только огород разбить. У нас не было ни хлеба, ни одежды.

— Как у меня теперь.

— Можно сказать, многим лучше... Потом меня взяли на войну. Несчастье постигло людей: одним воевать, а другим, бросив все свое имущество, убегать от войны в чужие края. Мне посчастливилось на фронте. Я подобрал в окопе раненого полковника и отнес его к санитарам. Если бы не я, он бы умер там. Полковник был богатый. У него были имения и фабрики. Так он меня отблагодарил за это: дал мне пять десятин земли. Вот бумага на эту землю. (Он достал из-за пазухи бумагу, поглядел на нее и быстро спрятал.) Теперь я каждой копейкой дорожу. Голодным посижу, а денег скоплю; нет работы — протяну руку и буду просить у людей, только бы каждый день хоть сколько-нибудь прибавить денег. После войны можно будет спокойно вернуться домой. Там у нас пять десятин земли, своей, собственной (бумага за пазухой). Придется сызнова обзаводиться хозяйством. Для начала нужны деньги.

— Так будем переписываться. Не навсегда же мы расстаемся.

— Теперь осень. Я выхлопотал себе в комитете на зиму место в бараке. И тебе... Даже сегодня ночевал там. Хорошо. Дождь не льет и ветер не дует. Барак каменный, раньше там магазины были. Хоть народу и много там, но перезимовать будет можно. К зиме печи поставят. А весной не может быть, чтоб не окончилась война. Она всем надоела...

— Так завтра утром я прощусь с тобой. Ты завтра работаешь? Где тебя искать?

— Завтра воскресенье. Не работаю.

— Приходи утром на вокзал. Завтра наша часть уезжает.

Паренек сказал это степенно и важно и побежал. Потом пошел. Два раза оглянулся на отца. Отец дробил уже камни.

На другой день он увидел сына на вокзале. Этот небольшой паренек имел такой вид, будто, не будь его среди сол-

дат на вокзале, в один миг разрушился бы мир. Паренек был в миниатюре солдатом российской армии: шинель, сапоги (правда, в один сапог он мог бы сразу влезть обеими ногами), суконные погоны, кокарда на шапке, широкий пояс поверх шинели. Паренек смотрел с гордым, презрительным видом, стоял навытяжку, держа руки по швам...

— Здорово!—сказал он отцу.

— Не забывай меня, сынок. Ты еще совсем ребенок...

Солдаты двинулись на перрон, паренек с ними. Он даже нес за плечами что-то вроде солдатского ранца. Отец еле успел с ним проститься. На перрон его не пустили. Грустный уходил он с вокзала.

Что-то тяжелое, мучительное ворочалось в груди. Он чувствовал себя одиноким, покинутым. Он слышал, как приходили и уходили поезда, как тащили орудия по улицам; забитые, оглушенные солдаты возились у этих орудий, что-то друг другу приказывали, злились, ругались, молчали... Осеннее солнце светило над городом. На улицах было много народу. Звонили в церкви. Звон был густой, не такой, как там, откуда пришлось убежать от войны. Теперь Петро Тодорович чувствовал себя еще более одиноким, чем тогда на войне, в окопах. Он до вечера бродил по городу, заходил в церковь, стоял под гипнозом обедни, вернулся в барак, лег на свое место и молчал.

Везде давала о себе знать война: солдаты, беженцы. Горе и смерть не только там, на фронте, но и здесь, в темных углах, в тряпье, в грязи, во вшах. Больше он ни о чем не думал. Не видел ни начала, ни конца несчастьям: войне, голоду, смерти. Ничего не понимал на свете.

На другой день Петро Тодорович снова пошел на работу, стал еще угрюмее и еще с большим упрямством ощупывал за пазухой бумажку на пять десятин земли и деньги в поясе брюк.

От сына он никаких вестей не получал. Может, тот и писал отцу, но Петро долго не был в бараке. В дождливый осенний день он промок и простудился на работе. На другой день на работу не вышел, на третий лежал в жару. Ему повезло: через день его увезли из барака в больницу. Там он пролежал почти всю зиму, до самой весны. Когда произошла революция, он ходил уже по палате, подолгу простаивал у окна, глядел на залитые

солнцем тротуары и стены. Теперь он казался веселым. Причиной тому была революция. Он словно не понимал ее, словно не чувствовал, но твердо знал, что революция— за него, за таких, как он. Когда его положили в больницу, он старательно извлек из пояса деньги и вместе с хранившейся за пазухой бумажкой завязал в платок и положил под подушку. Хотя он и был в жару, на это у него нашлись еще силы и память. Он бредил об этих деньгах, о пяти десятинах земли, о доме, о хозяйстве. Больше ни о чем не думал. Революция была для него неожиданной. Как ее понимать? Революция—это дополнение к зашитым в поясе деньгам, к бумажке на пять десятин земли. Царь воевал—его прогнали. Буржуазия была богата, она могла даже здоровому солдату добыть белый билет. Она все может! А бедняк, простой человек горевал. Так революция даст по шапке и буржуазии. Революция за бедняков. И Петро Тодорович каждый день ошупывал под подушкой узелок в грязном носовом платке. Там были бумажные деньги, но большую часть их он обменял на золотые монеты. Как и где доставал он эти монеты—он не помнил.

Когда Тодорович вышел из больницы, город кипел первыми месяцами революции. Тодорович охотно и с интересом ходил на митинги, видел и радовался, что война подходит к концу. Скоро очистятся от войны его родные места, где ему принадлежат пять десятин земли. Как тогда не жить человеку! В такие минуты, думая о своей погибшей земле, Тодорович готов был заплакать. Он остался один! Единственный его сын пропал без вести. Перед его глазами предстали те минуты, когда умирали на дороге его дети, жена. Как же ему не приветствовать революцию? Она против войны, против буржуазии, начавшей войну! (Об этом он наслушался на митингах.) Скоро поедет домой.

Он не знал, что в барак пришло за зиму несколько писем от сына. В бараке думали, что он умер, да и не знали, в какой он больнице. Наконец, кто мог взять на себя такую заботу? И письма исчезали, терялись. Выйдя из больницы, Тодорович наведался в барак, но ничего не узнал. Теперь он жил в другом конце города.

Во время войны с белополяками тот каменный барак

был разрушен до основания. Все дома около вокзала были сожжены и взорваны. Петра Тодоровича здесь уже не было.

С тех пор, как узнавал он в бараке о сыне и письмах от него, никто больше не встречал его здесь.

Однажды осенью, когда кончилась война, в этих местах бродил молодой красноармеец и присматривался к домам, каким-то образом уцелевшим от всех этих бедствий. Он ничего не узнал, даже вокзал стоял, как скелет: без окон, без крыши. Поезда ходили, но останавливались немного дальше, — около построенного наспех дощатого навеса. Под этим навесом молодой красноармеец и поджидал однажды вечером поезда. Он был не один. Он находился в компании трех красноармейцев постарше. Закатывалось солнце, было сухо, ясно. Недалеко гудел город. Были видны молчаливые трубы остановленных заводов, разрушенные войной кирпичные стены. Свежие следы войны еще не сгладились от времени и человеческой работы. На бугристом поле, за городом, иногда можно было видеть крестьянина за плугом. Проходили люди тропинками в поле и в город...

Красноармейцы разговаривали.

— Я ходил, ходил, — сказал самый молодой из них, — и напрасно.

— Я тебе говорил, — ответил другой, — столько времени прошло, и так постаралась война здесь! Ты или до смешного упрямый или наивный, как ребенок.

— Ты ничего не понимаешь: если бы что-нибудь подобное случилось с тобой, тогда бы ты понял.

— Я и так понимаю.

— Нет, не понимаешь. Ты можешь представить, что я, например, совсем забыл своего отца, даже никогда не вспоминаю его. А он обо мне думает...

— Нет, я говорю не про это, а про то, что ты все равно не мог его таким образом разыскать и об этом заранее знал, но все же целый день пробродил по пепелищам.

— Я расспрашивал, заходил в те семьи, к тем, которые знали его... Но не это важно для меня. Я и сам знаю, что не найду его здесь, но...

— Но сам себе доказал: искал его, теперь твоя совесть чиста перед ним?

— Пусть так. Дело, видишь ли, вот в чем. Ты, конеч-

но, не забыл еще, когда мы занимали ту местность, где было много партизан. Там нам пришлось бы очень тяжело, если бы не помогли партизаны. Через эту местность проходит широкая дорога. Помнишь? Мы с тобой лежали почти у самой дороги, на росистой траве в тусклом лунном свете. Там, у дороги, была куча камней. Я тебе показывал ее, ты подумал, что я заметил там какое-то движение, и начал присматриваться...

— Помню. Ты мне тогда говорил, что там, у камней, похоронены твои младшие брат и сестра.

— Для тебя это только факт! И это вполне понятно. Но для меня это больше чем факт. Я тогда был мальчишкой, но самым старшим из детей отца. Я помню все. И это «все» ты должен понять. Человек хоронил детей, в один день двоих. За несколько дней до этого он похоронил свою жену. И вот, засыпав детей землей, насобирав мелких камней и выложив из них крест на могиле, как это делали его деды и прадеды, он взглянул на меня, на единственного ребенка, оставшегося в живых из всей семьи. Дело не в том, плакал он или нет, убивался ли, упав лицом на могилу. Дело в том, что он был беспомощен, как ребенок, не понимал, что делается с ним и с людьми. Я никогда не забуду, как он сказал, взглянув на меня: «человека со всех сторон окружают несчастья, и кто от них спасется, тот счастливый. Нужно сочувствовать людскому горю. Хорошо было бы, если бы нас, сынок, кто-нибудь пожалел». В тот день мы до самого вечера просидели с отцом возле этой могилы. Я, ребенок, навсегда запомнил ту местность: деревня, небольшой городок неподалеку, небольшой сосняк на каменистом пригорке и в стороне имение. Я тебе показывал это имение. Эти места я сразу узнал, как только пришла наша часть туда и соединилась с партизанами. Но я уклонился в сторону от рассказа. Так вот на закате, вечером, мы с отцом двинулись дальше. Война гналась по пятам за нами. Мы спасались от нее на своей дохлой лошаденке. Помню, я сидел, закутавшись в лохмотья. Мне все, помню, хотелось дожидаться удобной минуты и спросить отца, когда мы возьмем своих близких, похороненных у дороги, но я боялся спросить. Я знал, что отец еще больше опечалится. Думал я так тогда потому, что мать, умирая на возу, сказала мне: «не плачь,

сын. Я не надолго покидаю вас, скоро мы снова будем все вместе». Вот и все, чем могла она в эту страшную минуту утешить меня. Ад это или нет, если целые поколения людей живут и так представляют себе мир? Только мы присоединились к бесконечной цепи беженских подводов, как на тракт выехали два автомобиля. Отец мой тогда говорил мне: «Что же, кто богатый, тому и горя мало. У того никто не умрет в дороге. И сам чорт не возьмет того! Тому в рот текут медовые реки. Война тому не страшна!» В эту минуту, еще не кончив говорить, отец вдруг смолк, сорвал с головы шапку, слегка приподнялся и раболепно поклонился. Мимо нас проезжали два автомобиля. Кажется, человек в переднем автомобиле узнал моего отца, потому что (я это хорошо заметил) кивнул головой на его приветствие. Но не остановился. Автомобили промелькнули мимо. Потом отец шел с соседом-беженцем сбоку дороги и рассказывал, что этого пана он недавно спас на войне. Этот пан был на фронте полковником, а теперь, должно быть, убегал от войны. Но почему он бросил имя?

«Это имя принадлежит также ему, — ответил сосед. — Я знаю. Все имена вдоль этой дороги его».

«Так, значит, все его имена захватит война!»

«Чорт его не возьмет. Он имеет фабрики в городах, и банки в его власти».

«Верно, чорт его не возьмет».

— Я не могу не искать отца. Я должен его найти. Вот мы кончили войну. Я чувствую себя так, как разоренный хозяин. Он знает, почему и как разорено его хозяйство, как его восстановить и с чего начинать. И теперь об отце я думаю так, как, наверно, он думал обо мне, когда я, ребенок, один остался у него на возу. Об этом можно сказать больше. Спокойно веками говорили: «родина—мать, в семье—мать, церковь—мать». Традиция предков. Если посмотреть на все это с точки зрения, что каждое новое поколение стоит выше предыдущего, то это—шаг не вперед, а назад. Я ищу отца и думаю о нем так, как может думать об отце ребенок.

— Быть может, твой отец опередил тебя. Страна прошла через войну и революцию. Не в облаках же витал он...

Они кончили разговор уже в поезде.

Петро Тодорович навсегда запомнил пасмурный день поздней весны, когда он вернулся домой. Хату он не нашел, с трудом узнал он то место, где она когда-то стояла. Камень остался на месте, прежде со стороны улицы подпирал он угол хаты. Тодорович то отчаивался, думая о своем единственном сыне, где-то «скитающемся по свету», о семье, погибшей на чужих дорогах, о своем одиночестве, то радовался и жаждал работы и деятельности, ощупывая в кармане деньги и бумажку на пять десятин земли. Теперь нужно все начинать сначала.

Первый день прошел в осмотрах. Смеркалось. Тодорович посидел, встал и вышел на дорогу. Потом вернулся, выбрал место, лег, подремал, поднялся до восхода солнца и навсегда покинул родные места. Он пошел туда, где находились его пять десятин земли. Имение было полуразрушено, но пан уже начал приводить его в порядок. Тодорович предъявил полковничью бумажку и землю получил. Но самого полковника в имении не застал. Несколько дней тому назад полковник уехал командовать полком легионеров. Начиналась советско-польская война.

На своей земле Петро Тодорович скоро сделал себе землянку. И когда устроился в ней на ночлег, почувствовал, что годы прошли, семья погибла, никого у него нет, что все равно он не спасся ни от войны, ни от других несчастий. Несчастья также нависали над ним, как и над всеми людьми. Ему как будто не интересно стало заниматься этими пятью десятинами земли. Зачем они ему? Но он не мог сидеть сложа руки, да и нужно было жить. И он копался на своих пяти десятинах. Он пустил в ход дорогой металл, — свою кровь, свои мозоли, — и поставил хату; в первый год засеял половину поля, приобрел лошаденку. Он цеплялся за землю, за традицию трудолюбивого простого человека, за жизнь; обзавелся другой женой — женщиной доброй и работающей. Жить стало легче, появилась перспектива новой семьи. Тодорович ожил; забыл о своих прежних тревогах, снова старался не думать о войне. Пусть воюют! На всякий случай он еще хранил в кармане белый билет, но однажды он снова услышал орудийный гул. А через несколько дней выехала из имения панская семья. И

только. Больше никто не трогался с места, разве только видные панские слуги. Петро Тодорович все еще думал, что война сюда не придет. Но однажды утром легионеры погнали его в обоз. Он начал отказываться, но начальник легионеров, — чина его Тодорович не знал, — стеганул его по спине нагайкой. Беременная жена бросилась спасать мужа, но тот же самый начальник избил ее так, что она еле доползла до постели. Так Тодорович и покинул ее совсем больную без присмотра. Он повез какое-то военное имущество. Его мучила мысль о больной, беременной жене, о ее одиночестве, мучило то, что снова не миновала его война; несчастье, постигшее всех, не обошло и его. Однажды ночью он пробовал убежать. Все спали. Он тихо вывел из оглобеля коня, отвел его немного в сторону, сел верхом и поехал. Его заметили, вернули и избили до полусмерти. Стиснув зубы, он пробовал защищаться: он толкнул кулаком офицера в грудь. После этого дальше он ехать не мог. Коня с повозкой угнали. Тодорович дня три пролежал в кустах у дороги, а затем плутал по всей местности, не имея возможности пробраться через фронт туда, где была его хата и где теперь стояли большевики. Попал он домой долго спустя, когда легионеры снова заняли ту местность. Дома он застал совсем больную жену: избитая начальником легионеров, она родила мертвого ребенка и с тех пор еле ходила. На третий день после возвращения Тодоровича домой хату его окружили легионеры. Тодоровича обвиняли в том, что у него находили убежище партизаны: хата стояла неподалеку от имения, около леса; из нее стреляли по имению, когда направлялся в деревню карательный отряд польской армии.

— Меня тогда не было дома, — оправдывался Петро Тодорович.

— Значит, ты также был с ними!

Его арестовали и погнали неизвестно куда.

5

Зимой тысяча девятьсот тридцать второго года старый, но еще крепкий с виду человек ходил по имениям и просился в батраки. Это было в южной части Западной Белоруссии. Человек бродил долго, наконец ему посча-

стливилось: он поступил в батраки и поселился в общей батрацкой официи—семьи у него не было.

— Где же твоя семья!—спрашивали его батраки.

— Э!—ответил он.—Нет у меня семьи. За войну все погибло. Я от войны убежал, по России шатался...

Он был таким же батраком, как и все. Так же работал, так же боялся потерять работу: обедневшие крестьяне не брезгают никакой работой, только бы не помереть с голоду. Но работы нигде нет, и батракам уменьшают и без того мизерный заработок. У кого семья, тому хоть ложись да помирай.

— Зачем же ты вернулся сюда? Батрачить?

Человек не рассказывал о своих пяти десятинах. Он отвечал так:

— Здесь также люди нужны.

— Зачем они здесь, и так нечего делать,—однажды не то пошутил, не то сказал серьезно кто-то из батраков.

Батрак заговорил:

— Работы сколько хочешь. Только работай.

— Разве имения жечь? (Как будто шутит, но совсем не смешно.)

— Поджечь? За это будут таскать по острогам.

— А если бы не таскали?

— Тогда и жечь не нужно было бы.

Так они незаметно договорились до того, что нужно жечь имения.

— Зачем же все-таки ты вернулся сюда? Если вернулся, значит имеешь хозяйство? Где же оно? Почему ты батрачишь?

Только хорошо сжившись со всеми батраками и узнав их, он рассказал о себе.

— В обозе меня били еще раз, жена родила мертвого ребенка и умерла от горя. Я думаю, что хата моя недолго простояла на тех пяти десятинах. Когда я через три года вернулся, те пять десятин отошли к колонисту. Я стал нищим и пошел искать работу. Немного поработал в городе, потом попал сюда. У меня ничего теперь нет.

— Если б знал, что так доведется тебе, ты бы не спасал на войне полковника?

— Но может ты, братец,—сказал другой,—как-нибудь зашел бы к тому полковнику? Ты же, говоря серьезно,

оказал ему незабываемую услугу. Пусть бы он теперь отплатил тебе. Благодаря тебе он остался жив и панует, ты же его спас и бедствуешь. Чорт его не возьмет, если теперь даст тебе возможность жить. Он тебя должен вспоминать, добейся к нему. Живет, как в раю. Магнат! Именья, фабрики!

— Может он и окажет мне помощь, но что с того? Я не буду, скажем, горевать, но тебе-то от этого лучше не станет. Миллионы людей горюют. Так или нет?.. Вы знаете, что вырабатывают моего полковника фабрики? (Он теперь, наверно, в больших чинах.) На его фабриках вырабатывают военные материалы. Чего он хочет? Войны. Кому война—смерть и горе, а ему—заработок. Подумайте сами...

Батрак недолго пробыл в имении. Скоро он снова ходил по имениям и деревням в поисках работы. Потом на некоторое время перебрался в город—он и там все искал работы.

Однажды загорелось панское имение. Через три дня сгорело другое. В те же дни крестьяне изгнали податного чиновника. Карательный отряд сразу примчался в деревню. Он орудовал несколько дней и уехал, обобрав крестьян до нитки. Когда отряд исчез, туда незаметно явился тот самый батрак.—«Работы в городе я не нашел,—сказал он,—попробую снова устроиться здесь».

Через несколько дней сгорело еще одно панское имение.

В конце зимы в городе, на химической фабрике бастовали рабочие. К химикам присоединились рабочие всех заводов и фабрик. Многотысячная демонстрация остановилась на площади. Начался митинг. Потом, когда явились войска и полиция, вышел большой военный начальник. Он что-то хотел сказать.

— Я обращаюсь к вам от имени хозяев тех предприятий, на которых вы устраиваете забастовки, от имени армии и от имени правительства...

Камни и куски кирпичей полетели в него. Он быстро вскочил в свой закрытый автомобиль. Демонстрация потекла в боковые улицы. В первом ряду первой колонны шел Петро Тодорович. Идя, он говорил соседу:

— Я его сразу узнал. Это тот самый полковник. Мне

страшно хотелось броситься на него и уложить его на месте. Я когда-то его спас, я его и убил бы.

В те дни на месте, где когда-то стоял беженский барак, человек просматривал газеты. Он сидел в небольшой комнате. Из окна был виден давно уже отстроенный вокзал. На месте привокзальных деревянных домиков теперь была залитая асфальтом площадь. На месте барачков и вдоль улицы вырос огромный химический завод. Человек, просматривавший газеты, сидел в кабинете директора этого завода. Перед ним лежала сводка заказов на искусственное удобрение. Сначала он только просматривал газеты, но затем положил их на стол и начал читать про расстрелы, восстания, забастовки, демонстрации за границей. Прочитав, он задумался, потом тихо сказал, опустив голову на руки:

— А отец когда-то все думал и думал о тех пяти десятинах земли... Если он жив, то где и как мне найти его?

Перевел *К. Яковчик*

П Л А Т О Н Г А Л А В А Ч

Платон Галавач родился в 1903 году на Бобруйщине в деревне Набоковичи. В 1920 году вступил в комсомол. В деревне жил до 1922 года. В 1922 году работал по комсомольской линии в гор. Борисове.

В 1923 году командирован в центральную совпартшколу, которая вскоре реорганизовалась в коммунистический университет имени Ленина. По окончании комвуза с 1926 по 1930 год работал в ЦК ЛКСМБ: сначала заведующим орготделом, а затем ответственным секретарем. В дальнейшем работал в качестве заместителя наркома просвещения БССР, редактором литературного журнала «Полымя».

На протяжении нескольких лет П. Галавач выбирается членом ЦИК БССР.

Литературно-творческой работой начал заниматься в 1925 году. Был одним из руководителей белАПП.

Имеет книги:

«Дробязі жыцця»—рассказ,

«Хочацца жыць»—рассказ,

«Вінаваты»—повесть,

«Спалох на загонах»—повесть.

В переводе на русский язык:

«Переполох на межах», ГИХЛ, 1933 г.

Пишет на белорусском языке.

ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА

Рассказ

Я больше всего запоминаю человеческий голос. Вот почему и в этот раз я был уверен, что не ошибаюсь. Или это весьма редкий случай такого большого сходства, или...

Не раскрывая глаз, я прислушиваюсь к голосу своего соседа по купе и роюсь в памяти. Я хочу вспомнить, где слышал я этот голос? Когда? В моей памяти встают образы моих далеких и близких, давнишних и теперешних друзей и знакомых, и все же я никак не могу припомнить, кому из них принадлежит этот голос, чуть-чуть с картавцей, слегка сипловатый.

«А в общем какое мне до всего этого дело? Мало ли людей встречал я за все эти годы». Я поворачиваюсь на спину и чувствую, как наполняются силой онемевшие руки и ноги. На скамейке против меня сидит мужчина лет тридцати, совсем незнакомый. На нем серый клетчатый, под заграничный, костюм, пестрый галстук. На крючке рядом висят серое, тоже клетчатое, пальто и кепка.

«Наверное такие же у него и носки», — почему-то думаю я и смотрю на его ноги. На них блестящие, начищенные полуботинки и шелковые клетчатые носки. «Рябчик! Но где я слышал его голос?»

Я поднялся и сел на скамье у окна. Сосед безразлично взглянул на меня и уже хотел отвести взгляд, но встретился с моим и удивился его чрезмерной внимательности.

Впрочем, я понял, что и он во мне не нашел ничего знакомого. И вот он снова беседует с женщиной, которая лежит на полке надо мной. Они оба зашли в купе, когда я спал, и сейчас я рассматриваю мужчину.

Низковатый лоб, коротко подстриженные усы и обвислая толстая нижняя губа. На пиджаке какой-то значок. Морщины у глаз теряются за большими круглыми очками.

— Значит, вы снова на родине? — спрашивает женщина.

— Родина? Нет, это не моя родина. Но во время гражданской войны я исходил пешком все здешние места. Знаю все местечки и многие деревни.

— А ведь это интересно через столько лет оказаться снова в тех же местах. У вас должны быть богатые воспоминания.

Я слышу, как женщина поворачивается на полке, — наверное устраивается, чтобы удобнее было разговаривать, и слышу еще до необычайного знакомый мне голос соседа. Я вглядываюсь в его лицо. Болезненно-искривленная улыбка на нем пробуждает в моей памяти какой-то давний знакомый образ. Я подаюсь вперед и вижу, как улыбка сразу исчезает с его лица. Человек отворачивается. Теперь передо мной совершенно незнакомый мне человек.

Чтобы не докучать больше соседу, я повертываюсь лицом к окну. За окном осень; обнаженные кусты, дубы с пожелтевшими листьями и одинокие тополя возле железнодорожных будок. Да серый полевой простор, и за ним в дали, застланной туманами, синяя лента лесов.

Мне некуда спешить. Я еду отдыхать. Где-то по дороге к Москве, на одной из небольших станций, я должен буду оставить поезд, пересест в глубокие селянские жары и ехать в Вихоровский колхоз, где живет мой лучший друг. Мы так условились. А сейчас я неподвижно сижу на скамейке возле окна, всматриваюсь в затуманившуюся даль и тоскую. Я начинаю узнавать место. Это приходит с особенной силой, когда поезд идет по железнодорожному мосту над рекой.

«А сейчас должен быть лесопильный завод». И вправду: как только проехали мост, над холмами, неподалеку от окраины леса, расстилая дымовую завесу, поднялась высокая труба завода. За нею серые крыши построек. Те-

перь я встаю, набрасываю на плечи пальто и выхожу из купе.

В конце вагона курит проводник. Я подхожу к нему и спрашиваю, далеко ли до станции Погулянки. В этот момент я совсем не думаю, что приму решение, которое позднее изменит все мои предположения относительно отдыха. Я просто хочу проверить свою память, хочу одиночества, хочу взглянуть через вагонное окно на знакомые места, а потом еще выйти на перрон станции, с именем которой связано так много того, что я бережно ношу в своей памяти вот уже двенадцать лет.

— Это будет Закутино, а следующая ваша, — отвечает проводник. — В половине седьмого там будем.

Я снова иду в свой конец вагона, останавливаюсь возле окна против своего купе и втихомолку насвистываю песню. Так легче думать.

За окном широкие полевые просторы, молодая зеленая рунь и темная полоса свежей пахоты. Изредка неподалеку от кустарников, в стороне от деревни, я вижу поля, поделенные на полосы. Это земли единоличников. Горбатые межи, оцетинившись молодыми порослями лозы и стеблями дикой травы, взбегают на вершину холма. По временам я вижу вдали от дороги деревни. Гурты темно-серых низких изб, а чаще, в стороне, высокие избы с гонтовыми крышами и немного в стороне от деревни длинные постройки для колхозного скота и новые колхозные силосные башни. Они первыми встают из-за холмов, загораживая приземленные избы.

Мелькнули станционные постройки. Два тополя пропумели листьями. Я не успел прочесть надписи на станции, но я знал, что проехали Закутино. Значит, еще один перегон, и тогда станция Погулянка, знакомый, былой уездный городок. Давние, казавшиеся забытыми, воспоминания всплыли неожиданно. В памяти встали живые образы былых моих товарищей. Близкие, безмерно дорогие, они оживают. Я помнил их всегда, они смотрят на меня из-за вагонного окна.

Левка-Матрос, невысокий, лицо все покрыто веснушками, рыжие волосы. Это он в нужный момент мобилизовал все лодки для нужд чоновского отряда. Звали его еще «Левка-Пожар».

Жора-Костыль, — настоящего имени и фамилии его, я так и не знаю до сих пор. Ему прострелили ногу, и он некоторое время ходил с костылем, а позднее — с палкой. Сапожник по профессии, он любил, чтобы всякую работу выполняли в совершенстве и честно.

Сымон-Коваль, рабочий, кузнец, здоровенный высокий парень. Мы видели его чаще всего молчаливым. Он молчал и всегда за работой в уюме как-то по-особенному тягуче, тоскливо пел одно и то же:

...Вихри враждебные веют над нами.
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Ему кричали: брось, не пугай, не пророчь! Тогда он переставал петь и коротко объяснял: «Все это глупости — ваши приметы, а в общем идите вы...» И снова пел, но уже бодрее:

Но мы подыдем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело!

Ругался он по-особенному. Я ни разу не слышал, чтобы он когда-нибудь выругался нехорошо, грязно. Здоровенный, непомерной силы парень, он, как девушка, стыдливо краснел, когда кто-нибудь выругается в его присутствии.

И наконец: самый веселый среди нас — железнодорожник Степка-Гармонист, музыкант и танцор на весь город, да еще тихий и незаметный, но необычайной чуткости товарищ Довид, Довидка, как мы называли его.

Сумерки густеют, в вагоне сразу становится темнее. По обе стороны дороги лес. Тогда это был молодой низкий сосняк и ольховник, а сейчас лес. Тонкие молодые сосны, как на параде, одна в одну, мчатся навстречу поезду и исчезают. Меж молодых стволов их видна свежая желтая насыпь, наверное шоссе. А еще через несколько минут я вижу, как идут навстречу нам через лес по шоссе два грузовых автомобиля.

«Город близко» — я вплотную прикипаю к холодному оконному стеклу и оглядываю далекий простор. Я чувствую, как часто и сильно стучит сердце. Рождается тоска, огромная звериная тоска. Я знаю, откуда она. Я вспомнил

своих пятерых бывших друзей и сейчас живу далекими временами, воспоминаниями о них, оставленных в минувших годах, и о нашей тяжелой разлуке. Вот почему, когда из-за леса мелькнули городские огни, я понял, что сойду тут, на этой станции бывшего уездного городка с поезда и больше в вагон не вернусь, а поеду ночевать в город и завтра пойду к месту нашей последней встречи. А там, отдавшись воспоминаниям, буду долго и бесцельно блуждать меж курганами в сосняке, пока не успокоюсь.

Я не помню, как неожиданно быстро решил я тогда этот вопрос. Я зашел в купе, торопливо свернул свои вещи и вышел назад в коридор с чемоданом. За окном начинался город. Новые постройки возле самого сосняка, какие-то склады. Невдалеке, в стороне, новый завод и вдали высокие, в три этажа, белые здания. В сумерках вечера они высоко поднимаются над серой былой окраиной городка. Я торопливо, будто боясь, что кто-то вернет меня назад в купе, застегиваю на все пуговицы свое пальто и чувствую, как от волнения начинают дрожать мои руки. Скоро дрожь овладевает всем телом. Я волнуюсь, точно перед встречей, которой искал так много лет, и радуюсь, что сойду на этой станции и несколько дней поблуждаю по городку, в котором меня никто, наверное, не помнит. Здесь я смогу прожить два дня, хотя бы в воспоминаниях, со своими старыми, кровно близкими мне товарищами. А потом обо всем этом я подробно напишу нашему седьмому, Ваське, теперешнему заключенному фашистской тюрьмы. Хоть так, — да снова побудем вместе!

Со двора, когда я выхожу из вагона, дует холодный ветер, и у меня слегка кружится голова. Перед вагонами стоит огромная толпа людей с чемоданами, корзинками, мешками. Над ней лучи густого электрического света, который льется из окон заново окрашенного двухэтажного здания станции. На дворе совсем тепло, как-то повесенному тепло, и я уже не чувствую ветра. Но внутренний холод нарастает и овладевает всем телом. Я протискаиваюсь сквозь толпу.

За вокзалом, на вымощенном дворе стоит очередь, ждет автобуса. Я становлюсь за красноармейцем и осматриваюсь вокруг. Слева все тот же липовый сад, дальше деревянный пакгауз, невдалеке газетный киоск и продук-

товый ларек. Дальше свежее выбеленное здание, в котором в те времена помещалась какая-то контора, а рядом с ним три сосны, старые давние сосны, за которыми поляна, потом сосняк и большак к самому городу. А дальше возле шоссе новые белые каменные здания.

— Это квартиры?—спрашиваю я у красноармейца.

Он утвердительно кивает головой.

— Для транспортников, жактовские.

Приходит автобус. Я сажусь на мягкую скамейку рядом с молодым парнем. Возле меня незнакомые новые лица. А посередине автобуса в проходе стоят парень и девушка с книгами. Они, не обращая ни на кого внимания, разговаривают и громко хохочут.

«Вероятно, студенты. Им теперь наверное по девятнадцать лет. Как раз и мы вот такими же были в то время». Мне хочется подняться, подойти к ним и сказать: «Радоваться, это и значит жить в наши дни. Вы счастливы, что не знаете и не помните многих дней, как помню их я».

Автобус дает сигналы, тяжело поворачивается и начинает сползать по шоссе. И тогда я снова вижу своего соседа по купе, он сидит позади меня рядом с молоденькой девушкой.

Навстречу автобусу дует осенний ветер. Из-за вершин старых кудрявых берез поблескивает беловатый месяц. Я всматриваюсь в окно, чтобы лучше разглядеть знакомые места. Я удивлен, что автобус все время идет по шоссе. Значит, большак замостили и по обе стороны его посадили молодые деревья. За деревьями тротуар, а не канава, и каменные дома. Тогда этого не было.

Я вспоминаю, как когда-то малышом, живя в деревне в пятнадцати верстах от города, я мечтал попасть в этот далекий, неведомый, сказочный город, над которым сияли огни. Город был далеко. Туда не дойти мне, и я думал о том, что пройдет много лет, город вырастет, дотянется постройками по шоссе до деревни, которая в двух верстах от нас, а тогда уже, —думал я,—будет совсем близко ходить в город. Эти воспоминания пробудили усмешку, но я был рад сейчас им, ибо пустой простор между городом и вокзалом сейчас почти заселен.

Автобус едет по новому деревянному мосту через реку.

— Это что же, разве новый мост?—спрашиваю я.

Мой сосед удивленно поворачивается ко мне и говорит:
— Только прошлой весной кончили строить...
— Скажите, товарищ, гостиница в городе далеко?
— В самом центре. Вы знаете город?
— Немного знаю.
— Так вот на Комсомольской улице, против кино.
— Гм! Но я не знаю, которая улица называется Комсомольской. Как она по-старому?

Сосед улыбается.
— А я, признаться, совсем не знаю, как она называлась в старое время. — И он обращается к человеку с портфелем: — Может быть вы знаете, как по-старому называлась Комсомольская улица?

— Петропавловской, — отвечает тот, — не поворачивая головы.

— Спасибо, — говорю я. — Теперь я знаю. Это на той самой улице, где был когда-то уездный комитет. Но какое же там кино?

— Новое звуковое кино, — говорит сосед.

И я прощаюсь с ним и выхожу из автобуса. Я минут пять стою посредине улицы и осматриваюсь по сторонам. Я не узнаю улицы. Рядом со мной столовая, дальше библиотека, а еще дальше освещенное огнями незнакомое здание. Я догадываюсь, что это и есть новое кино. Когда-то там был рынок, была непролазная грязь весной и осенью. Я иду туда и на углу, на перекрестке улиц спрашиваю милиционера, где гостиница.

— А вот этот дом, — и он показывает на двухэтажное здание. Я всматриваюсь в здание, вижу над собой черный балкон, окна на втором этаже и вспоминаю...

— Ведь здесь же был уком комсомола, — говорю я вполголоса сам себе и направляюсь к дверям гостиницы. Дверь, как и когда-то, открывается тяжело. Сразу за дверью узкая лестница со скользкими перилами. В коридоре я сразу нахожу контору, но она заперта. Я стою возле дверей конторы, я чувствую, как с еще большей силой пробуждаются воспоминания.

«Ну, и хорошо, что никого нет», — думаю я и подхожу к окну. За окном уже ночь. Я ставлю под ноги чемодан и прислушиваюсь к тишине. Суровой поступью проходят воспоминания. Я закрываю глаза, и живые близкие обра-

зы возникают передо мной. Все здесь теперь по-иному. Больше перегородок и дверей, чище. В коридорах полотняные клетчатые дорожки. Двери окрашены под дуб, выбелены стены. Но все те же три ступеньки к двери, за которой коридор и комнаты, где помещался уездный комитет. И та же крутая и узкая лестница. По снольским перилам ее спускался всегда Степка-Гармонист. Я вспоминаю его, и кажется, что было все это не двенадцать лет тому назад, а совсем недавно. И когда кто-то открывает дверь в гостиницу, я вздрагиваю, — мне кажется, что я увижу сейчас его лицо.

По лестнице медленно поднимается женщина.

Женщина открывает контору, включает свет и садится возле стола.

— Надолго ли к нам в гости?

— Дня на два.

— На два дня. А вам как, в общем номере, или отдельный номер?

— Я хотел бы быть в угловом номере, — говорю я. — Он свободен?

Женщина удивленно смотрит на меня.

— Вы разве были когда-нибудь у нас?

— Никогда.

— А откуда же вы знаете наши номера? — И она еще более удивленно смотрит на меня.

— Я никогда у вас не был, но комнаты ваши знаю и хочу обязательно тот номер. Он свободен?

— Он, то свободен, — нерешительно говорит женщина, — но он слишком большой, на пять кроватей.

— Это ничего. И я попрошу вас никого не посылать мне в соседи. Можно это?

— Но ведь он дорого обойдется вам. Придется платить за все пять кроватей.

— Хорошо, это не важно, я заплачу, — говорю я.

— Как хотите, вам ваших денег не жалко. Возьмите, заполните лист и дайте документ.

Я заполняю анкету и даю свое удостоверение. Женщина сверяет удостоверение с тем, что написано в анкете. Затем меня ведут в угловой номер. На двери номера черной краской написана цифра 14.

«А за дверью снова три ступеньки вниз», — вспоминаю я, пока женщина вертит в замке непослушный ключ.

— Вот ключи, чтоб они пропали: вертится, а не открывает. Стерлись совсем.

Наконец дверь широко открывается. Из комнаты навстречу нам веет прохладой. В комнате полумрак, разбавленный светом фонаря, который висит на перекрестке улиц. Я стою в дверях и осматриваю комнату. Женщина говорит:

— Ну, вот, делайте тут, что хотите, выбирайте любую кровать. Я постелю.

— Вот эту, — показываю я на кровать, которая стоит за дверью. — Позднее я попрошу вас затопить печку.

— Что вы? Разве холодно? Молодому стыдно мерзнуть. Еще ведь не зима.

— Я стар уже, я не молод.

— Ну, не говорите, а то я начну хвалить вас.

— А я это очень люблю. — И мы оба смеемся.

— Чего же мы здесь впотьмах стоим, включите вон там свет.

Я поворачиваю выключатель. Становится светло.

— Так вы всерьез о печке говорите?

— Да, всерьез, очень прошу вас.

— Ну, что же, можно и затопить. Только ведь еще совсем не холодно.

А два часа спустя, после ужина и беспельных блужданий по улицам, я сижу на стуле возле печи. Чтобы собрать свои мысли, я выключил свет. От печки веет жаром. Я держу в руках железный прут, которым мешают в печке угли, и смотрю в самый далекий угол комнаты. Там две кровати. А тогда здесь был длинный бильярдный стол. Влево от него стояло два меньших стола. На этих столах мы работали, а на бильярде сидели и совещались, и ночью спали на нем, покрываясь тяжелым ковром с блестящей бахромой по краям. Внизу под нами помещался автоотряд. И когда, засидевшись, мы начнем петь или начнем хохотать, тогда снизу в потолок нам стучали. И мы сразу смолкали. Так начиналась жизнь.

А днем субботники в городе, а чаще на железной дороге и на ближайших станциях, митинги, военные занятия в ЧОНе, учеба по «Азбуке коммунизма» и снова заполненные песнями вечера. Так проходили наши дни. В суматош-

ном ходе тех дней мы встретились в трех укомовских комсомольских комнатах и познакомились. Тут же познакомился я и с Лесницким. Привел Лесницкого в уком Левка-Матрос. Привел, похвалил и познакомил. Я Лесницкого встречал в те дни часто: и на чоновских занятиях и на собраниях, но три мои встречи с ним остались в моей памяти и по сегодняшний день.

Первая из них — наше знакомство.

Лесницкий стоял напротив меня, как раз где теперь стол, в гимназической куртке, со сдвинутой на бок фуражкой, у которой как-то по-необычайному был заломлен козырек. Над козырьком на выцветшем сукне четко выделялось место, где целые годы держался гимназический знак. Лесницкий выставлял напоказ запачканные в грязь гамашки и, вспоминая о своих встречах с Левкой, ругался. Левке это нравилось. Он похлопывал гимназиста по плечу, широко, по-хорошему улыбался и говорил:

— Он у нас вместо студента будет. Студенты — молодцы, революционерами были, беспокойными.

Лесницкий тоже улыбался и снова ругался.

— А ты, друже, не лайся так, — понял я его деланность под пролетария. — У нас этого не должно быть. Не для того революция делалась, чтобы ты матюгом крыл.

Это сконфузило Лесницкого, он покраснел, и тогда же я заметил на щеке у него под самым глазом возле носа родинку.

После этого несколько дней Лесницкий не попадался мне на глаза, а если встречался со мною, то торопливо здоровался и отходил в сторону.

Неподалеку от укома в переулке был чоновский склад. Я стал на пост в двенадцать часов ночи. Я крепко спал до этого на столе с парнями. Под ковром было тепло, и мне долго не хотелось подниматься, когда будил караульный начальник. Тогда товарищи взяли меня за голову, подняли и посадили на столе. Сначала я ничего не понял и удивленно осматривался, а поняв, торопливо съел кусок черствого хлеба с антоновкой и ушел на пост.

Ночь была теплая и светлая. Высоко над городом плыл месяц. Его свет искрился на окнах, на железной двери чоновского склада, на стволе и на штыке моей винтовки. Я посмотрел еще раз, цела ли на двери склада сургучная

печать; и начал ходить по тротуару. Доходя до верот, я на миг останавливался, всматривался в глубь двора и возвращался назад. Я ходил, считал свои шаги и слушал, как смолкает город. А город засыпал. В домах гасли огни. Иредна цокали по мостовой подковы одинокого верхового. А когда город замолк совсем, я услышал далекие шаги в переулке и заглушенный говор. Нужно остановиться и слушать. Винтовка наготове, удобно лежит в моих руках. Я всматриваюсь в конец переулка и вижу: идут по тротуару трое мужчин. Они жмутся к стенкам, останавливаются и снова идут. Я чувствую, что начинаю волноваться. Возникает чувство опасности. Я стою на месте, прислонившись к стене, чтобы не быть замеченным, и жду. Еще несколько минут. Они на расстоянии не более сорока шагов от меня. Моя рука дрожит, медленно открывает затвор и подает в ствол винтовки патрон. Люди останавливаются и молча чего-то ждут. А потом, уже медленней, снова движутся по тротуару. Тогда я кричу:

— Стой! Кто идет?

— Свои.

— Сойди с тротуара!

Но они идут по тротуару, шатаясь, точно пьяные, и громко разговаривают.

— Стой! — кричу я еще раз. — Стрелять буду! — Я щелкаю затвором, становлюсь за крыльцо для стрельбы с колена и подымаю винтовку к плечу. Они видят меня, и двое из них торопливо, понимая, что я не шучу, бросаются удирать.

— Стой! — Я нажимаю спуск и, не целясь, стреляю вверх. Потом еще и еще раз уже над самой головой того, который остался на месте.

— Не стреляй! Свой! — кричит он и идет по самой середине улицы.

Теперь он совсем близко, и я узнаю Лесницкого.

— Ты чего в такую пору ходишь? Кто с тобой был?

— Петрусь. Подожди, я расскажу... — Он, шатаясь под хмельком, идет ко мне. — Ходили к знакомым девушкам, я и еще двое бывших друзей моих. Ну, немного выпили там...

— Ты пил? Самогон?

— Совсем немного. Нельзя было отказаться.

Нельзя было отнаться? Ты что же, младенец или комсомолец?

От укомовского здания, стуча винтовками, бежали товарищи.

Сойди на мостовую, — говорю я Лесницкому. — Ну!.. Братец, не говори ради дружбы... Может, когда-нибудь и тебе придется. — И он снова лезет на тротуар. Дурак, — говорю я. — Ты что же, шутишь? А ну, сойди на мостовую!

Когда подошли с караульным начальником товарищи, я доложил, что случилось. Один из товарищей остался на моем месте на посту, а мы торопливо пошли в конец переулочка, надеясь нагнать тех, которые были с Лесницким.

Через два дня уком исключил Лесницкого из комсомола, и три дня я его совсем не встречал. А еще через три дня случилось самое главное. Это была моя третья встреча с Лесницким, бывшим комсомольцем.

Так же, в этой же самой печке, горели сухие сосновые дрова. Было одиннадцать часов ночи, и света в укоме не было. Во всех комнатах укома спали наши товарищи, сидели и на столах и просто на полу на шинелях. Единственная оборона города на случай нападения белых — наш чоновский батальон — вот уже несколько дней как на казарменном положении и квартирует в укоме и в соседнем с нами клубе имени «Парижской коммуны». В нашей комнате только мы трое не спали. Мы стояли на коленях возле печи и ждали, пока поджарится на ужин горох. Жарили горох на вьюшке, потому что сковороды не было. Вьюшка нагревалась быстро, вода шипела и испарялась, а горох, набрякая водой, крупнел, размякал. Мы мешали его щепкой и, не ожидая, когда он обсохнет, пальцами брали его с вьюшки, пересыпали себе на ладони, чтобы он остывал, и грызли, усердно работая челюстями, а на вьюшку насыпали новый. Когда челюсти уставали, мы на минуту прекращали еду и потихоньку, чтобы не мешать спящим, беседовали.

На четвертой вьюшке выкипела вода, когда Жора-Костыль толкнул меня локтем в бок и цыкнул, чтобы мы замолчали.

— Гудок! Тревожный гудок!

Мы смолкли. В тишине слышно дыхание товарищей,

слышно, как шипит на горячей вьюшке вода, да еще едва слышны короткие гудки на вокзале.

— Хлопцы! Тревога! Тревога!..

Мы закричали все вместе и бросились одеваться. Кто-то поднялся с пола и открыл в окне форточку. Со двора потянуло в комнату ветром, и сразу гудки стали слышнее, выразительнее. На вокзале по очереди беспрерывно гудели два паровоза. Короткими вскриками, полными тревоги, бросали они в простор, в ночь, в сторону города свои охрипшие голоса.

— Скорее! Сбор возле склада!—крикнул кто-то в комнату к нам.

Со всех комнат, неся винтовки, сбежались мы в коридор, а оттуда по узкой лестнице—на улицу. Проходя мимо печи, мы с ковалем Симоном еще раз посмотрели на вьюшку. С вьюшки давно испарилась вся вода, горох высох и начал громко трескаться. Над вьюшкой клубился сизый едкий дымок.

— Возьму с собой, а?

— Давай.

Симон выхватил из печи вьюшку и высыпал горох себе в шапку.

— По дороге пересыплем в карманы и съедем.

На лестнице, когда сходили вниз, кто-то вполголоса запел:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горюшь в огне...

— Прекратите песню, эй, кто там поет!

Песня оборвалась. Через минуту мы были возле складов, а еще через две минуты, получив дополнительно по 25 штук патронов, прослушали переключку, краткое приказание командира и направились в сторону станции. Шли торопливо, не слушая, как подсчитывает командир ногу.

Паровозы все так же по очереди гудели. Их голоса носились над городом, проникали в переулки и дворы и в тесные комнаты квартир. Услышав гудки, люди торопливо поднимались с кровати, поспешно одевались и, охваченные лихорадочной дрожью, принимали к стеклам окон, чтобы взглянуть, что происходит на улице, а кто

посмелее, тот шел к двери, открывал ее и, притаившись, слушал.

Мы шагали по самой середине улицы, держа винтовки за плечом, и ждали команды. Сзади за нами шли пулеметчики, и по мостовой, нарушая ночную тишину, гремели железные колеса «максимов».

Скоро мы прошли последний квартал города, оставив за собою низкие подслеповатые избы окраины, и шагали по шоссе в сторону моста. От реки дул свежий влажный ветер. Внезапно гудки смолкли. Над дугами, над городом, надо всем простором установилась напряженная тишина. Мы медленно шли в темноте, считали минуты и ждали, что вот сейчас снова возникнет за рекою гудок и мы опять почувствуем нашу связь со станцией. Но гудков не было. Надо всем тишина, и в тишине выразительная и краткая команда:

— Батальон, стой! Первая шеренга первого взвода первой роты четыре шага вперед. Шагом арп!.. ать, два, три, четыре... — И тихое: — Стой!.. Зарядить винтовки полной обоймой! Ваше задание — переправиться через реку и дойти до станции. Если станция занята белыми, необходимо узнать о количестве их сил. С первыми же известиями немедленно шлите человека. В случае нападения на вас сигнал — два выстрела. А теперь слушайте команду правого флангового.

Вшестером, рядом, мы двинулись вперед навстречу неизвестному. На минуту остановились перед входом на мост, чтобы назвать часовому пароль и пропуск. Затем так же неслышно пошли по деревянному настилу моста. Нас — шестеро, стоявших в первом ряду: я, Левка-Матрос, Жора-Костыль, Сымон-Коваль, Степка-Гармонист и Дóвидка. По обе стороны под нами чернела, едва поблескивая, вода в реке. Оттуда подымалась влага и окутывала туманом наши лица.

— Ну, теперь начнутся горячие дела, — говорит Левка-Матрос.

— Цсс...

— На мосту не так страшно... Но как это все началось? — спрашивает Жора-Костыль. — Так было тихо и вдруг... может быть, просто тревога?

— В такое время? Пошевели мозгам.

Вот и конец. Наши шаги зашуршали по глубокому песку на большаке. Тяжело идти, но удобно, потому что совсем не слышно шагов. Каждый доволен этим и постепенно успокаивается. Именно поэтому никто из нас некоторое время не хочет верить, когда перед нами вырастает шеренга вооруженных людей. Застигнутые врасплох неожиданным нападением, мы на миг останавливаемся на месте, потом бросаемся назад, но и в тылу откуда-то вырастают вооруженные люди. Я, вспоминая последний приказ командира, хватаю винтовку и стреляю. Наверное, пуля попала в кого-то из белых, потому что кто-то застонал и упал на песок. В этот же миг меня ударили крепко по затылку прикладом, и я упал. Падая, услышал еще один выстрел и обрадовался, что хотя бы так предупредили товарищей. Оглушенный ударом, я попробовал подняться с земли, но кто-то навалился на меня, ударил меня сапогом в бок и вырвал из рук винтовку. Я напряг все силы и поднялся. Теперь я увидел, как поднимается с земли Левка-Матрос. Я узнал его по голосу, он кого-то ругал. Поставленные на ноги, мы несколько минут стояли с поднятыми руками, освещенные электрическими фонариками, а в это время здоровенные солдатские руки ощупывали наши карманы и тела. Потом, плотно окруженные конвоем, с приставленными к спинам штыками, мы двинулись в их штаб. На ходу я почувствовал, что теряю силы. Это не только от удара, это и от обиды, — все случилось так неожиданно и нелепо. Стяжелевшие ноги заплетались. Я не успевал идти за другими. Штык касался моей спины. По телу пробегала дрожь, и я старался идти быстрее, чтобы только не чувствовать этой близости острой стали.

«Ну, довольно, хватит: воспоминания чрезмерно волнуют». Я поднялся со стула и несколько минут ходил по комнате, насвистывая песню, чтобы успокоиться. Походив так, я мгновенно разделся и лег. И сразу моим утомленным телом овладел сон.

А наутро я проснулся только тогда, когда в комнату ко мне постучали. Женщина принесла воды для умывальника. «Повдво спите», сказала она.

— Я очень поздно лег. Сидел возле печки и наблюдал, как горят дрова.

— Какой-то чудной вы, — сказала женщина и улыбнулась.

Я поблагодарил ее за воду, умылся и сразу ушел в город. Хотелось пойти за реку, к курганам. И через полчаса я был возле знакомых мест.

Вот старые, ещё екатерининских времен, каменные ворота. Здесь большак сворачивал на городской мост. Я остановился возле ворот, осмотрел их, потом сошел с большака и медленно направился к лесу. Молодой сосняк стал уже совсем высоким лесом. Я остановился и удивленно поглядел вниз. Возле самых курганов собралась экскурсия. Наверное, студенты, потому что у каждого из них в руках книги. Они стояли плотным полукругом, слушая объяснения своего руководителя, который мне не был виден. Я медленно сошел с холма и направился к экскурсии, чтобы услышать, что будет говорить руководитель.

Экскурсия двинулась к кургану. Руководитель шел среди студентов, я все еще не видел его. Я стоял недалеко от кургана, прислонившись к старой кривой береге. Мною снова овладели воспоминания. Опять живыми и близкими вставали образы моих товарищей.

Где-то далеко на востоке начинался день, и едва-едва поредела темень.

Под ногами у нас черная липкая грязь, ноги маняльно ступают в лужи. Грязь под ногами хлюпает и обрызгивает нам брюки до самых колен. Со всех сторон усиленный конвой.

Перед этим мы были в их штабе на допросе. Нам предлагали провести их по мосту, чтобы они смогли неожиданно напасть на город. За это обещали помиловать, оставить в живых. Потом били и снова уговаривали, угрожая и обещая помилование. А потом откуда-то в штаб пришел Лесницкий. На нем были все та же гимназическая фуражка и шинель. Он подошел к столу, сразу смутился, встретившись с нашими взглядами, затем наклонился к офицеру, который допрашивал нас, и сказал:

— Все они комсомольцы, члены уездного комитета. Тогда Левка-Матрос после напряженной тишины крикнул:

— Сволочь ты поганая! Собака!

Левку за это ударили по голове, а Лесницкий сразу вышел из комнаты штаба. Через пять минут нас скрутили и повели.

Потом мы долго, так кажется, стоим возле кургана. Где-то за вокзалом слышны одинокие выстрелы.

«Конец, — напряженно думаю я. — Теперь все пропало». И чувствую, как телом овладевает вялость и мысли становятся безразличными. Нас освещают карманными фонарями. Их свет ослепляет.

«Конец, конец», — говорю я сам себе шопотом и взглядываю на товарищей. Левка-Матрос смотрит куда-то в сторону, а коваль Сымон удивленно и испуганно осматривается по сторонам, все еще не понимая смысла того, что сейчас произойдет.

Солдаты вскидывают винтовки, и прямо перед собою я вижу на расстоянии не более двенадцати шагов от себя, как поблескивают концы штыков.

Потом, все еще не владея собою, я слушаю, как бряцают затворы винтовок, и следом приходит мгновенная мысль: «Если броситься в темень, можно спастись».

— Да здравствует...

Это толкает меня с места. Рванувшись, я прыгаю в сторону в темень и слышу, как разрывает воздух густой залп. Потом еще и еще одинокие выстрелы вдогонку мне и тяжелый топот солдатских ног. А затем — мертвая тишина, влажное дно старой канавы и густые кусты...

Снова, как вчера, я вздрогнул и ухватился за шероховатый ствол березы. Неожиданно меня поразил до необычайного знакомый мне голос. Я вслушался в него, не мог удержаться и подошел ближе к экскурсии.

«Да, да. Это или на редкость такое большое сходство, или это именно он...»

Я подошел ближе и остановился, узнав в руководителе экскурсии моего вчерашнего соседа по купе.

«Но голос... Да, да, картавый, сипловатый голос... А на правой щеке под самым глазом возле носа родинка...»

Не владея собою, я растолкал студентов и подошел к руководителю экскурсии, чтобы заглянуть под его очки. Я увидел знакомую родинку. Он сбился, стал говорить путано. Потом он попросил студентов узнать, что нужно здесь этому гражданину.

— Провокатор!—крикнул я приглушенным голосом. Его лицо залилось кровью, потом так же быстро смертельно побледнело.

Я глядел ему в лицо и видел, как он глотал слюну. Удивленные студенты молча стояли на месте.

— Я вас не знаю. Кто вы такой? Что вы плетете?..

— Зато я знаю вас, гражданин Лесницкий. Помните ту ночь в белобандитском штабе?

— Петр Хомяков...

Мое имя сорвалось совсем неожиданно для него самого. Он был уверен, что меня расстреляли тогда вместе с другими. С его лица сразу исчезла самоуверенность. Он молча стоял передо мною и растерянно мигал. А я рассказывал студентам историю комсомольской могилы и указывал рукой на Лесницкого. Серый клетчатый костюм теперь висел на нем мешковато, и совсем были лишними круглые роговые очки.

Это была моя четвертая встреча с Лесницким. Я задержался в городке еще один день, ровно столько, сколько понадобилось для разоблачения Лесницкого. На шестой день я вернулся в столицу.

Перевел автор

Минск.
Ноябрь 1933 г.

М. И. ХАСЬ ЛЫНЬКОВ



М. Лыньков родился в 1899 году в деревне Зазыбье на Витебщине. Отец его — ремонтный рабочий железной дороги. Детские годы и юность Лыньков провел на железной дороге.

По окончании в 1913 году народной школы поступил в рогачевскую учительскую семинарию.

С 1917 года, по окончании семинарии, начал работать на Гомельщине учителем.

В 1918 году во время немецкой оккупации М. Лыньков принимал участие в партизанских отрядах.

В 1919 году вступил в Красную армию. Участвовал в походе на Варшаву. С красноармейскими частями был на Урале и в Сибири.

В 1923 году демобилизовался и начал работать учителем в Рогачевском районе. Работая учителем, стал активным селькором.

С 1925 года работал в редакции бобруйской газеты «Коммунист», сначала в качестве сотрудника, затем ответственного редактора. В этом же году вступил в коммунистическую партию. Художественные произведения начал печатать в 1926 году. Был заместителем заведующего Белгосиздатом, работал в руководстве белАПП. В настоящее время—редактор журнала «Полымя революции».

Важнейшие книги:

«Апавяданні», БДВ, 1928 г.,

«Гоі»—рассказы, БДВ, 1929 г.,

«Андрэй Ляту»—рассказы, БДВ, 1930 г.,

«Выбраныя творы», БДВ, 1931 г.,

«На чырвоных лядах»—повесть, 1934 г.

Пишет на белорусском языке.

БАЯН

За-глаза был—«Медведь».

В глаза—Андрей Андреевич. Атаман, батька, папаня.

И когда говорили в глаза,—голоса говоривших рассыпались, словно лилась лишкая патока, от которой хотелось вымыть руки, лицо. Это проскальзывала лесть—липкая, грязная, терпкая людская лесть. Тогда насупливались брови, глубже делались морщины на лбу. Рывком:

— А ну с горизонта... Башку отгрызу...

И как будто в раздумьи:

— Тля ты копченая...

И как испуганный воробей, кидался филоном в другой конец барака, прижимался к нарам, и слышно было, как сошел он с перешугу, приводил в порядок свои мысли и чувства,—поди, угоди человеку,—и, отойдя, набравшись смелости,—на шопот сочувствия, вздохи:

— Бе-э-да... Не подходи... Андрей Андреевич думает свои думы...

И весь барак наполнялся тогда настороженной тишиной, торжественно плавали клубы синего дыма, пронизанные лунным светом, тихо ругались, шептались за стирками уркаганы. Были самодельные стирки, надо было осторожно брать их, потому—ни хорошего звука от этих стирок, ни упругости в них, ни аппетита в игре. Шелестят испуганные листки, темные, скомканные. Как мысли ском-

канные уркаганы, с ясной тропы сбитые. И прорвет кого-нибудь, пронесет. На весь барак, на все нары:

— Жизнь называется... Даже карта нейдет...

И со всех сторон:

— Ш-ш-ш...

— Тихе, ты!

На Андрея Андреевича поглядывают косо.

— Видишь?... Молчи... Скис атаман... Думает...

Думает Андрей Андреевич... Думы свои.

Сумрачно в бараке. Вечерние тени бродят по нарам. Украдкой пробирается месяц в окно и, заглядевшись, проникает холодным пытливым взглядом в мысли твои, в слова сокровенные. Холодно за окном. Холод в гуле лесном, что идет, гудит верхушками деревьев—елей дремучих, косматых сосен. Идет, гудит по ложбинам, по скалам, по мшистым лысым валунов, где под месяцем моховые следы медведя-пустынника. Выйдет он, сирота лесная, космы серые отряхнет от налишпей хвои и, опустивши гриву, гаркнет месяцу в глаза—голос пробует на ветру, проверяет отголосками лесными. И тогда идет пить. К гремучему падуну, к вспененному омуту медвежьего водооя. Тропою старой, предвечной.

Идет пить медведь. И который уже день—не доходит. Выйдя на прогалину, где рыхлый камень осыпается песком, задерживает шаги, вытягивает шею и жадно ловит—глазами, слухом, теплотой горячих ноздрей—дыхание ветра оттуда, где водопад, где вспененный омут медвежьего водооя. Вот они, знакомые туманы, расстилаются по ложбине. Старые ветры гудят в вершинах деревьев. Пахнут ветры залежалюю столетнею сыростью, пахнут камнем, хвоей, прокислой брусликой, прогорклым дымом лесных пожарищ да седым мхом болот.

Уши ловят шелест звезд. Топорщится щетина на затылке. Натопыренная, угрожающая. Зеленые огни в глазах. Не от месяца, не от звезд—от злобы звериной: кто потревожил седые туманы, кто скинул горсть звезд с недостижимых высот? Вон горят они над землей, над знакомой ложбиной. Кто всадил рогатину в горло великана? Молчит водопад, не ревет водопад—где же вспененный омут родного водооя?

И новые звуки оттуда—голоса слышны опасные, человечесьи. Где-то песня звучит, и не лесной музыкой полны окна светлых изб над рекою, не молитвами скитов кер-жацких, ее шопотами и мрачными вздохами заплесневелому богу раскольничьему,—идут оттуда голоса людские звонкие, растут, рассыпаются, как искры солнечные в малиннике.

И новые запахи оттуда—человечьи запахи, едкий дым из труб кирпичных.

А водопад молчит.

Умер.

И покорился медведь.

Семь дней, семь ночей стремился выйти на тропу звериную к медвежьему водопою,—и не мог дойти. А когда услышал пронзительный свист и рев—звук неведомый ему паровой сирены,—втянул голову в плечи и поспешным шагом, озираясь, напрягши слух и зрение, пошел назад, в глушь, в корчевник, в дикие дебри бурелома. Искать места спокойного, сонного логова медвежьего. Пересохшим языком горячим жадно слизывал холодные росы с валунов, с травы, с пожелтелой листвы кустов.

... А за окном ходил часовой. Кончик штыка поблескивал за потным стеклом. Часовой думал о ночи, о лагерном суровом дне, о канале, людях. Пожимая озябшими плечами, сердито поправлял шапку. Приглядывался к миганию света на запотевших стеклах, прислушивался к голосам за стеной.

— Тоже компания... На подбор... И который-то месяц... Все в Руре...

И как бы дразнила его мысли, полились из-за стены приглушенные голоса гармони, сначала тихие, медленные, мягкие. Плавные переливы звуков шли оттуда, сквозь запотевшие стекла, смешивались, сливались с запахами свежей хвои, с трепещущими отблесками луны, с порывами ветра. И среди темной карельской ночи, с ее ветрами, сыростью,—как будто подул ласковый южный ветер, зашелестел прозрачным ковылем, теплым крылом обвеял пахучие просторы земли. Тогда зацветают краски, искрится кровь, захлестывается сердце чувством жизни, ее полнотой, безграничностью.

— Хорошо это, когда гармонь...

И предательская усмешка теплой ладонью сглаживает лицо часового.

— Вишь чорт хромой... Руки в гармонь как влипли... Мастер.

Даже нога стремится сделать выверт, не терпится ей, не устоит.

— Хорошо играет, с надрывом... за сердце хватает...

А гармонь безумствовала. Не плавные звуки, а гром голосов потрясал уже толстые стены барака, дрожали окна, и по ним скатывались, слезились испуганные капли дождя, разливалась струйками теплая сырость. Дрожали стены, сострясался пол разухабистым тоном ног, ухали голоса, охриплые, растрепанные, уркагани.

— А ну, поддай жару, поддай... Пальцев своих золотых не жалей, атаман!

Уркаганы справляли бал. Веселились. Веселостью обманчивой, натянутой, чтобы от дум своих убежать, от назойливой тоски, обыденщины, серой, постылой: ни к чему не приложены руки, простора нет, размаха. Переслушаны сотни историй сумрачными вечерами, обхожены сотни тальманов—в разговорах на нарах, беседах бессонных. Сотни былей и небылиц: о воле, о ширмачах, домушниках, чердачвиках, о мокрых и немокрых делах, о знаменитых беглецах, об искусстве девятого ребра, о чудесном выражении глаз человеческих, когда им покажешь живую смерть...

А за окном все тот же белоглазый месяц, черные зазубрины леса под седым небом. И такой же знакомый штык под окном. И старая, как серый слежалый войлок, охватывает сердце тоска, от которой не уйти, не убежать. Что же делать?

— Работать? Руки свои золотые мозолить на лопате?

— Нет... Пусть она сдохнет, работа... Ручки мозолями портить, жизнь свою трудоднями расписывать?..

— Так играй, же атаман! Играй!

И старается атаман. Плечистый, приземистый—недаром величают медведем за-глаза. Потные пряди волос прилипли ко лбу, заслоняют глубокий шрам—от виска через всю щеку след старой пули, гордость атамана, предмет уважения молодых. Прищурены атамановы глаза, глядят-не глядят под густыми ресницами. В руках воло-

сатых гармонь—никчемная, немудрящая, ржавым гвоздем подбитая, ниткой, проволокой подшита, хлебом лагерным позаклеенная, чтобы дух не вышел, голоса не пропали. Постирались и обтерлись углы у гармони, охрипли голоса, полиняли золоченые меха, что ни день—новые дырки в них. Один палец на бас, другой на дыру клади, чтобы пшика не было, шипенья ужиного. Героизм надо иметь и ловкость необыкновенную, чтобы на этой беде облупленной играть, не разбить, не растрясти. И играет Андрей Андреевич, ходят руки ходуном, с ними в такте веселом, подмывающем скачут ноги, подскакивают; мотается голова, болтаются в беспмятстве липкие пряди волос, и капли пота свисают по небритым щекам, росой спадают на бледную синеву зловещего шрама. До того увлекся игрой, даже не заметил, как двери скрипнули, люди вошли. Стихли гремучие голоса в бараке. И кто-то веселый, разудалый крикнул сверху, с нар:

— Эге-ге... Начальство к нам... А ну, Андрей Андреевич, крутни гармошкой, чтобы маршем встретить гостей любимых...

Действительно любимых. Сам начальник лагеря к ним зашел, к ним—отпетым талманщикам, вселагерным лодырям, пройдохам. Он идет среди нар, загадочной улыбкой освещается лицо, смешливые огоньки в глазах скачут: хитреца в них, лукавина и теплота хорошая, человечья.

— Как живем, как можем, чем порадуете?

В ответ ему марш веселый, встречный. Захлебнулась гармонь голосами медными, даже притопывал хромой ногой Андрей Андреевич, чтобы удобнее, ловчей растянуть гармонь, во-всю развести ее худосочные бока.

И вдруг как гром среди ясного неба—конфуз ужасный: пшикнула гармонь, выдохлась, над порванными мехами клубы пыли взвились, поплыли торжественно под самый потолок. И больше ни звука. Ахнули голоса испуганные, а сам Андрей Андреевич даже присел от неожиданности:

— У... лопнула, стерва...

— Вдребезги, дорогуша!—подтвердил кто-то со стороны.

— Я тебе покажу вдребезги...—накинулся вдруг Андрей Андреевич и сразу осел.

Порванные створки гармони безнадежно кинул на нары.

— Переусердствовал немного... Не склеить теперь эту гниль... Да и без того голоса онемели многие...

— Онемели?—переспросил начальник, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, онемели,—безучастно кинул Андрей Андреевич и полез в карман за махрой.

— Постой. Папироской угощу... За музыку, за ловкость, за мастерство... Хорошо это ты на гармонии веселить людей умеешь...

— Не подкачаю...

И слово за словом беседа завязалась. Загадочная улыбка давно сошла с лица начальника, серьезней стал он, нахмурился.

— Вот что, рурщики, народ развеселый... Весельчаки из вас первейшие, камни от вас запляшут... Да веселость ваша цветет пустоцветом, пользы от нее, как от комариного чоха...

— А что?—шевелинулись на верхних нарах.

— Да то... Люди горы ворочают, а вы? Нары обивать, пузо греть... Думаете вольготно прожить на рабочей шее, крестьянской? Дармоедами думаете век коптеть?..

— Эге, куда поехал?

— Завел песню...

— Брось трепаться, товарищ начальник... Больно ученые, светом крученые... Мы-ста жареные, смоленые, в семи водах солилися, соловецкому богу молилися... И вот тебе за рупь, за двадцать... Пожалуйте бриться, в канале мыться...

— Ого... Я и не знал... Этакая сила пропадает... Да мы тебя, голубь, первейшим человеком над агитбригадой поставим. Людей-то нехватка... Давай-ка фамилию свою, братец, да на завтра айда в бригаду, частушки будешь составлять... Люди будут слушать, да какие люди... Не руровцев отпетых сотня, а всем лагерем песни твои слушаем.

— Мне что? Прикажет Андрей Андреевич, буду петь. На язык я остер...—и сконфуженный от похвал филоном, живой, вертлявый, постарался спрятаться за спину других, чтобы не встретиться со взглядом начальника, теплым, ясным и все таким же глубоким, пронизывающим.

И только из-за нар, из углов раздавались одиночные голоса:

— Про работу ты брось, начальник...

— А что?

— Работа нам не к лицу. Пусть кулак работает, ему и лопата в руки. У него и способность на это—был червяком земляным, червяком земляным и остался... Да контрики пускай потом обмоются... Сколько они, гады, нашему брату навредили...

— А вы?

— Мы что?.. Мы—честная пролетария...

Взрыв хохота потряс желтые стены барака. Колыхнулись лампы под потолком, разгоняя тени на нарах. Даже угрюмый Андрей Андреевич, апатично вертевший в руках разбитую гармонь, и тот не стерпел и, схватившись за бока, припал к нарам от разухабистого хохота. Шутить даже стал:

— Тоже, чорт стриженный, отпалил... Пролетария... Честная... Если бы честь твою да в канале помыть, море Белое почернело бы... Потому и боимся мы работы этой, чтобы морю конфуз не вышел...

— А мы и на море управу большевистскую найдем,— на шутку шуткой ответил начальник. И уже всерьез:

— А вы подумайте все-таки... Времени хватает у вас...

Распрощались поздно. И когда вышли из барака, кинул на ходу товарищ Свирин, начальник, скупые слова заведующему участком, молодому чекисту:

— Так как же будет?

— Все, что могли, делали. И уговоры и наилучшие воспитатели. С места ни на шаг, упрямые, как чортовы лбы...

— Ну?

— Надо что-то делать еще... Коноводом у них Андрей Андреевич, всеми верховодит. Изолировать его, что ли, отослать на приемник или на Соловки снова... Где там его исправить...

Шли мягкой песчаной тропинкой по краю недоделанного еще плюза, и в тишине ночи слышно было, как шуршат редкие песчинки, скатывающиеся по гранитным стенкам канала. Свирин молчал, прислушивался к шороху песчинок, к тихому падению водяных капель, к еле слыш-

ному журчанию незаметной струйки воды, проскальзывавшей сквозь тысячелетние толщи гранита, диабазовые вековые залежи.

— Тоже силища... Этакая сила... Камень крошит...

Через щели недоделанных ворот струйки били фонтанами, бились брызгами, нагоняли рябь на сонное водяное дно. Расплывались в нем, двигались прозрачные отсветы луны. Звонкое журчание струй напоминало самые тонкие голоса гармони. Той, руровской...

И когда садился на катер, чтобы ехать назад в центральный лагерь, на минуту остановился, подумал и проговорил:

— Ты это... того... Постой... Подожди, одним словом... Что-нибудь мы все-таки придумаем... А про Соловки ты пока брось думать...

— О чем это?

— Да о твоём Андрее Андреевиче...

Поплыли по бараку слухи:

— От Свирина гармонь привезли...

— Баян...

— Серебряные голоса...

— Кому-то руки к гармонии приложить?

И косо посматривают на Андрея Андреевича. Ходил тот грозный, угрюмый. С лица человек сошел. И никаких, кажется, человеку хлопот: лежи, поплеывай да брюхо поглаживай. Так нет. Ходит человек сам не свой, а оком глянет на тебя—удирай подальше, убьет взглядом. На слухи, на шопот наткнулся, ухо о них уколол. Подозвал карманщика молодого; парень с пуговицу, а фокусы выделывает с вывертом, по карманному, значит, делу. Доплый был парень по этой части.

Подзывает сурово:

— А ну, подходи.

У того и душа в пятки.

— Ты о чем, сопля карманная, треплешь?—И руки волосатые в плечо; тяжелые руки, кости ноют под ними.

— Дяденька... Веду правду, как на ладони... Ей-же-ей, привезли... Чистокровный баян... Вот крест тебе и ма-

ковки золотые—правду говорю, без обмана... Гармонь—во-о, мехиво, а голоса—несчетные...

— Вот я тебе ребра как помну, тогда посчитаешь... Видал?

— Видать не видал, люди говорили... Горит гармонь, богате-е-ющая...

Еще больше почернел Андрей Андреевич—ни к чему не тянутся руки: ни к картам, ни к хлебу, ни к ложке. День ходил, два ходил, на третий нетерпение взяло. Караульного начальника вызвал.

— Вот что, товарищ начальник, одним махом я на склад: дело у меня там важное, очень серьезное дело...

— Какие же там дела у тебя особенные?

— После...

Пустили. Стрелой помчался к складу, что в сосеннике над озером. К самому кладовщику Апатею евдоксеевичу.

— Так неужели правда?

— Ты о чем, человеке?—отодвинулся Апатей Евдоксеевич к дверям в угол, чтобы подальше от рук волосатых.

— Про гармонь я спрашиваю. Правда ли, что привезли?

— А-а... ты про гармонь...—отлегло евдоксеевича сердце.—Да, привезли. От самого Свирина доставили, человеке... Из Москвы баянчик^к привезли...

— Покажь...

— Что ты, человеке, разве можно? Никому гармонь еще не определена...

— А ну, чортова лысина, поговори еще... Доставай мне без волокиты.

Глянул тут Евдоксеевич на жиганские глаза, да скоренько к ящику. Никак руки те на крышку не могли попасть, пыхтел, старался, кое-как отвернул, баян вытащил. Солнце в окна светило, рассыпалось зайчиками по голосам, по блестящему лаку, по серебряным наугольникам.

— А ведь правда... Баян... Баянчик на славу...

Волосатыми руками к ладам притронулся и почувствовал холодок их прозрачный, светлый, как на чистой сорочке белые пуговицы перламутровые. Хорошие лады... Нажал несмело, прошелся по перламутровым голосам переливчатым. Как ручей весной под хрупкой льдинкой солнечной... Журчит ручей, журчит... да под солнечными

поцелуями никнет, тает льдинка, стекает каплями. И говорят они радужными переливами и свечами весенними ледяними.

— Кому гармонику начальство назначило?

— Гармонистам, милый... гармонистам...

— Знаю, что гармонистам. Не тебе, плешь купецкая..

— Гармонистам-ударникам... Ударникам, милый...

Так что конкурс им, ударничкам нашим... наилучший кто, тому и гармонь.

— Ударникам...—и так хлопнул дверьми, забренчали даже окна.

Повесили носы уркаганы: ни смеха веселого, ни хохота, ни бешеного топота ног—это когда «яблочко», да «куда котисься». Не до яблочка было старому уркагану.

— А ну вас...—выругал Андрей Андреевич развеселую свою команду: душегубов, домушников, карманщиков, ширмачей, полдесятка девчат, ночных цветиков, да всякого иного брата, тридцать пятой статьей приголубленного.

— Жизнь вы мою загубили, гады ржавые...—И как кинется на нары, лежит, не певелится и кому-то кулаком грозит. Волосатым, огромным, с бурым пятном, с якорем синим. Идут от кулака боязливые тени, мечутся на сумрачных стенах, тоску наводят на нары. Да иногда громко:

— Ударники...

Богородицу, бабушку поминает. А когда начнет богородицу учащать, тогда лучше подалее от Андрея Андреевича. Остерегались. Только шопоты глухие да перешоптывания около стен, по углам да по нарам далеким. Народ сметливый, догадливый.

— Видно, суждено нам на работу выходить.

— Как же так, сдаваться? В руки большевиков тепленькими?

— А кому же ты сдаться хотел?

— Не в этом дело... Нет у меня воспитания такой, чтобы ручки мои на работе поганить. Я, можно сказать, ручками своими любой фокус могу сделать... Как же мне с сиволапыми в ряд становиться, пальчиками золотыми колупать граниты...

Шесть дней, шесть ночей в этих шопотах: сдадимся или не сдадимся?

А когда наступил седьмой день, вышел Андрей Андреевич на середину барака и прямо ко всем:

— Вот что... хватит, довольно... пофилонствовали, побаловали... А кто хочет быть дармоедом на нашей шее— айда налево...

... Пошла слава про бригаду Андрея Андреевича. Боевая! Бригадир первейший. Пробовали сначала подтрунивать некоторые, посмеивались в усы:

— Ширмачи в работу кинулись, сдох в лесу медведь, не иначе...

— Ручки белые глиной не вымажьте, камешками не подарапайте, неудобно по карманам рукой мозольной шарить...

Отгрызались. А скоро бросили, потому что никто больше не смел лезть в глаза, когда проценты в гору полезли да соседние бригады начали беспокоиться:

— Чорт вас знает, откуда что берется... Просидели сиднями на Руре. И на тебе—на линии передовые...

Слушал Андрей Андреевич, в ус посмеивался. Уже недели две как гармонь за ним. Специальный был конкурс в клубе,—кто же устоять мог против рук его. Гармонь—за ним, первейший бригадир—за ним, два портрета в разных газетах—за ним. Развеселая братва—и им гармонь с голосами серебряными. Да что гармонь! Вот сидят вечерами, по пальцам считают, загибают пальцы со свежими мозолями:

— Раз—гармонь наша...

— Два—ударнички...

— Три—вниз отсидка пошла...

— Четыре—на курсы кто, мастерами будут...

— Пять—разве контрикам мы уступим, чтобы они на работе да первыми...

— И шесть—с пирожками... все для нас, для ударников...

Не так и пирожок тот дорог, а уважение велико, дорого слово внимательное. И это слово—ударнику.

И только это на новый путь выбились, жизнь свою на-

чали перекраивать, как вышел конфуз с Андреем Андреевичем, из-за гармонии его, из-за голосов: отклеились два—басовый и один альтовый. Не велика беда, пустяковина, можно сказать: вял их, голоса эти, да приклеил. У Апатея Евдоксеевича на складе должен быть гумпарабик. Прямо с работы к нему:

— Вот что, купец, дозарезу мне клей нужен, отпусти капли три...

Усмехнулся Апатей Евдоксеевич, принял начальственный вид:

— Нет у меня клею... завода у меня нет клееварного для каждого проходящего, для каждого, можно сказать, ширмача... Иди, иди!

Ничего не сказал Андрей Андреевич, почернел весь, как темная туча, и вышел...

А когда черная ночь обволокла бараки, когда ровный храп распростерся под высоким потолком, — сон сладкий сморил усталых каналоармейцев, — натянул осторожно сапоги Андрей Андреевич, положил в карман запасенный ржавый гвоздь, вышел, крадучись, из барака и двинулся, как тень, к озерному берегу, где склад.

Долго возился у дверей, около замков нехитрых, колупал гвоздем ржавым. Колупал и ругался:

— Этак и ремесло забудешь... Как орех поддавались когда-то любые замки...

Расколупал. Вошел, спичкой чиркнул, обошел столы. Целую бутылку клею нашел на одном.

— На чорта мне она, целая...

Искал бутылочку малую, чтобы порцию клею отлить. А сердце сжималось сладким зудом, старым, пережитым, давно изведанным.

Чего-чего не навалено тут возле стен: одних одеял одиннадцать, да простыни, полотенца, спецовки новые... Сахару мешки, продукты лагерные. Присмотрелся к одеялам, рукой хозяйской в кучу сложил, старательно связал в тугой узел, чтобы не рассыпалось, не расплзлось. Кое-что из продуктов сложил, взвесил на руках — в самый раз донести...

... Два дня и две ночи не было Андрея Андреевича. На третий день явился и без долгих антимоний заявил:

— Ну что же, сесть пришел, товарищ начальник... За

одиннадцать одеял, ящик сигов да пачку сахару невзвешенного... Да еще за невзвешенную доверию...

И Андрея Андреевича посадили...

Сумрачная пелена сползала с окон. В них разливалась серая прозрачность утра. Сквозь них видны были седые туманы—они плыли по ложбинам, клубились над речкой, над озерными берегами. И как будто плавали в этом тумане суровые громады сосен и елей, высоко взнесших свои косматые верхушки в холодную свежесть утреннего неба.

Просыпалась Медвежья гора, пробуждалась говорливыми голосами. Шли лагерники на работу: в мастерские, на сплав, на лесные работы. Зазывающе гудели гудки лесопильни, гремели буферами поезда на станции, перекликались паровозы.

Человек сидел за столом, взлохмаченный, нахохленный. От времени до времени проводил по лицу, по взбитым волосам широкой ладонью, как будто сгоняя с лица дремотную теплынь, что клонила ко сну, к отдыху. Прислушивался к паровозным гудкам, и тогда на какую-нибудь минуту выпрямлялся согнутый стан, светлел взгляд, делался твердым, колючим: в гудках тех была большая и грозная сила—паровозы пришли издалека, были бесконечными их пути, к родине далекой вели, к воле. Далекое воле.

— Так как же так? Что будем делать?

Человек слышал вопрос и медлил с ответом. Все подбирал лучшие слова, чтобы они были глубже и легче, чтобы была в них великая правда, чтобы глубокая вера была к этим словам. Человеку хотелось сказать о дивной жизни, о суровой правде, о серебряных голосах гармонии, об ударничестве, неслыханных процентах... И о трех каплях клею...

Человеку хотелось рассказать, а слова не шли. Были они неудовимые, неповоротливые, корявые слова. Потому и сказал только:

— Так это же я одеяла спер... Одиннадцать одеяльцев стырил... Это моих рук дело...

— Ну?

Были внимательные глаза у начальника лагеря, у товарища Свирина. Внимательные и глубокие. Видели они куда дальше одеял, не заслоняли эти одеяла звериных следов и дорог людских. И приподнявши строго правую бровь, спросил еще раз:

— Ну так что же? Рассказывай... Удрал, видно... Из изолятора?..

— Удрал... Посадили было... И гармонь отобрали... А был я ударником... И вот... Тридцать верст сделал я за ночь, к вам бежал, на Медвежью гору, чтобы рассказать обо всем. Дорогами не шел, чтобы не поймали... Обходил лесами да болотами... Не могу я сидеть, нет больше возможности... А с одеяльцами я виноват... За клеєм я полез в склад... и вот... вклеился...

Чуть заметная улыбка прошла по лицу товарища Свирина.

— Та-а-к, Андрей Андреевич... И как это леший тебя попутал?

Долго еще говорили. О дамбе. Об ударниках. О сплавелеся. И тогда сказал начальник лагеря товарищ Свирин:

— Так вот что, Андрей Андреевич... Чтобы ног не трепать, бери вот записку да крой до озера, дежурный катер пойдет на канал через час, тебя с собой возьмет. Плыви назад, становись на работу, своими ударничками командуй. Да вот еще... Про курсы ты как-то говорил... Через неделю можно будет в механическую мастерскую тебя забрать, руки лучше наломаешь к работе, мастером станешь... А теперь иди... Гармонь... назад получишь— по телефону передам. Ну, прощай...

Как подхваченный крыльями, мчался Андрей Андреевич с Медвежьей горы вниз к озеру, к пароходной пристани. Высоко взошло солнце, и чистое, яркое—после утренних рос и туманов—оно рассыпалось в миллионах солнечных улыбок на тихих волнах, на успокоенной глади озера. Безграничные водяные просторы дышали величавым спокойствием, сливались с далеким небом, горели в нестерпимом ослепляющем блеске солнца.

Перевел Я. М.

Р Ы Г О Р М У Р А Ш К А



Родился в 1902 году в деревне Безперхавичи, Слуцкого района, БССР, сын бедняка-крестьянина. Работал на отцовском хозяйстве и учился. Окончил народную школу, двухклассное училище и учился в несвижской учительской семинарии, которую не окончил.

В Красной армии с 1920 года (по партийной мобилизации) до 1921 года и с 1924 до 1927 года.

Член КП(б)Б с 1920 года. Работал в подпольной организации коммунистической партии Литвы и Белоруссии в 1919/20 году во время польской оккупации на Случчине. Принимал участие в партизанском движении.

Печататься начал с 1924 года. До этого времени был корреспондентом газет: «Звезда», «Белорусская деревня», «Красноармейская правда», «Советская Беларусь».

Напечатаны книги:

«Стрэл начны ў лесе», рассказ, изд. Ц. Б. «Молодняк», 1926 г.

«У іхным доме», повесть, Белиздат, 1929 г.

«Прыгран чны манастыр», рассказ, Белиздат, 1930 г.

«1905 год» (отрывки из романа «Сын»), Белиздат, 1930 г.

«Сын», роман, Белиздат, 1930 г.

«Рузікі», рассказ, Белиздат, 1932 г.

«Званкі», рассказы, Белиздат. 1931 г.

Пишет на белорусском языке.

СВОИ—ЧУЖИЕ

Кабы не черная непроницаемость ночи, не споткнулся бы он о навороченную глыбу свежей земли и не упал бы в вырытую яму. А может, кабы не черная непроницаемость ночи, то не было бы и этой ямы. На все своя причина. Поднимаясь, он выругался—крепко и сочно, будто звуки голоса возмещали нарушенный покой дороги. Но, выругавшись с наслаждением, он вдруг забыл о своем падении в яму, о нарушенном плавном течении мысли и насторожился.

Звуки человеческих шагов послышались невдалеке, послышались и, отдаляясь, захлебнулись в глубине черной непроницаемости ночи.

«Без причины ничего не бывает»—подумалось ему.

И вырытая на тропе яма и звуки человеческих шагов связались вдруг в один неразрывный узел и напомнили ему, что на этом самом месте когда-то, обросший седым мхом, лежал большой камень. Камень объезжали с волами, обходили с плугом и бороной, и на ровном гладком поле он лежал, как бельмо на глазу.

Было оно не так давно.

Однажды весной приехали на машинах дорожные техники, исследователи; отметили длинную ровную полосу земли, а рабочие отметили ее двумя рядами столбиков,—между этими столбиками прошла потом хорошая

шоссейная дорога. И старый, мохом обросший камень перестал быть бельмом: свезенный на линию, он лег крепким фундаментом в первый пласт дороги. По тому месту, где лежал он на поле, уничтожая межи и борозды, прошел вслед за трактором острый плуг. Но плуг зацепился лемехом за что-то в земле и сломался. Это «что-то» было завернутым в тряпки хоботом «максима». Начали раскапывать, и оказалось, что вокруг старого камня был зарыт целый склад оружия: пулеметы, винтовки, патроны, гранаты.

Все это промелькнуло перед ним, как легкокрылая быстрая ласточка. И вырытая яма,—там, где лежал старый камень, и звуки человеческих шагов, и хобот пулемета связались в один неразрывный узел и напомнили ему... И напомнили ему, Мигаю Алексею, о двадцать одном годе, о том, что он—комсомолец, призывник в Красную армию, призывник-пограничник, призывник-колхозник, и что он идет с военных занятий. И Мигай Алексей крупным шагом бросился туда, где звуки человеческих шагов захлебнулись в глубине черной, непроницаемой ночи.

«Чорт его знает, кто здесь может быть?—подумалось опять Мигаю Алексею.—Мало ли еще сволочи всякой на свете!»

И вспомнилось, как в прошлом году, в такое же время, был подожжен их колхоз «Фортпост социализма», как благодаря героизму животновода, бывшего красноармейца, удалось спасти из пылающего сарая сотню коров—все рогатое стадо колхоза, как разоблачены были скрытые кулаки со своими друзьями, которые подожгли колхоз.

Думает и не думает Алексей Мигай, а перед глазами его словно проходит вереница живых людей. Но линия мысли прерывается. Сонная птица вспархивает у самых ног и заставляет его сплунуть от неожиданности.

Мелкий и частый осенний дождь неприятной холодной сыростью напоминает ночную темноту и делает из нее грязное, черное, как вакса, месиво, в котором вязнут ноги Мигая, вязнет и утопает сам он. Под ногами шуршит мокрая стерня. Дождевые капли обиваются со стерни на ноги, стекают в ботинки. Неприятное чувство сырости в обутих ногах вынуждает его адресовать непосред-

ственно к богу, который всегда в таких случаях является почти единственным его адресатом, крепкое звучное приветствие.

Но кроме его собственных шагов по мокрой стерне ничто больше не нарушает его критического настроения. Зафиксированные недавно памятью звуки человеческих шагов еще остро живут внутренне, но внешне объект их расплылся в мощной ночной необъятности. Напрасно острое зрение пытается проникнуть в пространство: и земля и небо—все вокруг вымазано в черную сажу ночной темноты. Мигай поворачивает и идет обратно. Из далекого уголка памяти встают воспоминания.

Вот он, Мигай Алексей, пятилетний карапуз, силится стать на дыпочки, чтобы посмотреть вокруг,—на ржаное поле, на все, что происходит еще дальше, за высокой золотистой рожью. Но из-за высоких стен ржи ничего не видно. Мать старается в жнитве и не замечает, как малый Алексейка вскарабкивается на старый, мохом покрытый камень. Какие громадные просторы открываются отсюда Алексейке! По солнечному морю бегут друг за другом золотистые ржаные волны. Далеко-далеко рожь сливается с небом. В ней извивается пыльная дорога, и кажется, ложится она дальним концом на край синего неба. И вот будто козявка всползает на дорогу и медленно ползет да ползет, приближаясь. Алексейка уже следит за этой козявкой. А та, по мере того, как он всматривается, все растет и растет и на глазах у него становится человеком. И даже не простым человеком, а человеком в щегольски спитой одежде с блестящими наплечниками—солдатом. Поворачивается Алексейка к матери с криком, что солдат идет, но крик обрывается на полдороге. Не удерживается карапуз на камне и, падая, крепко ударяется носом о сухую землю и царапает о стерню лицо и руки. Исчезает вдруг все: и рожь, и солнце, и лес далекий, и город, и козявка-человек, который с неба, казалось, всполз на дорогу; осталась только одна боль да колючая стерня с крошечными капельками крови, что капает из носа Алексея. И зажатый в горле крик заканчивается обидными солеными слезами. Мать бросает жнитво, жесткими пальцами сдавливает ему нос, чтобы не шла кровь.

«А не будь слишком любопытный. Везде тебе надо все видеть»,—говорит мать и ладонью вытирает на лице его крупные слезы.

Алексейке обидно. Обидно от того, что больно и идет кровь, обидно от того, что мать не знает, какая радость была ему стоять на камне и осматривать окрестности. Тем временем мать отрывается от него и с криком: «А, сынок мой дорогой»—бросается навстречу солдату.

Алексейка вытирает глаза и видит мать, которая плачет от радости на груди у солдата.

«А ты чего плачешь, карапуз?—спрашивает, подходя, солдат.—Э, да ты нос разбил... Ну, ничего, до свадьбы заживет»,—шутит он, берет Алексейку подмышки и начинает высоко подбрасывать вверх.

У Алексейки захлебывается внутри от обиды, от слез, от радости. Тогда солдат опускает его на землю и достает из свертка разные сласти.

— Ну вот, ты уже и не плачешь,—говорит он.

И Алексейка действительно не плачет. Он забыл о своем детском горе, ему снова радостно, снова весело. Он всматривается в солдата и видит на щеке большой красный рубец.

— Что это у тебя на щеке?—спрашивает он.

— А это меня немец, дружок, длинным таким ножом вот так...

Солдат показывает, как немец его ранил большим ножом.

— И ты ему простил?—снова спрашивает Алексейка.

— Там не прощают, дружок. Я его тоже...—скрипнул зубами солдат, и красный рубец на щеке стал еще краснее.

Тем временем подходят соседки, на жнитве—праздничное настроение. Это его, Алексейки, старший брат Андрей, бывший учитель, а теперь офицер, пришел с войны в отпуск.

Но вдруг меркнут праздничные, светлые краски. Черная туча надвигается и все вокруг одевает в серую одежду—праздничных людей, золотистую рожь, синее небо...

Мелькает в воздухе плеть, и кровавый рубец ложится на лицо человека. Человек—председатель сельского комитета бедноты, отец того самого животновода, который

опас из подожженного сарая колхозных коров. У человека крепко сжаты зубы, и ни единого слова, ни единого звука боли или просьбы не пропускают они. Жалость сжимает горло Алексея, и злоба шевелится внутри на эту руку с плетью, а рука в зеленом рукаве офицерского мундира, а мундир со старыми выцветшими погонами, все это—его старшего брата, Андрея. Он служит в русской офицерской банде, которая заодно с белополями, и теперь приехал истязать людей за оружие, которое будто бы попрятали те от белых. Капля за каплей течет кровь по щеке у председателя комитета бедноты. И если бы, кажется, хоть один звук вырвался из сжатых зубов, так было бы легче Алексею. И он прислушивается— не услышит ли...

Вокруг тишина. Серые краски тонут в черной, непроливаемой ночи. Будто мелкий частый дождь смывает последние следы воспоминаний комсомольца-колхозника, допризывника, который шел домой с военных занятий.

Вязкие шаги Алексея разбудили соседнюю собаку, и та отозвалась коротким злым лаем. От этого звонкого лая дрогнула тягучая жидкая темь, задрожала в теплом свете желтоголовых окон, заплакала сиротливо. И будто толпы невиданных теней зашевелились, заползали по земле, окружая со всех сторон Алексея.

Не одна ли из этих теней мелькнула из-под скупого освещенного окна отцовской хаты и наполнила сердце Алексея острым предчувствием?

— Кто здесь?

Задрожала темень, сошлись и разошлись потревоженные тени, выплескивая на свет высокую фигуру широкоплечего человека.

— Я сильно голоден и хотел просить о ночевке.

— Так идем в хату,—сказал Алексей и удивился своей неожиданной сухости.— Не вы ли это впереди меня с поля шли?

— Я пришел оттуда,—указал тот рукой в темноту, и Алексею не видно было—откуда.

Он пропустил незнакомца вперед. Мать сидела при скупом свете висящей лампы и латала старые мешки.

— Добрый вечер,—сказал человек.

При звуке голоса мать испуганно-радостно подняла голову, но, увидев обросшего бородой высокого незнакомого человека вместе с сыном, снова взялась за работу.

— Этот, мать, человек просит переночевать,—сказал Алексей.

— Откуда же он?—спросила мать и, не ожидая ответа, добавила:—пускай переночует, хата просторная.

— Что это за мешки, мать?

— Это хлеб в налог возить надо, а насыпать не во что. Так вот собрали со всего колхоза старых каких-то да роздали бабам, чтобы к утру полатали. Сегодня ночью тоже повезли, и отец поехал—красным обозом завтра сдавать будут. А девки пришли, поужинали и опять ушли. Этой работы теперь хоть отбавляй... К молотилке ушли. За ночь хотят намолотить и навеять—завтра опять повезут.

— Молодцы,—просто сказал Алексей и, прищурив от света глаза, взглянул на незнакомца.

Тот сидел на скамейке и со скрытым любопытством рассматривал хату, будто давным-давно, когда-то видел ее и теперь припоминал, где и что находилось тогда.

Новое бросалось в глаза сразу. Около стены к улице стоял новый сундук, покрытый замысловато вытканной дорожкой. Над сундуком висели часы-ходики. Рядом с ходиками—отрывной календарь. Около второй стены, тоже покрытая, приютилась кабинетная швейная машина. В углу, который спокон веку в крестьянской хате служил убежищем для святых и богов в образе то страшных и злых, то милостивых и всепрощающих седых дедов и молодых красивых женщин в окружении светлых ангелов, в этом углу в колхозной хате висели цветные картины и портреты большевистских вождей, портреты Маркса и Ленина.

Недоумение и растерянность блуждали по лицу незнакомца.

«Было бы неплохо, если бы ты, мать, дала нам поужинать,—наш гость голоден, да и я тоже»,—попросил Алексей. Мать подала ужин и сказала:

— Если бы я знала, сынок, что ты придешь сегодня домой, да еще с человеком, я наварила бы больше.

— Ничего, мать, хватит—и хорошо,—ответил Алексей, приглашая гостя.

Глаза привыкли к свету, и Алексей не жмурился больше, всматриваясь в незнакомца. При близком свете лампы он рассмотрел на лице у него вдоль всей щеки красный шрам рубленой раны. Полуприкрытый негустой черной бородой шрам был не очень заметен, и только во время ужина заметил его Алексей.

— Не от войны ли это у вас на лице след?—спросил Алексей.

Ложка в руке незнакомца повернулась, и щи вылились на стол.

— Нет, это я в детстве упал с забора и рассек о камень,—ответил он и пальцем левой руки машинально провел дорожку от разлитых щей к краю стола.

— Вот так делал и он,—подумал Алексей.

— Ты кушал, что ли, где-нибудь,—что так мало ешь?—проговорила мать, видя, что Алексей сам не ест, а больше угощает незнакомца.

А сын будто не слышал слов матери.

— Я тоже в детстве упал было на поле с камня,—здорово расквасил нос. В то время как раз брат мой пришел с войны в отпуск, едва увял меня... Так у брата тоже был шрам от штыковой раны.

Незнакомец опять пролил щи, а мать глубоко, печально вздохнула:

— Где он, сынок мой дорогой, может давно уже нет в живых.

Тихие слезы полились одна за другой по глубоким морщинам ее щек.

Незнакомец перестал есть. Рука, откладывая ложку, дрожала, и ложка стукнулась о стол.

Алексей поднялся и строго посмотрел на него.

— Мало ли чего бывает в жизни.

И неизвестно кому были сказаны эти слова—незнакомцу или матери.

Никогда ей не давали спокойно выплакать материнских слез и облегчить наболевшее сердце. И теперь, чтобы не видели ее слез, вышла из хаты, сгорбленная под тяжестью мучительных воспоминаний.

Алексей посмотрел на часы, на дверь, на незнакомца, который вытирал свою черную бороду, подошел к нему вплотную и сказал:

— Ни слова при матери... Ты видел, как горе сломило и состарило ее. Тебе, брат, не придется, ночевать сегодня в отцовской хате. По законам и порядку, установленным нами в нашей стране, я должен проводить тебя на заставу.

Рука у того, у второго, оторвалась от бороды и как мертвая упала на колено.

— Не ожидал ты такого конца, безумец, идя в эту сумасшедшую страну, спасти этот безумный народ,— тихо, как бы самому себе проговорил он. И спохватился. Гимнастическим движением военного поднялся из-за стола и застегнул пиджак.

— Ты правду сказал; мне нельзя оставаться здесь. Видно, в последний раз я оставляю эти стены. А я не думал, что узнаешь ты меня, как не узнал бы тебя в лицо и я.

Когда застучала в сенях мать и открылась дверь, Алексей сказал:

— Идем.

— Куда же это вы в ночь идете? Не будете, что ли, ночевать? А ты куда, сынок?—спросила она у Алексея.

— Я пойду, мать, укажу человеку дорогу,—не хочет он оставаться, говорит, пойдет дальше.

— Только скоро приходи, сынок, так я еще посижу.

— Доброй ночи,—сказал старший.

Голос прохожего показался старухе до боли знакомым и близким, и она испуганно уставилась на высокого, бородатого незнакомца. Но тот открыл дверь, и черный зев сеней проглотил обоих. С сильно забившимся сердцем мать кинулась было вслед, а потом—слеза одиноко заблестела на пергаментной ее щеке—усталой походкой старуха вернулась в хату.

А два брата шли уже по улице. Шли они молча, будто каждый хотел разобраться в своих мыслях и чувствах и установить ясность и четкость во всем, хотя и без того обоим было ясно все: одному—безжалостно неотвратимый конец, другому—необходимость этого конца.

Колхозные хаты остались далеко позади. Тогда младший заговорил:

— А спросил тогда, не ты ли это шел впереди меня с поля, не случайно. И лучше всего тебе признаться. На

твоих сапогах и на одежде следы свежей земли. Зачем ты копал эту яму?

— А, ты об этом?—с веселой ноткой в голосе проговорил старший, но в голосе, несмотря на эту нотку, слышалась Алексею мрачная усталость.—Об этом?.. Видишь... Я скажу тебе по секрету... Во время белопольского отступления там было зарыто золото и разные ценные вещи. Этот клад я и хотел сегодня достать.

— Напрасно хотел... Его уже достали,—ответил Алексей, и морозной стужей повеяло от его скурых слов на брата.

Тот вдруг почувствовал, что игра, задуманная им еще там и ради которой, рискуя жизнью, он перешел кордон, что игра эта запутывается и перерастает в опасную игру с огнем.

«Достали...» Как стекло, лопнув, зазвенит коротким обрывистым звоном, так прозвенел и сразу утратил все свои цвета его голос.

— Достали и передали куда следует. Так что тебе лучше сознаться. Правду у нас ценят дорого, помни это.

— Вот оно как,—проговорил старший брат, и слова его, чужие и далекие, звучали приглушенно, будто выходили из тьмы веков.

— Все пропало,—прошептал он, со всей силой сопротивляясь неизбывной звериной тоске, которой наливалось все его большое тело. Он спросил: «А помнишь, как ты упал там, на жнитве, с камня и разбил нос, когда я пришел раненый в отпуск, а я утешал тебя, такого жалкого, всего в слезах и крови, карапуза». Что-то дрогнуло внутри у Алексея. Дрогнуло, но не сломалось. Чутким ухом уловил он шевеленье несметных теней вокруг, почувствовал могильный холод ночной темноты.

— А ты помнишь, как от плети лег на лицо у председателя комитета бедноты кровавый рубец и капля за каплей кровь лилась по щеке... А он молчал... Стиснув зубы, молчал. И вы его потом, избитого, окровавленного, расстреляли в глиняной яме? Ты помнишь это? Я помню хорошо. Недавно его сын, животновод в колхозе, бывший красноармеец, спас из подожженного врагами сарая наших колхозных коров. Память у меня хорошая.

Холодное металлическое шелкание автоматического затвора послышалось при последних словах.

— Иди спать и предоставь мне идти своей дорогой. Алексей мгновенно и остро понял все.

Ответить он не успел. От сильного удара в грудь захватило дыхание. Но вихрем рванулся он вперед и одним размашистым прыжком настиг того.

Роста они были почти одинакового. И если у старшего за плечами было больше выносливости, то у младшего была его молодость, двадцать один год, а в мускулах эластичная упругость допризывника-физкультурника.

И заходила ходуном ночная темень, пустилась в безумную, дикую пляску, подхватив с собой обоих, в силу людских условностей,—братьев. Сплелись в крепком пожатии руки. Ноги танцевали дикий и безжалостный танец, танец жизни и смерти. Но вот две руки разъединились, и младшая нащупала обросшее жесткими сухими волосами горло. Старшая коснулась гладкого металла револьвера. И одновременно с хрипом в волосатом горле прогремел снизу вверх выстрел. Глухое эхо выстрела медленно замерло вдали.

Начальник погранзаставы, объезжая ночью с бойцом свой район, ощутил испуг в поступи лошади. А когда он попробовал коню дать шпоры, тот стал на дыбы и пошел задом. Начальник соскочил с седла и отдал поводья бойцу. Электрическим фонариком осветив дорогу, он увидел две недвижимые человеческие фигуры, руками и ногами сплетенные в смертельной борьбе. Один из людей еще дышал. Оба были отправлены на заставу.

Долго пришлось ожидать матери своего младшего сына. Несколько дней, как в люльке, качался он между жизнью и смертью.

А старшего?.. Старшего она, пожалуй, и не ждала, еще заживо похоронив его значительно раньше.

Еще до призыва крепкий организм младшего вернул его снова в ряды живых и сильных. И перед самым призывом мать пролила последние слезы.

...Назначен он был в пограничные войска и теперь крепко держит границу Дальнего Востока.

Сокращенный перевод *Я. Скригина*

Ц И Ш К А Г А Р Т Н Ы Й

ЖИЛУНОВИЧ



Цишка Гартный (Жилунович) родился в 1887 году в местечке Копыле, на Случчине, в крестьянской семье.

Учиться начал сначала у так называемого «директора», а позже в копыльском двухклассном училище, которое окончил в 1903 году.

Зимой 1904 года начал писать стихи и прозу на русском языке. Через два года поступил учеником в кожевенную мастерскую и в том

же 1906 году пытался поступить в несвижскую учительскую семинарию, но не был принят.

В 1906 году напечатал в белорусской буржуазно-либеральной националистической газете «Наша ніва» первые стихи на белорусском языке, а с января 1907 года начал в ней регулярно сотрудничать. Осенью 1909 года в поисках работы пошел бродяжить по Белоруссии, Украине, теперешней Латвии. За четыре года этого вынужденного путешествия работал в кожевнях Вильно, в Двинске, Риге, Сморгони, Минске, Шавлях.

В 1913 году переехал в Петербург и поступил на завод «Вулкан». В 1913 году вышел первый сборник стихов «Песни».

С 1916 по 1918 год принимал активное участие в белорусском националистическом мелкобуржуазном движении.

Националистические тенденции находят яркое отражение и в его литературном творчестве. После разгрома националистических элементов в Белоруссии Ц. Гартный начинает отходить от старых позиций и делает попытки включиться в строительство социалистической литературы. Ряд его последних произведений свидетельствует о переломе в его творчестве.

Пишет на белорусском языке.

ДОЙДЕМ, СЫНОК!

По обеим сторонам дороги, заросшей мягкой зеленой муравой, тянулось необъятное поле золотистой ржи.

Высокие толстые стебли ее сгибались под тяжестью ядреных колосьев.

Узкие высокие межи, густо поросшие застарелым клевером, засохшей ромашкой и подушечками, разрезали на длинные ленты равнину, казавшуюся сбоку цельной и нераздельной.

Далеко, на целые версты вокруг, охватывал пространство взгляд человека, теряя зеленые нити меж в гуще склонившихся колосьев ржи.

В синем, прозрачном, как стекло, воздухе, в неподвижной и спокойной тишине полудня носился над полотном нив, с несмолкаемым пением, резвые жаворонки. Из густой ржи им вторили крикливые перепела и пугливые коростели.

Где-то там, вдали, с правой стороны дороги, слышалось пение жниц. Знакомые мелодичные звуки песен рождались в нахучих колосьях ржи, качалась над золотым покровом нив и затем затихали в чистом воздухе, в лучах солнца.

Их сменяли новые, еще более певучие, еще более звонкие и радостные звуки.

Уж целых два часа среди стен ржи по ровной дороге шла Маланья Груд со своим шестилетним сыном Михалкой.

Она была утомлена отчасти ходьбой, отчасти тем горем, которое гнало ее по этой дороге в чужую сторону, далекую от родных мест, от знакомых людей, в край, где ждал ее неведомый труд, неведомая жизнь.

За плечами у нее висел защитного цвета мешок, наполненный кое-какими вещами; в одной руке она держала суковатую можжевелевую палку, в другой—ручку своего сынишки Михалки. Мальчик старался бежать рядом с матерью, но невольно отставал, собирая среди ржи разные цветочки. Маланья то-и-дело озиралась назад и подгоняла его. Михалка беспрестанно лепетал, забрасывая мать разными вопросами.

Она нехотя отвечала сыну, и только время от времени сама спрашивала его:

— Может, ты есть хочешь, Михалка?

Но Михалка как будто забыл про еду и говорил совсем о другом.

— Устал, небось, бедненький мой?

И, оглядываясь на сына, она шептала про себя:

«Дойдем ли мы когда-нибудь?»

— Отдохнем, сынок?—сказала Маланья сыну, когда они поровнялись с небольшой, широким полукругом вдававшейся в густую рожь лужайкой.

Мальчик ничего не сказал,—он словно не слышал вопроса, матери.

Тогда Маланья молча свернула с дороги, ступила на лужайку и присела. Михалка стал возле нее. Маланья сняла с плеч мешок, развязала веревочку, достала краюху хлеба и два кусочка сыру, разложила все это на траве и обратилась к мальчику:

— На, ешь, Михалка!

Михалка жадно принялся есть. Маланья, медленно жуя корку, размышляла: «Сколько тут хлеба! Какой урожай в этом году! Нивы, нивы без конца! Спокойная, упоенная зносем рожь улыбается тебе. А там, глядь, и жатва началась... Жнут и поют... А вечером пойдут

домой, счастливые, довольные урожаем... А я? Что я буду жать в этом году?»

Маланья перестала есть; на ее глазах заблестели слезы.

— Нашу полоску сожнут проклятые паны... Сожнут, сожгут или вытопчут... Да не только полоску испортят, и дом-то весь разрушат, сожгут, да, чего доброго, будут еще издеваться над родителями. Эх, поганные, что им нужно от нашего края, от нас?

Последние мысли Маланья высказала вслух.

Михалка, занятый до этого едою, быстро повернулся к матери и спросил:

— Мама, что ты говоришь?

— Наше поле, сыночек, усеянное такой же прекрасной рожью, сожнут польские паны, сожнут и заберут себе. Ты уже, родной мой, не пойдешь с отцом молотить.

Маланья заплакала.

— А где же это наш папа, мамочка?

— В Красной армии, сынок.

— Что он там делает?

— Воюет с панами, сыночек. Прогоняет их, разбойников, с нашей сторонки, не пускает их сюда обижать нас.

— А может он уже дома?

— Нет, миленький, он не вернется домой, пока не прогонит панов. Паны загородили нам дорогу, нужно сломать их загородку.

— А куда мы идем?

— К чужим людям, сыночек, искать себе приюта.

Михалка, должно быть, удовлетворился ответом матери и снова приблизился к цветам, глядевшим ему прямо в глаза.

Замолчала и Маланья, — замолчала и, забыв о хлебе, который она держала в руках, и о голоде, заставившем ее достать этот хлеб из мешочка, снова погрузилась в мысли о том, что так глубоко отразилось на всем ее существо.

Одно за другим вставали перед ней жуткие события недавнего прошлого: приближение поляков к родному местечку, треск выстрелов, грохот пушек, зарево пожаров, общий переполох, а там, дальше, бегство коммунистов

и влорадство хозяев-богатеев... Ясно, точно наяву, вырисовалась перед ней мрачная картина: надвигается темная дождливая ночь; гудит за окнами сердитый ветер, березы стонут, качаясь. Она, Маланья, сидит в избе у стола и с напряженным вниманием пишет письмо мужу, который воюет на фронте с панами. Старики-родители спят, спит и Михалка. В избе тишина. Перо выводит на бумаге неровные строчки. Но внезапно ее сразу оглушает страшный шум. Маланья вздрагивает, как лист осины от бешеного порыва ветра... В окнах звенят стекла... Мгновенно перед нею встают те ужасы панского насилия, о которых ей писал Никифор: вопли, плач матерей, кровь. Она смотрит в окно и видит огромное зарево, — все небо в огне. «Нет, я не останусь дома, нет. Не дам глумиться над собой панам! Убегу, убегу с моим дорогим Михалкой, убегу! Мне не сдобровать, если придут паны...»

Маланья сообщает родителям о своем решении и тотчас же бросается к сыну. Родители начинают уговаривать ее остаться, рыдают, не давая себе отчета в том, что грозит дочери, когда придут паны.

— Останься, доченька, — умоляет ее мать.

Но молодая женщина не слушает их, поспешно будит Михалку, одевает его и, захватив приготовленный на всякий случай мешок, удаляется из дому в темноту ночи. На улице ее подхватывает общий поток беженцев и, как щелчку, несет с собой... Куда? Где остановиться?..

— Мама, идем дальше, мы уже отдохнули, — толкнул мать Михалка.

Маланья вскочила точно после кошмарного сна и огляделась кругом; почувствовав в руке хлеб, она с жадностью откусила кусочек.

— Идем, — настаивал Михалка, первым выбегая на дорогу.

Женщина поднялась, закинула на плечи мешок и пошла за сыном.

Желтые стены ржи снова окружили их со всех сторон.

— Далеко еще итти, мамочка? — спросил Михалка, когда они немного отошли.

— Не далеко, мой дорогой! Дойдем, сынок, крепись!

Перевел К. Пушкаревич

М И Х А С Ъ З А Р Е Ц К И Й
КОСЯНКОВ



Михась Зарецкий (Косьянков) родился в 1901 году в семье сельского псаломщика. Учился в оршанском духовном училище, а затем в могилевской семинарии. В 1917 году, после Февральской революции, оставил семинарию и пошел на самостоятельную работу. Служил конторщиком, учителем, был членом волсполкома и заведующим отделом народного образования и т. д. В конце 1920 года призван в Красную армию.

Литературной работой М. Зарецкий занимается с 1921 года.

За это время изданы следующие его книги:

«У віры жицця» (рассказы),

«Пела вясна» (рассказы),

«Под сонцам» (рассказы),

«Голы звер» (повесть),

«42 докумэнт» (рассказы),

«Сцежкі—дарожкі» (роман),

«На чыгуныл» (рассказы),

«Раковыя жаронцы» (рассказы и пьесы),

«Лісты ад знаёмага» (очерки),

«Вязьмо» (роман),

В переводе на русский язык:

«Раковые жернова» (повести и рассказы).

В переводе на украинский язык:

«Стежки—доріжки» (роман) и

«42 документа» (рассказы).

Пишет на белорусском языке.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

ИЗ РОМАНА «ВЯЗЬМО»

Тимофей Мионович Гвардиан сидит на своем «троне» и маленькой рюмочкой пьет нарзан. Еще от светлейших времен своего пребывания на посту курьера высочайшей комиссии по таким-то и таким-то делам облюбовал Тимофей Мионович этот чудесный, благородный напиток и употребляет его в минуты больших смятений своей чувствительной, деликатной души. Должно быть, из особого своего уважения к этому напитку он называет его не «нарзан», а более громким и романтическим именем—«тарзан» и, глубоко уверенный в его живительной силе, пьет его, как водку, размашисто, молодцевато, и чувствует после него легкое приятное опьянение.

Но сегодня почему-то «тарзан» не действует. Тимофей Мионович выпивает уже пятую или шестую рюмку и чувствует, как чудотворный напиток оседает в желудке холодным, неподвижным грузом, не вызывая внутри никакого тепла. Такой оборот дела Тимофея Мионовича даже пугает, и он с подозрительной внимательностью рассматривает бутылку, ища в ней причины странного явления. Он вспоминает, что эта бутылка откупорена уже с неделю назад, если не больше, что она могла выдохнуться, и после долгих колебаний, приняв во внимание, что сегодня исключительный по своей тревожности день, отваживается на решительный, близкий к са-

мопожертвованию, поступок: не допив начатой бутылки, открыть новую.

Как и всегда, Тимофей Миронович встает со своего трона с нарочитой тяжелой медлительностью, которая, по его мнению, придает человеку особенно солидный вид, но вдруг чувствует, что ему действительно трудно встать с кресла. Тогда он садится и снова встает вторично—уже быстренько, без солидности. Кажется, ничего... Немного успокоившись, он берет недопитую бутылку «тарзана» и направляется к двери в черную половину избы, но по дороге нечаянно взглядывает в большое зеркало в углу и, перепуганный, останавливается.

Из зеркала на него смотрит жалкий, измученный и—что особенно поражает его—перепуганный человек. Голое пергаментное лицо посинело, заострилось и вытянулось не просто в длину, как и следует в подобных случаях человеческому лицу, а наискось, наподобие старой, перегнутой набок лестницы. Все покровилось: острый подбородок хищно смотрел в сторону, тонкие, омертвевшие губы разошлись туго сжатыми уголками—одним вверх, другим вниз, один глаз был значительно меньше другого, и даже костяной шишковатый лоб и тот как будто блестел одной своей шишкой ярче и синее, чем остальными. Лицо было очень некрасивое и страшное. Тимофей Миронович долго всматривался в зеркало с тупым недоумением, пока не остановился разбежавшимися мыслями на успокоительном объяснении:

— Уже вторую ночь глаз не смыкал.

Он тихонько ощупал рукой лицо, как будто хотел поправить его, придать ему обычную форму. Потом попробовал улыбнуться самому себе, и когда усмешка получилась весьма приличная, он почувствовал, что кое-какая сила в нем все-таки есть. Ему страшно захотелось как-нибудь показать эту свою силу—сейчас же, немедленно проверить ее. Вместо того чтобы идти за нарзаном в черную избу, он вернулся назад, осторожно сел в свое пышное кресло и, тихонько откашлявшись, крикнул громко и властно:

— Матрена!

К его большому удивлению, ответа не было. Он знал, что жена дома,—совсем недавно он слышал ее хозяй-

ственную суетню у печи,—и крикнул еще более громко и властно, добавив в голос некоторую дозу законного гнева:

— Матрена!

Опять ни звука.

Тимофей Миронович с минуту сидел неподвижно, с глубоким удивлением и тревогой вслушиваясь в обманчивую тишину.

Неужели он не слышал, как она вышла?

Этого не может быть. Он не мог не слышать. Он скорее мог пропустить мимо ушей звук внезапного выстрела или необычный среди зимы удар грома, чем хотя бы самый тихий скрип дверей. Ведь он уже третьи сутки с нечеловеческой напряженностью ждет этого страшного фатально-неизбежного скрипа. Он ждет его так, как ждет приговоренный к смертной казни зловещего скрежета ржавого тюремного замка.

Тимофей Миронович еще раз, уже не так смело и уверенно, позвал жену и, опять не услышав ответа, порывисто вскочил с кресла и, объятый непонятным страхом, бросился в черную половину избы.

Маленькая, подобная моли, женщина стояла невдалеке от печи, прислонившись худеньким плечом к стене и застыв в живописно-скорбной и потому очень смешной позе. Когда вошел муж, она вздрогнула всем телом, но на него не посмотрела.

Тимофей Миронович грозно встал на пороге.

— Матрена! Ты слышала, как я тебя звал, или нет?

Матрена набралась духу и пропищала с трагической решимостью:

— Слышала...

— Ну?

Он считал, что этого «ну» будет вполне достаточно, чтобы отрезать жену и вернуть ее к прежней покорности, но он ошибся. Маленькая молеподобная женщина не тронулась с места.

Гнев у Тимофея Мироновича смешался с недоумением, и он спросил без особенной злости, даже с заметным колебанием в голосе:

— Матрена! Ты, будучи, слышишь, что я говорю?

Вместо ответа она сделала так, как делали в подобных случаях все героини читанных ею когда-то романов: валомила болезненно руки и, уставивши в печку полные беспресветного отчаяния глаза, громко прошептала:

— О боже! Когда это кончится все?

Тимофей Миронович остолбенел. Он не знал, как дальше вести себя с женой, потому что еще не был уверен, что она спятила. Чтобы не допустить непоправимой ошибки, он все же решил пока что вести себя с ней как с нормальной. Ступив несколько шагов вперед, он выжал из себя чуть слышным пискливым голосом:

— Матрена! Подумай, будучи, что ты делаешь?

И уже более грозно переспросил:

— Что ты делаешь?

Маленькая молеподобная женщина опять затряслась всем своим маленьким телом—и опять не поддалась. Ломая руки и с отчаянием глядя в печь, она охала и стонала:

— О боже! За что эти муки? За что я погубила жизнь свою? За что я погубила свою светлую молодость! Что я видела в этой жизни? Что я имела от этого проклятого богатства, которое выпило всю мою горячую кровь?.. Куда я пойду теперь? Куда я денусь, несчастная? Кто приголубит меня? Выпил кровь мою, высушил меня, убил мою светлую молодость! О боже мой, боже!

Тимофей Миронович переживал страшные минуты. Он понял, что жена не сошла с ума, и это испугало его больше, чем могло бы испугать ее истинное безумие. Тяжело было чувствовать, что он не имеет над ней никакой власти, что он не может даже остановить этих ее жестоких горячих упреков. Весь непоколебимый авторитет его, весь страх, который она испытывала к нему, вся ее трепещущая покорность—все это держалось на непрочном фундаменте его пустого величия, и все это сразу разлетелось, как только пошатнулось гнилое здание его благополучия.

Где же его сила? Где ж воля над этой тихой, вечно послушной женщиной, которая до сих пор не осмеливалась посмотреть ему в глаза, не осмеливалась сказать ему лишнего слова? Неужели он не способен укротить ее, вернуть к прежней покорности?

Ему показалось, что от того, сумеет ли он сейчас с спра-

виться со своей взбунтовавшейся женой, зависит судьба всей его жизни, и он был готов пойти на все, только бы усмирить ее, показать свою силу над ней, свое превосходство. И тут ему вдруг пришла в голову чудесно-простая и ясная мысль: он ведь как бы там ни было — а все же мужчина, он физически сильнее ее, он может стереть в прах эту ничтожную, отвратительную гадину!

И внутренняя власть Тимофея Мироновича, найдя выход, мигом перешла в бешеный порыв. С тонким, пронзительным визгом бросился он в угол, схватил какой-то рожок и замахнулся им на жену.

Но жены в этот момент под рукой не оказалось. Увидев неожиданное и совершенно ясное намерение своего грозного мужа, она выпорхнула из угла и, беспомощно махая руками, как подстреленная, забилась за большой дубовый стол и широко мигала глазами. Однако, заметив, что Тимофей Миронович в нерешительности остановился, сбитый с толку своим промахом, она вернулась опять к своему живописному трагизму. Набрав полной грудью воздух, она с последней решимостью человека, который в отчаянии бросается в пропасть, плеснула об стол руками и, порывисто склонив на них голову, истерически зарыдала.

Тимофей Миронович, видимо приняв во внимание, что лежачего не бьют, прошел мимо нее в хмуром и строгом молчании и демонстративно стукнул дверьми в чистую половину избы. Вслед ему неслось мелодическое рыдание осмелевшей жены, чрез которое пробивались горькие, мучительные слова:

— Боже мой, боже! За что я такая несчастная? Где моя доля, где мое счастье? А я же была молодая, а я же была красивая... В гимназии училась... Где молодость моя? Где моя красота? Кто загубил меня, кто иссушил меня, не дал мне увидеть в жизни ясного солнца? О боже милый! Когда это кончится все?..

Это был первый и последний бунт маленькой женщины против грубой воли сурового мужа. Мало-по-малу рыдания ее затихали, переходя в тихое, жалобное всхлипывание. Наконец она подняла голову от стола, широким жестом приложила ко лбу руку и, прижмурив глаза, как в забыты, прошептала:

— Это — кошмар... честное слово...

В этот момент с чистой половиной слышался привычный, ежедневный, глубоко вросший ей внутрь окрик:

— Матрена!

И трагическая героиня старых полузабытых романов, торопливо оттерев кулачком последние слезы, мелкими шагами побежала к своему мужу — безгранично тихая и покорная.

Тимофей Миронович сидел на своем троне гордый, но милостивый. В руке он, как скипетр, держал впопыхах захваченный из кухни ухват. Он увидел покорность жены и обратился к ней тоном в меру строгим, но таким, который давал понимать, что он простил ее недавнюю глупость и все идет попрежнему:

— Матрена! Принеси мне свежую бутылку тарзана!..

Матрена незаметно вздохнула, но пошла исполнять приказание охотно. Она, как и муж, любила нарзан, хотя никогда не пила его, — она чувствовала к нему какое-то благоговейное уважение.

Удачно разрешенный инцидент с женой и свежий нарзан подкрепили немного Тимофея Мироновича Гвардиана, и он свободно откинулся на спинку своего трона, глубоко вбирая в себя волшебную сладость спасительного покоя. Он до того осмелел, что решился даже — хотя и с затаенным трепетом в сердце — задать себе как будто совсем спокойный, как будто совсем не волнующий вопрос:

— Чего он, собственно, боится?

Задав себе этот вопрос, он надолго в тупом, нарочито напущенном на себя бездумьи застыл перед чертой глухого, смутного страха и долго не решался отвернуть хотя бы малюсенький краешек этой завесы, хотя бы одним глазом заглянуть за нее. Чтобы подготовить себя к страшному зрелищу, он начинал блуждать осторожными мыслями по обходным тропинкам предположений, которые, однако, все равно не давали ни малейшего представления о том, что надвигается на него за дымовой завесой черного страха.

...Отберут лошадь... коров... Всех или не всех?

...Может, наложат какой-нибудь штраф... Сколько?
За что?

...Неужто и зерно тоже возьмут?

...Может быть какой-нибудь большой, непосильный налог?

Тимофей Мионович сам хорошо понимал, что все эти предположения—уютные, но ненужные убежища, в которых до поры до времени прячется его боязливое сознание. Он, правда, знал и то, что большего быть не может—по крайней мере теперь; он приготовил себя к худшему и вместе с тем чувствовал, что страх не в этом, что страх не имеет ничего общего с этими его допущениями—страх идет отдельно, следом за ними, более глубокий, чем они.

Чего же, собственно, бояться?..

Наконец Тимофей Мионович Гвардиан впервые за двое суток своего смятения набрался решимости, чтобы близко, лицом к лицу, подойти к своему неизбежному страху, смело присмотреться к нему, ощупать его руками. Он взялся за край проклятой таинственной завесы и осторожно, с опаской приподнял ее.

За завесой была зияющая несмешливая пустота. Тимофей Мионович догадался, что это просто игра. Выходит, что нечего было и бояться?

Он хорошо знал, что это самообман, что страх его был не напрасный. Ого! Тимофей Мионович Гвардиан не стал бы даром бояться! Но самая мысль о возможной неосновательности страха очень забавляла его, и он, напряженно перегнувшись вперед, как будто у него вдруг закололо в животе, начал смеяться мелким смехом—первым смехом за все время этой страшной суматохи.

Вдоволь насмеявшись, он захотел остановиться и с ужасом убедился, что не может, не в силах этого сделать. Его смех как бы отделился от него, превратился в совершенно самостоятельное существо, которое живет своей отдельной жизнью, имея на эту жизнь какое-то свое, совершенно независимое от Тимофея Мионовича основание. Ведь Тимофею Мионовичу совсем не смешно—наоборот, каждый звук этого дикого смеха обдавал его ледяной волной ужаса.

У Тимофея Мионовича молнией вспыхнула страшная мысль, что он сошел с ума. Эта мысль перешла в уверенность, когда он вдруг заметил, как смех его странно сплелся с густым гомоном невидимой толпы, с целым

хором человеческих голосов, что нивесть откуда налетели и окружили его путаным хороводом.

Откуда этот гомон? Откуда эти голоса?

Ага! Это—оттуда... Подошло уже... Подступило...

Почему же не звякнули щеколдой, а заговорили там, за окном? Он ведь двое суток не спал и не ел—все ждал этого внезапного резкого жгучего звука, он так привык к нему в этом напряженном ожидании, что иначе не мог представить себе первого сигнального звука опасности.

Вместо звяканья щеколды—разговор за окном!

Это уж в самом деле было смешно! Вместо щеколды—заговорили.

И Тимофей Мионович просто лег от веселого неудержимого смеха, который наконец нашел себе такое полное, такое законное оправдание.

...Когда вошли в чистую половину, Тимофей Мионович Гвардиан уже преодолел свой дикий истерический смех. Он стоял перед зеркалом, держа в одной руке бутылку нарзана, а в другой—ухват. Увидев людей, он отошел к окну, осторожно поставил бутылку, потом перешел к своему трону и почему-то водрузил ухват на самое сидение, а затем стал прямо перед людьми и вперил свой ступевший взгляд в одну точку, которая сразу привлекла все его внимание.

Этой точкой было красивое смуглое лицо Андрея Шибенкова.

Всем показалось, что Тимофей Мионович очень спокоен и сдержан, и у иных даже появилось к нему невольное уважение, но это было полное недоразумение: Тимофей Мионович просто остолбенел.

Чем больше смотрел он в загадочно усмехающиеся глаза Андрея Шибенкова, тем все шире и шире раздвигалась перед ним черная завеса страха.

За завесой стояла ни больше, ни меньше, как его собственная гвардиановская жизнь.

Это не были угрызения внезапно проснувшейся совести, это не было позднее раскаянье,—это было более страшное и мучительное: ощущение полной, безвозвратной потери всех неисчислимых дней его будто бы хорошей, сытой жизни. Эти дни грозно восстали на него, порвав дряхлые нити призрачного счастья, которыми он пытался

соединить их в какое-то законное единство, и придушили его невыносимой тяжестью своей зловещей пустоты. Было похоже на то, что человек целый век собирал отовсюду разные материалы—кирпичи, камни, черепки, все, что попадало под руку, все, что где-нибудь плохо лежало, и лепил из них отвратительное, но милое его сердцу здание. А лепил он его не цементом, не известью, а мокрым песочком, который кое-как держался, пока был мокрым. Повеял сильный свежий ветер—и сразу рассыпался обшупенный песочек, и грохнуло все то никчемное сооружение, придавив собой человека.

Торжественно скривившись и ловко прижмурив глаз, читал Потероб протокол. В его напыщенном голосе не было теперь ни злости, ни ненависти, ни даже особенной строгости—одно веселое удовлетворение: он очень любил такие важные, сенсационные дела.

Тимофей Миронович не слышал ни слова из этого протокола. Он неотступно всматривался в торжествующее лицо Андрея Шибенкова—даже не со страхом, а с каким-то странным тупым любопытством. Сквозь черные насмешливые глаза Андрея на него глядела насмешка беспощадной жизни, которая так жестоко, так больно его обманула. Как через стекла перевернутого бинокля, Гвардиан видел неожиданно открытый образ своего благополучия—уродливо маленький, жалкий, собранный в одну плаксиво искривленную гримасу. И все это было так отдельно, так независимо от самого Андрея, от его фатальной враждебности, перед которой столько времени дрожал Тимофей Миронович, что начинало казаться, будто между ними совсем нет никакой вражды, будто все те темные дела были у Тимофея Мироновича с кем-то другим, а Андрей Шибенков просто был случайный, незаинтересованный и даже совсем безучастный свидетель. И теперь он пришел сюда не за тем, чтобы выместить свою старую обиду, а просто так: поинтересоваться, может быть посмеяться немного над его несчастливым приключением.

Тимофею Мироновичу страшно хотелось, чтобы это было именно так, чтобы страшный «злодей» Шибенков забыл свою обиду, и он с придурковатой наивностью обезумевшего от страха преступника попробовал перед ним оправдаться. Когда кончили читать протокол и наступила

минута очень тяжелого молчания, он вдруг заговорил, обращаясь к Шибенкову, смешно кивая головой и для большей убедительности держа перед носом палец.

— Я не вор... Я не украл у вас, будучи, не отобрал... Я не ограбил вас... нет... Я по закону...

Все насторожились в остром любопытстве, все с нетерпением ожидали, как отнесется к этому Шибенков.

Андрей вдруг изменился в лице. Торжествующее самодовольное лицо его искривилось, стало маленьким и некрасивым. Не говоря ни слова, он с грозной медлительностью начал наступать на Гвардиана, пронзая его острым, жутко блестящим взглядом.

Тимофей Миронович, трясаясь, отступал мелкими растерянными шагами в глубину комнаты. Как бы загнипнотизированный страшным взглядом Шибенкова, он не мог оторвать от него своих глаз, широко раскрытых, неподвижных, полных холодного ужаса.

И вышло так, что как раз в этот момент Потероб, вероятно затем, чтобы прекратить эту неприятную сцену, со всем, на какое он был способен, добродушием хлопнул Гвардиана по плечу.

—Эх ты, любочка!

Внезапный удар вошел в гвардианово сознание раньше, чем веселые слова Потероба, и вызвал молниеносно-быстрое жгучее ощущение.

«Бьют»!

И Тимофей Миронович в инстинктивном порыве к самозащите смешным, неуклюжим движением заслонил голову руками и крикнул диким фальцетом:

— Ай-яй!

Это было так неожиданно и так не соответствовало общему настроению, что все, кто был в комнате, разразились веселым смехом.

Андрей Шибенков, тяжело переводя дыхание, повернул назад с нахмуренным видом человека, которому помешали совершить хоть и жестокий, но высоко справедливый поступок.

Тимофей Миронович понял свою ошибку. Ему было бы наверно очень стыдно, если бы не победило в нем другое, более актуальное чувство: гаденькая животная радость счастливого избавления от опасности. И он принуж-

денно смеялся вместе со всеми, посматривал то на одного, то на другого скользким льстивым взглядом.

У него так и осталось это растеряннo-прибитое слащавое выражение. Даже когда он увидел среди людей красное лицо своего брата, даже когда Павлюк, которому, повидимому, очень понравилось эффеkтное выступление Шибенкова, тоже подступил к нему и иао всех сил старался сделать перед ним как можно более страшное выражение (оно никак у него не получалось, потому что он был чрезмерно пьян), даже и тогда Тимофей Миронович Гвардиан не вернулся к своей прежней важности и не прикрикнул, как раньше, с презрением, точно на собаку, а улыбнулся ему и спросил с необычной для него добротой:

— Уже нализался, а? Хе-хе... Выпил себе малость?

Ошеломленный таким оборотом дела, Павлюк долго бурчал себе под нос что-то неясное.

Но был еще один момент, когда Тимофей Миронович Гвардиан стал опять Тимофеем Мироновичем Гвардианом в полном величии своей грозной суровой натуры.

Это было уже на дворе.

Тимофей Миронович вышел из дому с покорностью человека, который охотно делает все, что от него требуют. Снимая с крюка ключи (они всегда висели там в священной неприкосновенности, и никто, кроме хозяина, не осмеливался до них дотронуться), он ласково позвал жену, которая забилась куда-то в тихий уголок:

— Матреша! Пойдем!

И этим словом «Матреша», сказанным чуть ли не впервые за всю их совместную жизнь, он поверг маленькую молеподобную женщину не в меньшее замешательство, чем брата Павлюка.

На дворе были еще люди, целая толпа—они, видно, давно уже собрались тут и с нетерпением ожидали начала интересной процедуры.

Тимофей Миронович этого не ожидал, и, остановившись на крыльце, он минуту всматривался в толпу не то со страхом, не то с удивлением, не то просто с любопытством. И вот тут, может быть в последний раз, пробудился в нем настоящий Тимофей Миронович Гвардиан, суровый хозяин и бывший курьер высочайшей комиссии по таким-то и таким-то делам.

Впереди всей толпы стоял Галилей. Он топал, подмигивал ему хитро и насмешливо.

Тимофей Миронович вздрогнул. Неизвестно, оттого ли, что слишком уж нахально подмигивал Галилей, или может быть просто почувствовал Гвардиан по своей силе человека, но вся его звериная злость, придушенная внешним, рожденным инстинктом самозащиты смирением, поднялась в полной своей естественной силе. Он дико напрягся, руки у него судорожно сжались в кулаки, а хищное лицо окостенело. Сойдя с крыльца, он медленно, как там, в избе, Андрей Шибенков, стал наступать на Галилея.

Старый чужак подпустил его шага на два к себе и сделал смешное, нелепое, совсем не подходящее для взрослого человека: он показал Тимофею Мироновичу язык. И это было так неожиданно, что Гвардиан растерялся и остановился, не зная, что ему делать дальше. Когда он опомнился, там, где стоял Галилей, осталось пустое место.

Дружный, беспощадно-издевательский хохот толпы задушил последнюю вспышку сурового хозяина и бывшего курьера высочайшей комиссии по таким-то и таким-то делам, и он, покорно склонив голову, пошел отпирать свои сараи и амбары.

Я Н К А М А В Р

ФЕДОРОВ



Родился в 1883 году в Либаве. Отец—рабочий, алкоголик. Жена разошлась с ним и перебивалась с сыном на руках прислужкой, прачкой, поденщицей. Потом перебралась на свою родину—гиблую деревушку в Литве. Жили, как «птицы небесные», ходили вдвоем по миру. Случайно попали в сельскую школу с хорошим

учителем. По окончании школы поступил в ремесленное училище в Ковно, где обучался четыре года слесарному ремеслу. Окончил с чином «подмастерья» и поступил на фабрику, но через несколько недель мать определила в учительскую семинарию (в г. Поневеже). За несколько месяцев до окончания поп выгнал из семинарии. В это же время Мавр сблизился с кружком революционеров, которые его перевоспитали. Выдержав экспертизу и экзамен, поступил в сельские учителя. В 1906 г. перевели в Минскую губ., где вскоре Мавр был арестован. Пять лет был под надзором полиции, без службы. Устроился в Минске, в частной школе, и учительствовал до 1930 г. Держал экзамен на учителя повышенного типа. При советской власти учился год в институте и год в университете. Остался беспартийным. С первых дней революции— активная общественная, главным образом профсоюзная работа. Впервые стал печататься в 1923 году—фельетоны в местной газете, в ленинградском журнале. Потом целиком перешел на детскую литературу. В литературном движении до 1932 года не участвовал.

Вышедшие книги:

- «Человек идет!» (2 изд. и перевод на литовском языке),
- «Полесские Робинзоны» (2 изд. и кинофильм),
- «Сын воды» (2 изд.),
- «Повесть грядущих дней» (премирована на конкурсе в 1930 году и переведена на польский язык),
- «Пенло», «Амок» (2 изд. и переведены на украинский и еврейский языки),
- «Слезы тубы» (сборник рассказов, 2 изд.),
- «С. В. Т.» (первая премия на конкурсе в 1934 году).

Пишет на белорусском языке.

С. В. Т.

ОТРЫВОК

А вышло из этого вот что.

Через некоторое время жители стали замечать, что в разных местах города начали появляться ученики, которые совали нос, куда им не следует.

И удивительнее всего, что когда вмешивался в это дело взрослый, то выходило совсем не то, что он думал.

Идет, скажем, уважаемый гражданин по улице и видит, что несколько учеников возятся около почтового ящика, суют туда пальцы.

— Что это вы делаете, а?—кричит он.—Письма тащить? Я вам покажу, хулиганы!

— Да вы посмотрите сначала, что мы делаем!—весело отвечают ему ребята.—Ящик полнехонький, щель раскрыта, и оттуда вылезают письма. Вот мы и приводим в порядок.

Смотрит суровый гражданин им вслед—и удивляется: никогда он не видал, чтобы такие сорванцы да этак поступали. Если бы наоборот: разворотить это или попортить—тогда другое дело, вещь обыкновенная, а тут... Непонятно...

Или же видит милиционер, что двое ребят что-то делают с опрокинутой урной на тротуаре. Как терпеть такое безобразие?

Кинулся к ним, а тут выяснилось, что урна-то уже была опрокинута, а эти ребята ставят ее на место. Милиционеру даже обидно стало: столько лет следит он за порядком, столько раз гонялся он за такими ребятами, которые или урну опрокинут или какую-нибудь пакость другую сделают, а тут—наоборот! Неслыханные дела.

Однажды дело приняло очень серьезный оборот. Идут трое таких молодцов по улице и слышат: страшный треск над головой, искры. Взглянули вверх—над ними дерево качается от ветра. И вот ветка дотронулась до электрического провода и снова затрещала.

— Есть очко!—крикнули ребята.—Давайте отломаем ветку.

И мигом двое из них очутились на дереве. Цепляются за сук, ветви наклоняются, ребята дотрагиваются до провода, а искры трещат и сыплются...

Возмутились прохожие, выскочили соседи. Это уже слишком. Среди белого дня, в публичном месте да этакое хулиганство! Вот еще и сломанная ветка упала на головы.

— В участок их отправить!—слышатся голоса.

Стали ребята объяснять—люди и слушать не хотят. Вот положение! И когда наконец с величайшим трудом удалось растолковать, в чем дело, то публика даже растерялась. Вот чудо! Что за странные ребята!

И так на каждом шагу. Все привыкли, что дети, даже без злого умысла, шая, сплошь и рядом делают вред, что за ними надо следить в оба и так далее, а тут выходит совсем наоборот.

По городу пошли слухи, что откуда-то появились какие-то удивительные дети, которые, где ни повернутся, тотчас же сделают что-нибудь хорошее, полезное.

— Стоим мы раз под вечер на трамвайной остановке,—рассказывала одна женщина,—ожидаем трамвая, ходим взад и вперед. Вот уже и трамвай подходит. Вдруг откуда-то бросается к рельсам девочка, за ней мальчик. «Есть»,—кричит девочка и тянет с рельс довольно толстый кусок железа. А мальчик почесал затылок и говорит: «Опоздал!» Если бы трамвай наехал на это желево, была бы беда, а из нас никто этого и не заметил.

— Наблюдается,—заметил другой человек,—что подобные случаи стали появляться только в последнее время.

Говорят, что это идет из одиннадцатой школы, что там какие-то савэтэтовцы завелись. Эх, кабы побольше таких.

А фактов таких набиралось все больше и больше. Раз на сквере какой-то мальчишка вскочил на клумбу и вывернул ногами несколько корней цветов.

Кто-то из публики, сидевшей на скамейках, крикнул: — Куда лезешь? Цветы портить?

Мальчуган побежал дальше.

Вдруг к клумбе подходит девочка, старательно сажает назад цветы и выравнивает узор.

На скамейках послышались возгласы одобрения, удивления, кто-то даже захлопал руками. Девочка сконфузилась и убежала.

В клубах, в кино тоже стали происходить подобные случаи. Один из них произвел такое впечатление на заведующего клубом, что он на разных собраниях рассказывал об этом.

— Я всегда беспокоюсь, — говорил он, — когда приходят ученики. Не было ни одного случая, чтобы они не оставили какого-нибудь следа: то воду разольют, то окна разобьют, то стул опрокинут, если не сломают. Вижу я однажды, что двое ребят стучатся у окна, стекло дребезжит, вот-вот разобьется. Разозлился я, кинулся к ним, — и что же вы думаете? Они поправляют окно! Видите ли, замазка отвалилась, гвоздь вырвался, и стекло еле держалось. Вот они взяли, да и закрепили его гвоздем. «Кто вам сказал?» — спрашиваю. — «Да никто, мы сами». — «Почему?» — «Да оно сейчас же вывалилось бы», — отвечают. Подумайте только, какой глаз, какая заботливость.

Один случай даже в газету попал.

Неизвестно как, — то ли по небрежности рабочих, то ли хулиган какой нарочно сделал, — но в воротах, что вели в сквер, торчал сбоку гвоздь. И этот гвоздь наделал беды больше, чем все гвозди в городе, вместе взятые.

Каждый день происходили тут трагические события.

Один рабочий поцарапал себе руку до крови. Взглянул на руку, оглянулся на гвоздь, выругался и пошел дальше.

Через некоторое время женщина зацепила за гвоздь вязаным платком. Платок сорвался с головы и остался свади. Оглянулась женщина, а за спиной молодой чело-

век улыбаются. Женщина подумала, что это он пошутил, возмутилась, стала на него кричать.

Тут выяснилось, что молодой человек не при чем. Вокруг начали смеяться. Женщина сконфузилась и постаралась быстро удалиться.

Потом послышался такой пронзительный крик, что публика кинулась сюда со всех сторон. Это кричала толстая гражданка в черном шелковом пальто. А в этом черном пальто была большая белая дыра...

Публика глубоко приняла к сердцу это несчастье:

— Такая потеря!

— И пальто новое.

— Чего начальство смотрит?

— Это безобразие!

— В РКИ надо!

— Сколько людей пострадать может!

— Даже такой мелочи исправить не могут...

Одним словом, сочувствие было всеобщее. Ни одного голоса не было против. Но гражданка почему-то не успокоилась и в слезах пошла дальше.

На некоторое время наступило затишье, если не считать мальчика, поцарапавшего руку, и военного, который зацепился за гвоздь без особенного вреда для себя.

Буря возникла снова, когда на гвоздь с разгону налетел гражданин в шляпе. В его пальто образовалась дыра побольше, чем у той гражданки.

Но он не плакал. Он поставил вопрос совсем иначе, по-деловому:

— Граждане! Будьте свидетелями, что я порвал новое пальто об этот гвоздь. Я подам в суд на горсовет. Товарищ милиционер, будьте добры констатировать.

Подошел милиционер и начал констатировать. Для этого прежде всего надо было обследовать виновника преступления—гвоздь. Подошли к нему, а там двое каких-то мальчат ударом камня загнули и обезвредили гвоздь...

— Кто вас просил?—накинулся на них разозленный гражданин.

Вокруг раздался хохот.

...Описание этого случая, как мы уже говорили, попало в газету, и кончалось оно следующими словами:

«Если бы в нашем городе нашелся хоть один человек такой, как эти ребята, человек, который раньше увидел этот гвоздь и сделал бы то же, что эти мальчуганы, — сколько пользы он принес бы обществу. Но, к сожалению, такого человека не нашлось»...

Мы, конечно, знаем, что все эти таинственные ребята — члены Союза воинствующих техников. Только они одни могли везде совать свой нос, видеть то, чего другие не видят, и удивлять свет своими «необыкновенными» делами.

Посторонний человек, видя их на улице, никогда не подумал бы, что перед ним не обыкновенные ребята, а саветатовцы. Вид их был самый обыкновенный, и шли они обыкновенно, и баловались обыкновенно. Так же толкались и хохотали, как все ребята, и ссорились так же.

Но как только попадалась где какая неполадка: будь то отставшая доска в заборе, или разбитая бутылка под ногами, или камень на дороге, — ребята сразу же накидывались и наводили порядок. А потом начинались какие-то странные, непонятные для постороннего человека разговоры и даже споры.

— Есть очко!

— Это не считается.

— Помни параграф пятый: все считается!

— Я первый увидел!

— Нет, я!

— Засчитать за обоими...

— Сегодня пять поймал...

А если увидят, например, что вода льется из попорченного водопровода, то стучатся, отчаянно лезут в дом и не отстанут до тех пор, пока не доберутся до дворника, коменданта.

И чаще всего среди этих ребят замечали Борю Цыбука.

— Сколько же ты имеешь очков? — с завистью спрашивали товарищи.

— Сто восемьдесят шесть! — с гордостью отвечал Цыбук.

— Так ты с самого начала, — говорил новичок.

— Надо было и тебе с самого начала, — строго отвечал Цыбук.

Кончились занятия в школе, пришли летние каникулы. Школьники разошлись и разъехались в разные стороны. Рассыпалась и единая армия СВТ. Только один отряд сохранился как боевая единица,—это те, кто поехал в пионерский лагерь.

Некоторые из оставшихся сохранили связь и составили партизанские группы из двух-трех человек, а остальные на протяжении двух месяцев совсем никакой связи не имели и оставались одиночками.

В числе их был Цыбук. Он проводил лето в МТС, где его брат был трактористом.

Боря Цыбук, как мы знаем, набрал очков больше всех. Он не прочь был и еще немного подработать, но здесь он был один, и никто не мог вести учет его очкам, кроме него самого. Ну, а кто поверит, что он насобирает, скажем, двести семьдесят девять очков? Как доказать это? Дома, если и случится, так можно проверить. Когда он однажды принес сразу девятнадцать очков, то никто не хотел верить, даже смеяться начали. Ну, а когда проверили, то все они остались с носом. А тут как проверить?

Положим, на какой-нибудь десяток очков он мог бы достать документы. Ну, а на двести семьдесят девять — документов не соберешь, и они пропадут даром. А кто же станет даром работать? Гнаться же за десятком не стоит, когда за один день девятнадцать выгонял. А здесь так можно было бы и сто выгнать. Потому что конкурентов нет. Там на какой-нибудь несчастный окурок сто человек зубы точат. А тут и дохлая собака от тебя не убежит.

Правда, эту дохлую собаку Цыбук закопал, но так себе, без всякой пользы, чтобы только не смердило. Он даже не жалеет этого очка. Но ведь кроме дохлых собак есть еще масса других вещей, которые не смердят. Неужели все это даром делать?

И так уже у него даром пропало четыре очка: он выкинул большой камень из борозды на огороде, связал два распатанных кола в заборе, вырвал большой куст крапивы на дорожке, где проходили босые люди и, наконец, привязал к колу маленькую яблоньку, которая очень уж жалко гнулась от ветра. Все это он сделал так себе, потому что само попало на глаза и пришлось, чтобы это

сделать. Пусть уж четыре очка пропадают, если не считать собаку. Но это совсем не значит, что все надо даром делать.

Он ходил, глядел, интересовался, как работают машины, как их ремонтируют, как идут разные другие сельскохозяйственные работы, очень часто помогал, но делал это как обыкновенный советский гражданин, а не член СВТ, и ничего такого не выискивал, не «стрелял». Собственно говоря, и тут случались такие вещи, которые фактически являлись очками и которые по справедливости следовало бы засчитать. Но что ты поделаешь, когда учета нет? Неужели требовать документ, что вот, мол, он, Борис Цыбук, заметил, как маленький ребенок сыпанул в маслодку песку и из этой маслодки хотели уже смазывать машину, а он, Борис Цыбук, предупредил? Даже стыдно просить такой документ, а тем временем очко пропало.

Да мало ли таких очков? Вот, например, недавно за околицей он заметил дыру в мосту. Дыра небольшая, круглая и совсем не мешает машинам ходить. А вот конь однажды чуть ногу не сломал. Цыбук сам видел это. Выругался колхозник и поехал себе дальше. Не ждать же, пока другой конь совсем сломает ногу. Ну, Цыбук взял да и забил эту дыру. Знатное очко было — на ять. Но опять-таки пропало ни за что, ни про что. Даже никто не знал об этом.

И так на каждом шагу. Даже обидно становится. Кажется, и не смотришь и не думаешь, а оно как нарочно само так и лезет в глаза. Можно, конечно, и пройти мимо, не делать. Но как ты будешь спокойно смотреть, если на сеновале в крыше дыра светится над самым сеном? Хоть и маленькая и никто ее не видит, но осенью, например, немало воды через нее может попасть на сено. Если пропало шестьдесят ^дочков, пусть уж пропадает и шестьдесят первое.

Или взять урожай. Караулят рожь среди поля (да и караулят-то как), а не видят, что делается возле реки. Каждый член СВТ сразу заметил бы, что натрясено на самом берегу. Значит кто-то тихонько подъезжает на лодке и тянет с берега. Каждый савэтэтовец догадался бы осмотреть все лодки, нет ли там следов зерна. А тут

никто не догадался, пока сам Цыбук не нашел. Ну, отсюда уже добрались до подкулачника Кухальского.

Об этом факте так заговорили вокруг, так стали хвалить Цыбука, что на этот раз он отважился попросить:

— А дадите мне бумажку, что это очко я сделал?

— Какое очко? При чем тут очко? Что за очко?

Цыбук вынужден был растолковать, в чем дело. Ну, и смеялись же люди! Но таким смехом, который каждый хотел бы слышать.

Зато результат получился такой, какого Цыбук и во сне не мог бы увидеть. Выступил комсомолец Корнейчик и сказал:

— От имени комсомольской ячейки обещаем тебе выдать удостоверение не только на это «очко», но и на все, какие только у тебя будут. Валяй, брат, дальше. И еще сделай одно большое очко, которое мы посчитаем за все сто: организуй СВТ среди наших ребят.

...После каникул Цыбук представил в главный штаб Союза воинствующих техников громаднейший реестр с официальными подписями и печатью. В этом реестре были перечислены двести девяносто семь очков, включая и куст крапивы.

Перевел автор

ЭДУАРД САМУИЛЕНКО



Родился в 1907 году в Ленинграде. Отец—швейцар, покинувший затем город для сельского хозяйства. С 1918 года в деревне. Работал в хозяйстве отца до призыва в РККА, что было осенью 1929 года.

Образование получил низшее (три группы городской началь-

ной школы). Знания, полученные в дальнейшем, являются результатом самообразования.

Беспартийный. До последнего времени работал в газете. Газетный стаж—3 года. Ранее (после демобилизации) работал в хозяйственных организациях.

Литературную работу начал в 1925 году, еще в деревне. Впервые напечатал стихотворение в 1928 году, три года употребив на литературную учебу. Ни в какой литературной организации до сих пор не состоял.

Напечатано:

около десятка стихотворений,

такое же количество рассказов,

две повести: «Теория Каленбрун» и «Охотничье счастье».

Первая вышла отдельным изданием в текущем году, вторая сдана в печать в сборник рассказов.

Пишет на белорусском языке.

ОХОТНИЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Летом здесь тень от глухих зарослей лозняка, крушины, ольхи. Мочит гибкие ветви лозняк; ползет к воде, вытягивая свои побеги, хмель. От того, что на обоих крутых, обрывистых берегах непроходимая чаща и сплошное сплетение зелени, вода в реке холодная, кажется зеленой, река не пересыхает, и целое лето здесь можно ловить щук. Ияредка попадают сюда и брюхатые пудовые сомы, ползут по самому дну, заваливаются в глубь омутов и лежат там под корягами, нагуливая на привольи жир. Головель, лещ, окунь тут крупный, откормленный.

Берега реки обрывистые, скользкие, опасные, река глубокая, вода зеленая, чаща непроходимая. И потому тут много рыбы, что человеку трудно приступить к воде. Нельзя вытаскивать на берега невод, неловко управлять с удочками. Только один Лаврен из колхоза «Искра социализма» чувствовал себя хозяином на этом участке реки. Но про него окрестные рыбаки говорили так:

«Лаврен—водяной чорт. Он вам на оловянную пуговицу щуку поймает».

В рыболовстве Лаврен стоял вне конкуренции. И не только летом хозяйничал он в речных зарослях, но и зимой часто навещал он реку, с той только разницей, что вместо удочки или остроги держал в руках ружье. Это была одностволка, переделанная из допотопного кремневого ружья.

Ствол у нее был длинный, граненый. Этим ружьем Лаврен не был особенно доволен, и о качествах его он рассказывал следующую историю:

— Шел я на рассвете по руслу реки. Да. Солнце еще далеко, туман по земле ходит... Гляжу—сидит под кустом заяц, глаза выпучил. Да. Я, значит, ружье с плеча. Сидит... Я, значит, приложился... Сидит. Ну, думаю, что делать? Близко очень, одна сопля от зайца останется. Ну, думаю, с края возьму, деликатно. К-а-ак смазал! Только снег столбом вверх, как от бомбы. Подхожу, смотрю: голова прочь, ноги прочь, кишки вон, и тут тебе и все... Я бы эту фюзью давно б сменял или продал бы, да вот, видите, капиталов не хватает. Это старая кочерга, давняя. Тогда, видно, и зверь был большой, и народ, видно, сильный был, что мог из такой штуки стрелять беспрерывно. Как даст другой раз в плечо—с ног долой сбивает. И заяц кверху ногами и ты кверху ногами. Катерининский самопал... Одним концом на волка, другим—на стрелка...

Техническая сторона хромала у Лаврена. А охотником он был хорошим.

Зимой река имеет иной вид. Ее наглухо забивает снегом. Целые сугробы снега лежат на кустах, свешиваются с береговых обрывов. Снег всюду белый, сыпучий, небо, такое же молочно-белое, плотно ложится на края берегов. И если человек попадает в долину реки, ему кажется, что попал он в какой-то иной мир, на другую планету, где белизна вверху и внизу и торжественное молчание зимы.

Но в этом белом мире есть интересная, на первый взгляд незаметная жизнь. Сюда приходит зверь. Тут шныряют хорьки, горностаи, несуразные зайцы, крадутся лисицы, тут много всякого мелкого зверя, и даже временами попадает в русло реки рассудительный волк. И даже не один, а более их приходит искать в зарослях поживы.

И вот с ружьем в руках бредет Лаврен, разгадывая следы.

Он видит:

Приходили ночью поживиться горькой крушиной осторожные зайцы. Они поднимались на задние лапки, стояли столбиками, грызли мерзлую кору, перебежали из куста

в куст, ныряя под снежные шапки сугробов, и оставляли за собою несуразный след: если смотреть на него, кажется, что шел зверек на пяти лапках.

Немного в сторону от следа зайца лег четкий, ровный след: лапа за лапой. Это подкрадывалась к зайцам лиса. Она балансировала пушистым хвостом, подготавливая пружинный скачок, все ее тело было вытянуто и подобрано. Вот тут она стояла, возможно, десятки минут, ожидая того, пока восхищенный вкусом коры серый комок неосторожно подкатится ближе. Отсюда—скачок. Дальше идет путаница заячьих и лисьих следов, и вот на повороте реки—развязка. О ней свидетельствуют красно-бурое пятно на снегу и редкие кусочки серого пуха.

Все видит Лаврен. И на все по-своему реагирует. Он проверяет капканы около хорьих и горностаевых нор, наклоняется и осторожно издали осматривает капкан, подготовленный для лисы. Капкан уже засыпан снегом. Он осматривает следы куропадок и соображает про себя, угадывая место, где они должны сейчас находиться. На месте гибели зайца он долго стоит, осматривает красно-бурое пятно, качает головой и вполголоса ругает лису.

У Лаврена своеобразные методы охоты в речной долине. Он зовет собаку и направляет ее на след только в том случае, если зверь выбрался из речных зарослей. Лаврен всегда приносит с охоты зайцев, птицу, попадают Лаврену в руки и лиса, и хорь, и горностаи.

Лаврен—старый и опытный охотник. Приходилось ему убивать всякого зверя. Но все-таки не был доволен Лаврен. Он ждал некоего необычного охотничьего счастья. Об этом он так и говорил:

— Каждый ловец должен иметь свое счастье. Костя Цыбук в четырнадцатом году медведя убил. Кто медведя у нас видел? Нет такого человека в нашей околице, мелколесье у нас. От дедов только сказки про медведей слышим. А Косте медведя поднесло. Человеку счастье в руки. Апанас, которого зовут Кувшином, в прошлом году рысь убил. Лесник Ефрем сколько куниц и выдр добыл! Вот она удача! А я зайцев этих тысячу, видно, передалил не одну, лисы там изредка попадали, барсуков копал, волка иногда удавалось взять—и все. Одна мелочь. Правда, вепря подбил еще смолоду. Да и тогда горя натерпелся,

что и не рад был. С панским объездчиком чуть до суда не дошло. Доказывал, что из-под его ружья вепря взял. Хорошо, свои ребята поддержали, отвели беду... Разве же это удача? В дырявом коробе, видать, родился я...

Но случилось вот что.

Однажды морозным утром брел Лаврен по сыпучему снегу, на широких лыжах-снегоступах. Вставало солнце, пылала пурпурная заря, ее розовый блеск лежал на краях береговых обрывов и на буграх обметенных сугробов. Только на самом дне русла, где брел Лаврен, снег был сине-стальной, и таким же был косматый иней на кустах.

Мороз был крепок. Казалось, в воздухе проносятся его прозрачные иглы и больно колют лицо. Лаврен замерз и без особенного удовольствия вынул из капкана застывший трустик хоря. Зверек был удушен стальной хваткой капкана. В последнем капкане Лаврен также нашел хоря.

— Ничего себе! Посмотреть лисий капкан, что ли?

И решил итти дальше. Там, на повороте руки, под кустом, старательно замаскированный, ждет зверя лучший капкан Лаврена. Лаврен направился туда. И не доходя с десятков шагов, остановился, как вкопанный, сбросив ружье с плеча.

Шевельнулось сердце...

В капкане сидела лиса. Пепельно-рыжий зверь, пушистый и красивый, простерся на снегу мягким беспомощным комом. Взведя курок, Лаврен подошел ближе, но вскоре увидел, что зверь мертв. Лиса брала приманку, и челюсти капкана сомкнулись, сжав ей горло. Лису встретила судьба хорей.

Лаврен забыл о морозе. Он хлопотал над капканом, не чувствуя того, что к железу приклеиваются пальцы и знобящий холод печет их. Наконец зверь был освобожден, и Лаврен встряхнул его на вытянутой руке.

— Серебрянка! Удача!

Действительно по хребту зверя тянулась широкая голубовато-серебряная лента и тонкою ниткой терялась в пушистом хвосте. В своем превосходном зимнем уборе зверь был пышен.

— Удача!—повторил Лаврен и начал связывать лисьи лапы для того, чтобы удобнее было нести. Он наклонился

над зверем и случайно бросил короткий взгляд под куст. Взглянул—и так и остался стоять, всматриваясь. Под кустом была нора. Небольшая, она зияла тьмой подземелья, слабо замаскированная хворостом. Но не нора привлекала внимание Лаврена. Он смотрел на необычный след, на целую дорожку, которую вытоптал зверь.

— Гусиная лапка!—прошептал Лаврен.

След действительно был похож на гусиную лапку.

— Матёрая!—вздыхнул Лаврен,—как же это я не увидел!

Долго стоял под кустом Лаврен, долго обдумывал. Потом, внимательно осматривая берега реки, пошел дальше. Он не обошел внимательным взглядом ни одной норы, ни одного следа, ни одной черты на снегу, ни одной щели во льду. Так прошел он около километра и так же медленно вернулся назад. Потом он направился обратно, дошел до самых колхозных огородов и снова вернулся назад. И тут Лаврен сделал вывод:

— Не иначе—нет у нее больше выхода.

В путанице больших и малых следов, в ямах под обрывами, в чаще кустов не было следа, похожего на этот. Зверь выходил на небольшое расстояние; пробирался вдоль берега, прячась под навесом кустов, нырял в полынью у омута и таким же путем возвращался назад.

Из этого Лаврен сделал свой вывод.

Женщины мыли белье на реке. Мимо них прошел Лаврен. Он направлялся куда-то вдоль реки, держа под мышкой отесанное березовое полено. Конец полена был окружен тряпкой. Одна из женщин крикнула вслед Лаврену:

— Куда ты, дядя Лаврен, пошел!

Лаврен показал полено и сердито проворчал:

— Ты, сорока, не лезь, куда не нужно. Вот что! Человек тебя не трогает, и ты человека не трогай!

И пошел, прибавляя шаг.

.....

Гудят, баба, мои кости,—сказал Лаврен, лежа на печи. Теплоота в мои остывшие кости ударяет. Приятно как-то. А кости гудят... Стар я стал... Вот что, брат Фекла. .

Фекла не отвечала.

— Засеклась на конюшне гнедая кобылка,—продолжал Лаврен.—А буланый, чтоб ему сдохнуть, как хватил по шее мышастому жеребенку, чуть не до кости развернул.

Лаврен задремал.

... Ветер идет руслом реки. Колышется мерзлая шетина кустов, отряхает снег... Шелестит метель над полем... Воеет ветер в кустах. Лаврен, засыпанный снегом, не оставляет своего места. Сидеть хорошо, тепло разливается по телу. Облако снега, поднятого ветром, проносится как дым в глазах Лаврена. Месяц изредка светлым пятном проступает вверху и исчезает.

Лаврен смотрит под куст. Он видит, как из-под него выползает и ящерицей крадется выдра. Выдра не останавливается, как ранее предполагал Лаврен. Она идет просто на него. Это даже лучше. Лаврен поднимает ружье, прицеливается. Палец нажимает спуск... Осечка! (пистоны за пазухой, некогда доставать). Снова взведен курок... Снова осечка!

— Ох, чтобы ты сторела... Ах, чтоб тебе...

Лаврен дрожащими пальцами, лихорадочно, спеша отстегивает пуговицы армяка.

Может быть—успею!

Выдра замирает как раз против Лаврена. Это чрезвычайно большая выдра. Сквозь туманы снега Лаврен узнает ее круглую морду с жесткими усами. Выдра неизвестно чего ждет. Этого только и нужно Лаврену. Он уже насаживает пистон на наковальню. Сейчас! Сейчас!

— Здравствуйте!—говорит кто-то.

Выдра исчезает одним скачком, прежде чем Лаврен успевает стрелять. Все кончено. Только колыхнутся туманы снега, и качается гибкий лозняк.

— А где же тут Лаврен?—спрашивает тот же голос.

Дикая злоба закипает в груди Лаврена. Кого это принесло! Кому это Лаврен понадобился ночью? Какое тут, к чорту, «здравствуйте!».

Тот же голос бормочет что-то вновь. Лаврен хватается за ружье. Ружья нет. Плывут снежные туманы, раздвигаются, расходятся, тают.

Проступает белое пятно окна.

В хате разговаривают.

.....

Вечером Лаврен стал собираться. Он дежурил у норы выдры уже двенадцатую ночь. Открылись двери, и в облаке морозного пара появился предколхоза Василь.

— Здравствуйте, дядя Лаврен,—сказал он, подходя к столу.—Обувайтесь теплее, на гумне холодновато.

Василь присел против Лаврена на маленькую скамейку. Лаврен посмотрел на него.

— А чего я не видел на гумне?—спросил он строго.

— Льна ты еще не видел. Лён нужно трепать, заготовки затачиваем, в колхозе объявлен штурм, все старые и малые на работу стали. Ты у нас ударник и по льну спец. Тебе там первое место.

— Не пойду.

— Значит, в срывщики записался, в кулацкую агентуру?

— Как это так в кулацкую агентуру?—встал Лаврен.—Что это ты говоришь? А? Кто коней на ноги поставил? Кто вороного жеребца вырастил? Кто из сада прибыль добыл? Не я ли это, как говорится, и с сохой и с косой всюду первым был? А мне как нужно охотничий план выполнить, так и ночью покоя не дают?

— Как обработаем лён—хоть две недели и день и ночь ходи.

— А мне теперь нужно!—

— А теперь нельзя. Все равно не убьешь выдру!

Лаврен толкнул ногой кота, который терся о валенок, и вышел на середину хаты.

— Не убью, говоришь, выдру?—переспросил он.—Не убью? Увидим.

— Весь свой авторитет в колхозе испортишь,—сказал Василь.—Мы тебя тоже за разложение дисциплины по голове не погладим. Дело серьезное.

Лаврен схватил ружье и вышел из хаты.

.....

С самого утра в колхозе грохотали льномялки. До этого всю ночь дымились сушилки. Начался штурм. Работали все, кто только мог работать.

Лаврен долго стоял на пороге конюшни, прислушиваясь к тому, что делается на гумнах. Злоба таяла. Взамен ее рождалось чувство вины перед Василем, перед бригадами, перед всем колхозом. Там работают люди. Там нуж-

ны рабочие руки. Мало в колхозе таких специалистов по льну, как Лаврен. А он отказался от работы. Что скажут колхозники? Что было бы, если бы теперь все колхозники пошли на охоту?

— Не все пошли, я один пошел—утешал себя Лаврен.— Такое дело случилось. Обойдутся и без меня. Что я один на весь свет работник, что ли? Я уже стар, мне уже впору и на печи полежать.

Но этот довод утешал мало. Еще там, в зарослях, чувствовал себя Лаврен как-то неловко. Что-то беспокойное шевелилось в глубине его существа. Теперь это переросло в чувство простой необходимости идти на гумно, стать за стойку и показать молодежи, как нужно по-настоящему трепать лён. Чувство вины росло. То, чем жил Лаврен за последние дни, теряло свою привлекательность, отступало прочь, и Лаврен уже с усилием выискивал оправдательные доводы. Их не было.

— Не убью, говоришь?—бормотал Лаврен.—Ах, ты ж сопляк!—Но и воспоминание об обиде не могло раззадорить Лаврена, и невозможно было почерпнуть, найти в этом нужную уверенность в своей правоте.

Грохотали льномялки на гумнах. Многочисленные голоса раздавались там.

Чувство оторванности, одиночества и пустоты все больше захватывало Лаврена. Казалось ему, что и руки у него лишние, пустые руки, ненужно болтаются вдоль туловища. Пустым Лаврен стал. И без него теперь ударно работает колхоз.

.....

До самого вечера лежал Лаврен, глядя прямо перед собой; и даже сон не шел к нему. Когда уже стемнело, пришла с работы Фекла. Лаврен встал и начал одеваться.

— Приготовь мне, Фекла, чего-нибудь поесть,—сказал он.—Сегодня на ночь пойду трепать лён.

— Ну, вот и хорошо,—обрадовалась старуха.—Давно бы так.

Но Лаврен сердито глянул из-под седых насушенных бровей:

— Не твоего ума дело!—и вышел из хаты.

.....

Под пушистыми шапками сугробов наклоняется гибкий лозняк. Иссиня-белый снег лежит всюду, и только чистое черное небо оттеняет линии береговых обрывов.

Лаврен поднял голову и посмотрел вверх. Звезды теснились на недоступной высоте. Морозной будет ночь!

Лаврен наклонился и вытащил полено из норы.

— Живи, — сказал он задумчиво. — Живи, брат выдра, раз такое дело вышло!

И пошел прочь по сыпучему глубокому снегу.

Полено, которым заткнута была нора, он положил в аккуратную четвертушку дров у себя на дворе.

Перевел автор

БОРИС МИКУЛИЧ



Родился в 1912 году. Отец—медик. Рано потеряв родителей, начал работать сначала в библиотеках, а позже в редакциях газет.

Первый рассказ напечатан в 1927 году в журнале «Молодняк», серьезную же литературную и политическую учебу начал в 1929/30 году. С этого времени участвует в литературном движении, интенсивно печатается.

Издано:

«Удар» (рассказы)—1931 г.,

«Черная вирния» (новеллы)—1931 г.,

«Наша сонца» (повесть)—1932 г.,

«Украіна» (повесть)—1932 г.,

«Рот фронт» (пьеса)—1933 г.,

«Дужасць» (роман)—1934 г. и

ряд других рассказов, очерков и статей.

Работает в газете «Літатура і мастацтво» («Литература и искусство»).

Комсомолец.

Пишет на белорусском языке.

МАССОВКА

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «МОЩЬ»

Зеленый авто мягко шел по шоссе. Раннее солнце сияло спектром в отполированном кузове его. Машина обгоняла подводы, лавировала между грузовиками, издавая короткие сигналы.

За рулем сидел Кравченко. Он на ходу разговаривал со своими седоками и беспрерывно шутил. Седоков было трое: Далматов, Тася и самый беспокойный и такой же, как и Кравченко, довольный утром и своим существованием, Славка. Он ерзал на тасиных коленях, задавал массу самых неожиданных вопросов, дружески говорил Далматову «ты» и торопил Кравченко. Не только Славка спешил на массовку. Больше всех спешила Тася. У нее было много забот. В организации массовки ей по праву принадлежало почетное место. Она была матерью, как прозвал ее Славка, четырех тысяч рабочих: она заведывала всем, что относилось к питанию.

— Нельзя ли поспешить, Борис?— часто спрашивала она.— Ты меня только высадишь, и тогда можешь ехать катать Славку. Освободи меня от него хоть на часок. Просто колени отбил.

Славка с немой просьбой посмотрел на Далматова. Тот моргнул, и мальчик перебрался на колени к старику.

— Высади ее, Борис,— смешно хмуря брови, попросил Славка.— Высади, пусть.

— Вот сынок!—засмеялся Далматов и защекотал мальчика.

Машина внезапно остановилась.

— Входи,—вставая с места, сказал Кравченко девушке с зеленоватыми, чуть раскосыми глазами.—Садись со мной, подвезем.

Когда девушка, покраснев, села рядом с ним, Кравченко повернулся к пассажирам и сказал:

— Знакомьтесь. Это Валентина Берзынь, лучшая наша ударница.

— И я тоже ударник,—первый протянул руку Славка.—Я в саду съедаю всегда весь обед.

— Ну, здравствуй тогда!—Она пожала его детскую руку.—Это твой сын?—тихо спросила у Кравченки.

— Нажимая гудок, Кравченко ответил:

— Нет, это женин сын.

— А...—сказала Валька и опять покраснела.

Кому-кому, а Славке ударница понравилась. Не успели проехать и полкилометра, как он уже очутился у нее на коленях.

Машина прошла через железнодорожное полотно и выехала на проселочную дорогу. Тонкая пыль обвела ее.

— После вчерашней ночи да этакий ясный день!—как бы невзначай сказал Кравченко.

Берзынь не ответила, она беседовала с малышом. Авто нагнал поезд, на котором ехали на массовку рабочие. Песни, смех, звонкий говор вырывались из вагонов. Вдоль вагонов было протянуто огромное красное полотнище с лозунгом и рисунком: крепкий парень изготовился к метанию гранаты, а над его головой была надпись: «Готов к труду и обороне». Поезд остался позади. Замелькал редкий кустарник, проплыли избы деревни, авто отразился в тупых бычьих глазах.

— Подгони, подгони, Борис!—кричала из-за спины Тася, и Кравченко, усмехаясь, увеличивал скорость.

Вскоре они поехали перелеском, встретили комсомольцев с сигнальными флажками, и Тася попросила остановить машину. Далматов вышел вслед, и за ним потянулся Славка, заинтересовавшись разноцветными флажками сигнальщиков. Его сдали на руки Далматову.

Вдвоем поехали дальше.

Кравченко краем глаза глянул на спутницу.

— Хороший парень!—сказала Берзынь.—Его отец, вероятно, красивый.

— К несчастью, это было его единственное качество,—хмурясь, ответил Кравченко.

Она не расспрашивала дальше, поняв, что расспрашивать неуместно. Но женское любопытство все же принудило ее, и она тихо, как бы сама себе, заметила:

— Твоя жена—хороший работник. Я ее знаю.

— Да, она хороший товарищ,—согласился он.

Они выехали на большую поляну, полную полевых цветов. После серой и однотонной степи эта поляна была настоящим оазисом. Берзынь коснулась его локтя.

— Остановись. Я к своим пойду. Сегодня я участвую в соревновании. Приходи смотреть.

Он разочарованно высадил ее и медленно повел авто на край леса, где уж стояло несколько машин.

...Он наискось переехал поляну.

В разных направлениях шли загорелые крепкие физкультурники. Через несколько минут начнутся соревнования, замелькают белые и синие трусы, бронза мускулов, красные, желтые, зеленые майки, ярко загорится в солнечных лучах медный диск, эластично взлетит в бездумное и спокойное небо баскетбольный мяч. Будут резать, напряженно подавшись вперед всем корпусом, горячий воздух бегуны. Будет яркий перелив цветов. И у Кравченки вдруг возникло желание тоже побежать, забыть обо всем, участвовать в этом юношеском весельи, грудью рвануть ленту финиша. «Ну,—говорит он сам себе:—тебе же тридцать, милый мой. Ты влезь на трибуну и с покорной и добродушной усмешкой следи. Это все, что тебе осталось».

Фальшивая мысль. Кравченко ускорил шаг и подошел к трибуне.

На трибуне—люди. В центре их—маленький, подвижной, многословный человек в белой, с засученными рукавами, косоворотке. Он прекрасно скроен, этот человек, он напоминает боксера, он энергичными руками размахивает в воздухе, и от этого слова его приобретают как бы больший вес. Это—секретарь райкома.

— Вот и наш партизан!—встретил он весело Кравченко. Полюбуйтесь, товарищи, он помолодел, честное слово.

— А ты думаешь, тебе одному молодеть?

Поляну густо заливал народ. К секретарю райкома подбежал высокий длинноногий парень и, передавая красный флажок, сказал:

— Вы дадите сигнал, все собрались, можно начинать. Кто будет говорить?

— Милый!—секретарь ухватился за рубашку парня.— Передайте кому-нибудь другому. Кравченко, возьми ты, а речей не надо, и так наговорились вдосталь.

— Нет, нет! Тебе по праву принадлежит честь начинать. Я здесь не при чем.

Кравченку дружно поддержали, и секретарь взял флажок в свои руки. У трибуны разместился оркестр. Капельмейстер усталился на секретаря. В руках длиннонового парня очутился жестяной рупор, и он приставил его к губам и загудел:

— Товарищи! Раньше всего мы проведем соревнование бегунов. Забег на тысячу метров. Участвуют победители, взявшие первенство в своих командах.

Кравченко, прикрыв ладонью глаза от солнца, посмотрел на край леса, где, подготовившись, стояли участники соревнования. Их было двенадцать человек. Восемь парней и четыре девушки. Дюжина была как на подбор: крепкая, хорошая молодежь. И среди двенадцати Кравченко увидел Вальку Берзынь. В голубой майке, в синих трусах. Солнце залило ее тело. И тело ее, казалось, тянулось навстречу солнцу. Кравченко смотрел, не отрываясь. Мысли были стремительны. Ночь, перекрученная сумасшествием ветров, и синий комбинезон рулевого «Маршон», и глубина зеленоватых глаз... и он почувствовал властный стук крови.

Секретарь дал старт. Загремел оркестр, сначала мощно, потом перешел в легкую веселую мелодию.

Бегуны двинулись. Сначала они бежали вместе, потом кое-кто из них начал отставать. Они растянулись по дороге, и теперь можно было следить за каждым из них отдельно. Валька бежала третьей. Впереди нее были два парня: один в белой, другой в красной майке. Было понятно, что эти трое—претенденты на первенство. Кравченко

видел, как, напрягая все силы, Валька ускорила бег, как она уже начала настигать парня в красной майке, как этот парень, почувствовав соперницу, одним прыжком опередил ее снова и, как бы издеваясь над нею, оглянулся на нее, но вдруг споткнулся и упал. Дружный смех и аплодисменты возникли над полем. Берзынь обогнала парня в красной майке и начала приближаться к первому—в белой. Финиш был близко. Перед глазами мелькала малиновая лента. Было ясно всем, что первым идет парень в белой майке, что девушка возьмет второе место. Как и все, Кравченко видел, что ритм бега Вальки начинает давать перебой. Она не обгонит, очень мало осталось места и времени. Еще несколько минут, и мускулистая грудь парня порвет малиновую ленту. И в тот миг, когда парень должен был в несколько прыжков завоевать свое первенство, он замедлил свой бег, схватил девушку за руку, и вдвоем они добежали до финиша. Снова дружный смех, снова поток голосов.

— Тактичный хлопец!—сказал кто-то около Кравченки. Он посмотрел на соседа, это был длинноногий парень с рупором.

— Кто это?—кивнул Кравченко в сторону финиша. Глаза парня налились теплотой.

— Это Яша Аверин, наш новый культпроп.

И тут оркестр ударил туш. Ему ответили аплодисментами. Люди поднялись с мест и устремились к финишу, где рефери пожимали руки Аверину и Берзынь. Они по-прежнему держались за руки. Они счастливо улыбались. Секретарь райкома схватил Кравченко за рукав и потянул к финишу.

— Вот она, наша молодежь!—говорил секретарь, возбужденно захлебываясь словами... А женщины наши, Кравченко, а? Бойцы, честное слово. Не уступят. Слабый пол, а?

Когда они подошли к финишу, люди раздались, и секретарь райкома горячо начал поздравлять рекордсменов.

—...Товарищи!—сказал секретарь.—С такими комсомольцами мы можем ворочать горы.—Он любил гиперболы, этот радостный человек.—Школа. Целая спортсменская школа, которая не снилась буржуазии. Кравченко, скажи хоть ты, честное слово!

Кравченко поглядел на Аверина. В этом взгляде был чуть заметный вопрос. Яша понял его и скосил глаз в сторону Берзынь. Кравченко кивнул головой.

— Я могу только приветствовать, — сказал он. — Приветствовать с уверенностью, что сегодняшние победители будут первыми всегда и везде.

Правильно! — подхватил секретарь. — Вы — молодежь, вы можете все.

Веселый, возбужденный народ рассыпался по поляне. С грузовиков раздавали обед. Молодежь затеяла коллективные танцы. Взявшись за руки, в круг, люди следили за танцорами. В одном месте грузин лихо вытанцовывал лезгинку. Ловко ходил он по кругу на каблуках своих остроносых сапожек. Лихо хватал на ходу с земли папаху.

Желтое солнце, бронза мускулов, голубые, красные, желтые, зеленые майки. Медный диск ярко горит в солнечных лучах, эластично взлетает баскетбольный мяч. Ритмично скрипят штанги турников. Густо льется марш.

Большая толпа перед эстрадой. Молодые трамбовцы, — баянист и баянистка — ведут веселые частушки про дела комбината. Заливаются лады гармони. На смену им появляется артист татарского театра. Сочным тенором он поет революционные песни. Его сменяет фоготист — башкир. Квартет поет украинские народные песни о том, как могучий Днепр покорился человеку.

Кравченко возле эстрады встретил Далматова. Директор сегодня был похож на заправского дачника. У него чуть-чуть съехали брюки, рубаха была расстегнута, и седые волосы на груди вытянулись навстречу солнцу. Морщины на его лице сгладились.

— Крепимся, старик! — с улыбкой сказал Кравченко. — Раз в год, говоришь?

— Да. Я, знаешь, смотрел соревнование и чуть было и сам не приударил.

— Ого! — в тон заметил Кравченко. — Ты да наш секретарь, да еще Бердников в придачу, ну и я — славная была бы команда.

Далматов улыбнулся и погрозил.

— Тебе в старики рано, Кравченко. В твои годы бывало...

— Горы ворочал?—почему-то вспомнил Кравченко слова секретаря райкома.

— Не то что бы так, а тачку с углем со второго раза переворачивал. Вот так, возьмешься, упрешься ногами и—готово. Наша! Или на фронте взволк раненого товарища на плечи и девять верст протащил. А эта девушка... Ты бы подзаялся ею.

— Дурь тебе в голову лезет, старик,—ответил Кравченко...—А где мой?—он хотел скрыть смущение.

Далматов взял Кравченко за плечо:

— Ага! О своих вспомнил, дымовой заслон пустить хочешь? Ты признайся уж, не скромничай.

Кравченко махнул рукой и отвернулся к эстраде.

На эстраде те же самые трамовцы исполняли русскую народную песню. Аудитория встречала каждый новый куплет песни смехом. Аудитория подбадривала актеров.

И вдруг—над песней, над смехом, над говором, над весельем людей протяжно возник отдаленный гул.

Кравченко посмотрел на Далматова, и оба они прислушались. Гул несся с комбината. Расстояние уменьшало тревожный крик сирен.

Все услышали этот далекий призыв о помощи. В наступившей тишине гул расширился, овладел простором.

— На поезд!—крикнул Далматов и первый рванулся с места.

Люди побежали.

У поезда секретарь райкома наводил порядок.

Кравченко, нагрузив свое авто комсомольцами, первым выехал из лесу. Подъезжая к переезду, все увидели: над площадкой комбината стоит облако дыма. Полным голосом ревели сирены. Что горело—нельзя было разобрать. Тревога увеличилась.

Понеслись дальше.

Облако росло.

Горело ремонтное депо, куда поставили на сегодняшний день экскаваторы.

Большая толпа людей бушевала вокруг пожара. В лучах вечернего солнца блестели каски пожарных. Молодежь сразу же ввязалась в работу. Появились топоры. Струи воды, как змеи, взвились в воздух.

Первый, кто бросился в глаза Кравченке, был Бердников. С диким выражением на лице, покрытом черной щетиной, он вел людей в наступление на пожар. Минуту Кравченко смотрел ему вслед, но вдруг тревожная мысль овладела им. Он пробрался через толпу очутился около Аверина, наводившего пожарный рукав на ворота депо.

— Яшка, милый! Машины же там, мариончики!

К дверям рванулась Валька Берзынь.

— Стой!..—закричал ей Аверин, но Берзынь с расширенными от страха глазами, с какой-то неуклонной решимостью бросилась к воротам.

Вода зашипела в огне. Облака дыма окутали ворота депо, и Берзынь исчезла в них. Аверин сделал шаг вперед, но сдержался: в руках у него был пожарный рукав.

— Иди. Справлюсь сам!—прохрипел Кравченко.

Он подался вниз под тяжестью рукава, выпрямился и упорно пошел на огонь. Перед ним мелькнул Аверин. До слуха долетел голос Бердникова:

— Ломайте ворота, ротовези!

Несколько человек принесли бревно и, раскатав, ударили им в ворота. Сверху обвалились горящие доски. Бревно запылало, Кравченко перевел струю воды на людей, которые раскатывали бревно. В дыму он увидел, как повалились ворота, и через несколько минут из горящего зева их показался экскаватор. На зеленой кабинке его была надпись: «Марион 2».

— Есть!—сам себе крикнул Кравченко и отступил назад.

«Марионы» выходили из дыма один за другим, и первым шел «Марион 2». Его вела Валька Берзынь. Люди, стоявшие на рельсах, раздались, и «Марион 2» остановился.

Зашло солнце. Земля окрасилась в отблески пожара. Над землей пошли тяжелые давящие тучи. Снова можно было ждать ночью ветра. Надо было ликвидировать пожар как можно скорей. Люди пошли в ночную смену, а отработавшие заняли их места на пожаре.

Над землей плыли тучи. На степных дорогах возникали первые песчаные вихри.

Перевел автор

КУЗЬМА АРХИПЫЧ ПОДКУЗЬМИЛ

ОТРЫВОК

Солнце явно указывало на поворот к весне. Оно брало в объятия все живое, оно струило потоки тепла, пробивало сугробы снега, покрывало гляncем наст. Воздух и не двигался. Он как бы стал более редким, более мягким, он ласково обнимал тело.

Габрусь идет по огромному двору ремонтного завода. Походка у него нетерпеливая, хрустит под быстрым шагом снег. Глаза перебегают с предмета на предмет. Мысли Габруся пленены новой машиной. Он каждый раз в нетерпении оборачивается к отстающему Мохову. А тот идет словно к завтрашнему дню. Он обходит все лужи, ступает медленно, заворачивая носки внутрь. По голеницам пошлепывает, путая шаг, долгополое пальто. Глаза его, посаженные и так близко, в сторону не разбегаются. Он сосредоточен в мыслях. Он и не намеревается спешить за Габрусем. Новая машина еще не получила в его мыслях полной обрисовки, она еще не влечет. Он безразличен, спокоен. И готов сердиться на Габруся за его мальчишеское нетерпенье.

Кое-как собираются напарники в цехе. Шум цехов поглощает их. Габрусь всем существом воспринимает шум этот, каждым движением своим как бы откликается на

него. И беспокойство, нетерпение его поднимается, как давление пара в котле, когда не жалея, по самую шуровку, подбросишь топливо. Только нет манометра для того, чтобы он аккуратно и бесстрастно измерил давление беспокойных мыслей. Габрусь бегаёт глазами по мастеровым, по станкам, по деталям, по паровозам, что стоят на сборке, он ищет своего Щ-1685.

Мохов плетется нога за ногу. Как будто бы он пришел сюда на экскурсию или повинность какую-нибудь отбывать. Он даже останавливается временами. Ему многое не нравится, он начинает уже недовольно качать головой, бормотать что-то, нервно оглаживать усы.

— Контролер какой, вишь, наелся, — думает Габрусь. — Словно инспектор из НКПС...

Габрусь останавливается, хочет отвлечь своего напарника. Но тот не дает и рта раскрыть. Он иронически и громко говорит:

— Ремонт называется... Борются за здоровый паровоз... Видел, как заклепывают полустенки? Бойком? Обжимать им не нравится. А кромку, кромку как обчеканили? Прямо по старой, не обчистили, не обрубил... Вот дадут тебе с такого ремонта машину, погибнешь с ней. Знал я, как ехал сюда, — на болезнь еду, на мученье...

Габрусь чуть не подталкивал напарника, чтобы скорее дойти к «своей» машине. Заприметил он уже, как аккуратно выводил маляр голубенький кантик около памятных цифр на контрбудке. На паровозе подгоняли уже последние незначительные работы.

Успокоился Габрусь, уже приподнятость и веселье почувствовал он.

Только Мохов не веселился. Он полез на машину, начал копаться там, заглядывать во все уголки. И тут бурчал будто в своем депо, задевал ремонтников, грубовато прикрикнул на слесаря, который работал не так, как хотелось Мохову. Монтер исподлобья посматривал на «контролера», он также не прочь был поругаться с не в меру придирчивым гостем...

Протяжно гудит гудок на шабаш. Сходятся все заводские в сборочный цех, к Щ-1685 на митинг о конкурсе.

Устраивают из Щ-1685, отремонтированного сверх плана, трибуну для ораторов от цехов, бригад.

Похаживает Кузьма Архипыч около этой огромной трибуны, насушив брови. Глаза, прикованные к переносью, не смотрят ни на кого.

«Слова подбирает»,—думает Габрусь, а вслух говорит:

— Вы же, Кузьма Архипыч, хорошо продумайте ответное слово. Чтобы, как старший из нас, авторитетно так, сильно... Высоким таким, торжественным и приподнятым тоном...

— Ага! Приподнятым тоном! Приподними ты трибуну эту на своих плечах, узнаешь «при-под-ня-тым то-ном»... Скажу уж, скажу...

— А может быть, не хотите выступать, Кузьма Архипыч?.. Так, может быть, я?—прячет под наружным безразличием острое беспокойство Габрусь.

— Почему не хочу? Пусть уж, договорились. Приподнимем тон...

Не подберет мыслей Габрусь... А тут и оратор от рабочих кончает уже, ищет глазами ховяина паровоза. Вот и слово дают.

Цепляясь сапогами за ступеньки, лезет на паровоз Кузьма Архипыч. Тихо в цеху, ждут, смотрят все на площадку. А он спокойно так, безразлично, выходит сверху из контрбудки, пробирается вперед. Шапку снял. Оглянулся кругом. И снова глаза к переносью сбежались. За поручни взялся—передохнул. Стоит задумчивый, молчит.

— Начинайте, Кузьма Архипыч...—шепчет внизу Габрусь.

— Тебе чего? Начну...—огрызнулся тот так, что все услышали. И начал. Ровно так, вдумчиво:

— Здравствуйте, товарищи. Не знакомы мы с вами... Ну, вот, познакомимся...

На лицах всех улыбки заиграли, ласковые.

— ...Может быть и польза какая-нибудь случится от нашего знакомства.

Одобрительно буркнули из толпы:

— Известно...

— Конечно...

— ...Ага... Так вот, решаете вы конкурсу паровозников помочь. Мы, паровозники, за это вам, можно сказать, очень благодарны. Чтобы за единый фронт и все такое прочее. Ага... А вот за работку вашу,—повернулся и на паровоз показал рукой,—ну, за работку—не благодарим...

Лица вытянулись у всех, застыли. Руководители, выпучив глаза, Габрусю ищут, а тому, сконфуженному, хоть под раму, за бегунки «щукины» прятаться...

— ...Работку вашу ругаем мы... Где это напарник мой?

Пришлось Габрусю выйти вперед к площадке паровой, откликнуться:

— Тут я...

— Ага... Тут ты! Так вот, товарищи рабочие. Напарник мой не даст врать. Вместе мы смотрели машину. Грубо вы цилиндр расточили... и золотниковые втулки также. Очки для труб в огневой решетке проверили погано. Совсем, можно сказать, погано. Тормоза и совсем никакого доверия к себе не вызывают. Так, Габрусъ?

Что было сказать Габрусю?

— Так!—ответил он.

— Ну вот... Ты, Габрусъ, в дирекции задержался, а я еще около машины ходил. И не повредило. Ага... Не повредило! Смотрю, а золотниковые кольца—не кольца, а чурбаны какие-то. Они ввек пружинить не будут... Да, товарищи... Хватит и того, что насчитал вам. Ну, а теперь скажите мне: как мы с напарником будем ездить на такой лахудре?

Как сказал словцо это Кузьма Архипыч, словно громом ударило. Поопускали все головы. Стыд! Стыд такой, что глаза дымом серным выедает.

—...Как будем мы, говорю я, поезда по расписанию гнать, топливо экономить и все такое прочее? Как мы баллы высокие возьмем, а? А мы же, товарищи, первое место по конкурсу имели! Не стыдно нас такой машинкой вознаграждать? Да, товарищи... Так вот, больно мне и напарнику моему не легко, из сердца, можно сказать... Но говорим мы слово свое, рабочее: машину эту, извините мне словцо такое, лахудру эту, мы от вас не принимаем... Ну и все, товарищи...

Медленно так отошел от поручней Кузьма Архипыч, шапку глубоко на уши надвинул, глаза к переносице у него сбежались, и поплелся в контрбудку Кузьма Архипыч.

Ваяли трубы свои медные музыканты, к губам поднесли, да раздумали, опустили их медленно. Не нашлось мелодии у них такой, чтобы прикрасить жуткие слова машиниста. Тихо было. Такая суровая тишина, что хуже она была, чем причитания и визг. Она резала сердца заводских, эта тишина.

И вот просто, не по лестнице, а спереди, цепляясь дрожащими руками за буфер, вскарабкался на площадку седой, в блестящем от мазута комбинезоне заводской рабочий. Из-под очков струились по впалому лицу мутные капельки слезинок. Не просил слова, самовольно, всхлипом надтреснутым подал он своей голос:

— Братцы мои, товарищи... Понурились, стойте... Глаза показать стыдитесь? Ну-ка, посмотрите один на одного?

Посмотрели несмело так, скучно один на другого.

— Что?—сказал старик.—Сладко? Горько, братья, горько. Так неприятно-горько, что и сил нет... И поделом. Ой, поделом! Пофорсили мы с красивыми обещаниями, полезли на парова... А какой же паровоз? Какой, спрашиваю? Стыдно сказать вам... Да оно и говорить нечего! Сказал за нас хозяин паровоза... Так каким же обещание наше на деле выходит? И не будет ли оно и дальше так? Стыд, ой стыд...—пресекая голос у старика, и, дрожащими руками ощупывая буфер, подался он вниз.

Что было после обиды старика? Что поднялось? Наперебой говорили, каялись. Искренними, от сердца простыми словами говорили.

Досталось тут бракоделам. Досталось неряхам!

Никто не пошел потом из цеха. Ни один не оставил «Щуку», пока не исправили все, на что указал Мохов.

Смотрел на него Габрусь ласково, с любовью. Думалось ему:

— Ну и подкузьмил старик... Вот ловкач! Наверняка постыдился б я портить людям торжество их, приняли бы машину, намучились бы. А завод и дальше выпускал бы таких лахудр. А кому какая польза была бы от этого?

И В А Н Ш А П О В А Л О В



Родился в 1907 году (26 января) в дер. Бежевка, б. Харьковской губ. Отца не знает. Мать крестьянка, потом работница. С 6-ти до 13 лет пас скот. С переездом в город работал на поденной работе, потом на бойне. 15 лет пошел добровольцем в Красную армию.

В комсомол вступил в 1922 году, в члены партии в 1929 году. Учился три года в земской школе и два—в вечерней школе 2-й ступени. Стихи начал писать давно: в 1926 году. Напечатаны две книжки: сборник стихов «Товарищ» и повесть-поэма «Ян Рендя». Сдан в печать сборник стихов «Дзержинцы». Заканчивает работу над романом «Большевики границы».

Все печатал в Белгосиздате.

В настоящее время работает помощником командира авиаотряда по политической части.

С 1931 года до момента расформирования был членом ЛЮКАФ. Сейчас член ССП Белоруссии.

Пишет на русском языке.

БОЛЬШЕВИКИ ГРАНИЦЫ

ИЗ РОМАНА

Кончался день.

Большое, приплюснутое, оранжево-красное солнце, казалось, застряло между пограничными столбами, которые стали темнофиолетовыми. В фиолетовый цвет окрасил вечер и ярко выделяющиеся на фоне горящего заката оголенные скелеты деревьев.

Природа замерла. Ни одна струйка ветра не нарушала этого величественного покоя. Флаг на крыше кордона после дневных треволнений спокойно отдыхал в прощальных, негреющих лучах вечернего зимнего солнца.

Небо над флагом казалось очень далеким и манило своей холодной синевой...

Наступила ночь.

Ночь на границе. С ее натянутой, как металлическая струна, тишиной. Особенная тишина. Кажется, тронь—и она лопнет.

У крыльца заставы стояли запряженными те самые сани, на которых Федяинов часа три тому назад привез чемоданы и сундучки пополнения.

Сам Федяинов, повесив свой тулуп на перила крыльца, поил перед новой дорогой своего вороного «Бурбона». Конь, прильнув мягкими губами к холодной воде, втягивал ее себе в рот, и было видно, как вода проходила по его горлу.

— Эх, даст ночью мороз,—сделал вывод Федяинов, взглянув на горевший закат, и выплеснул на снег остаток воды.

Двери кордона открылись. Отпускники с сундучками, чемоданами, корзинами, уже одетые в дорогу, гуськом потянулись к саням.

— Ну, вы ставьте тут. Я сам буду укладывать...— указывая на крыльцо, сказал Федяинов.

С увязающими выходили, накинув на плечи пинели и полушубки, те, кто оставался на заставе.

Сани нагружались вещами в молчании. Только изредка слышались отдельные замечания: «Подвинь свое приданое», «Ну, давай!» «Сюда ставь, а то посеешь».

— Захарка! Жену встречай.

Ройзман, один из первых бросивший свой небольшой чемоданчик в сани, сейчас стоял у крыльца, в последний раз глядя на знакомую картину заката.

На оклик Полещука он оглянулся и, немножко смущенно улыбаясь, направился встреч приближающимся фигурам: в одной из них нетрудно было распознать женщину в поношенном овчинном тулупчике с тяжелой самокнанной шерстяной шалью на голове.

Другая фигура оказалась дедом Демьяном. Семидесятилетний старик, несмотря на мороз, шел в коротеньком расстегнутом суконном пиджачишке, из-под которого виднелась вправленная в холщевые портки тоже расстегнутая холщевая же сорочка, открывавшая волосатую костлявую грудь. На плече он нес сколоченный из свежестроганых сосновых досок сундучок. Свои, обутые в веревочные лапти, немного кривые ноги он ставил уверенно и крепко.

Ройзман, встретив старика за изгородью заставы, снял с его плеча сундучок. Старик, не проронив ни слова, выпрямился и пошел рядом с пограничником. У изгороди он остановился.

— Покличь-ка начальника!

— Он сейчас сам выйдет, дедушка Демьян,—отозвался Ройзман, идя к саням и сваливая на них свою ношу.

— Ну, выйдет—подождем. Да вон, кажись, и вышел уже!—сощурил свои глубоко сидящие в глазницах, зарос-

шие бровями глаза дед Демьян.—Ходи сюда, товарищ начальник.

— Здорово, дедка!—спускаясь с крыльца и приветливо улыбаясь, говорил Лунгин.—Ну, как? Невесту привел?

— Так что привел, товарищ начальник... Шкода вот—на свадьбе погулять не придется.

Феня молча стояла, прислонясь спиной к березовому бревнышку изгороди, и глядела в заснеженное, темнеющее поле.

— Товарищ начальник! Разрешите строить команду?—позвал от крыльца выделенный для сопровождения отпущников командир отделения Грунь.

— Становись!—раздалась команда.

— Ну, дедушка, сажай Феню в сани, да пожелай ей счастливой дороги.

Старик как-то сразу заволновался.

— Так ты уж, товарищ начальник, скажи Захару, чтоб девку не обижал: забормотал он.—Захар! Захар... ходь-ка сюда.

— Товарищ Ройзман! Выйдите из строя,—поворачиваясь к построившейся колонне, сказал Лунгин.

Ройзман быстро подбежал к изгороди.

— Усадите Феню, попрощайтесь со стариком.

— Ну, иди, сюда... Скрутил-таки девке голову,—с ласковым укором позвал Демьян.

Ройзман подошел.

— Вот... На девку... да не забижай смотри. Сирота она... Я только у нее и есть на свете, да вот ты теперь будешь. Ты хоть и не крещеный, а полюбился мне крепко... только потому и отдаю Феньку... смотри, письма пиши... И ты пиши... Ну, прощай.

Старик неловко обнял девушку и, щекоча жесткими, порыжевшими от самосадки усами ее раскрасневшееся от мороза и волнения лицо, поцеловал в щеку.

— Дай и тебя, поцелую.

Они крепко обнялись с Ройзманом.

— Перекрестил бы вас на дорогу, да не знаю,—помогает это от чего-нибудь,—закончил Демьян и как-то особенно быстро отвернулся.

Корявой рукой старик смахнул непрошенную слезу и, сам стыдясь ее, попытался скрыть это движение.

— Не горюй, дедушка, за Феней. Летом в гости приедешь,—посмотришь, как ладно жить будем,—обращаясь к старику, проговорил Ройзман.—Ну, пойдем. Садись. Феня.

— Ну, счастливо оставаться, товарищ начальник.— Девушка протянула руку Лунгину.

— До свиданья, Феня,—отозвался Лунгин.—Счастливой тебе дороги. А ты не бедуй, дедушка, они с Ройзманом хорошо заживут,—он парень хороший.

— Вот и я то же говорю: хороший,—тихо вымолвил старик.—Ну, ну, иди, садись,—люди через тебя мерзнут.

— До свиданья, дед Демьян!—раздался звонкий голос из колонны.

— До свиданья, детки. Дай вам бог счастья... До свиданья.

Ройзман, усадив Феню в сани, стал в строй.

Федяинов зарядил винтовку, взял вожжи и сел рядом с девушкой.

К выстроившимся отпускникам подошел Лунгин.

— Ну, товарищи... Еще раз—до свиданья. Счастливой дороги.

— До свиданья, товарищ начальник!—громко, дружно ответили бойцы.

— Ребята, пишите!—прозвучало с крыльца.

— Напишем!—ответило сразу несколько голосов из колонны.

— Напррраво рравняйся!

Головы повернулись направо, колонна зашевелилась, вытягиваясь по струнке.

— Сми-иррно!

Быстрое движение голов налево, и колонна замерла.

— Направ-во!

Чах... Чах...—шаркнули подметки по мерзлому снегу.

— Разрешите вести?

— Ведите.

— Вдоль дороги... шааа-гом... марш!

Колыхнулись ряды и одним сплоченным, живым телом двинулись по дороге к темнеющему в вечернем сумраке лесу.

Снег ритмично заскрипел под ногами уходящих.

Федяинов причмокнул губами, поставил воротник и, зажав винтовку меж колен, тронул вожжи. «Бурбон» напружинил ноги и, со скрипом оторвав полозья от укатанного снега, двинул сани вслед за колонной.

— Ну, Феня, — поехали.

— До свиданья, дедушка! — раздался звонкий девичий голос.

— Ну, с богом... поезжай... поезжай, — тихо говорил старик, уже не пытаясь скрыть горячую слезу, пробирающуюся меж седых волос бороды.

...Красные маки цветут над рекою...

Кра-сные маки, чекистская кровь...—

разрезал вечернюю тишину сильный, звучный голос Груня.

Дру-у-жно же в ногу... Сме-е-ло в дорогу.
Только вперед и вперед...—

подхватили песню молодые голоса, и поплыла песня, бодрая, новую силу в мышцы вливающая, боевая, пограничная.

— Вот и внучку замуж выдал... Не иначе самому жениться придется, — громко высказал свою мысль дед Демьян.

— Хорошо поют ребята, — задумчиво произнес, стоя на крыльце, Пузырев.

— Вот и ушли... — угрюмо сказал Марных и вошел в кордон.

— Ну, дедушка, а мы с тобою вроде осиротели? — обратился Лунгин к Демьяну, продолжавшему стоять у изгороди.

— Не век же девке в дедовой избе сидеть, — заметно успокоившись, ответил старик. — Пусть мир поглядит. Он велик, мир-то. Ты только за меня, товарищ начальник, письма писать будешь, а то я писарь плохой.

— Напишу, приходи.

— Ну, прощай... Надо до хаты

Запахнув свой пиджачишко, старик ушел от изгороди, прислушиваясь к удаляющейся песне, такой же прямой и крепкий, уверенно шагающий по скрипучему снегу.

Шел в кордон и Лунгин.

Упускалась ночь.

Через некоторое время из кордона начали выходить люди. На минуту задерживаясь у крыльца, они звякали сталью затворов, заряжали винтовки и уходили в сгущающуюся темноту.

ЗАМЕТКИ

ПЕРВЫЙ ШАГ

Говоря о хозяйственных и культурных завоеваниях Советской Белоруссии, не надо забывать о нищем, бесправном и мрачном прошлом этого края.

СССР имеет немало городов, выросших среди степи или гор, буквально на пустынном месте, и все эти заново возникшие очаги индустрии и коллективного сельского хозяйства указывают на могучую творческую поступь социализма в стране.

Белоруссия не исключение в общем историческом развитии великой страны диктатуры пролетариата, и здесь, как и в других братских республиках, мы видим десятки вновь воздвигнутых заводских крепостей и десятки тысяч гектаров пахотной земли, отвоеванной у болот. Но не в этих только примерах героического строительства рабочих и крестьян вскрывается особенность БССР.

Подлинно чудесная история молодой республики, величие и стойкость ее социалистических масс, весь размах побед и достижений пролетарской революции встанут здесь именно при сравнении настоящего с прошлым, с тем, чем была Белоруссия при царизме, что представляла она собою еще не в столь отдаленном времени под пятою белополяков.

Если мы видим теперь под советским солнцем тучные культурные поля совхозов и колхозов там, где еще вчера расстилались непроходимые болота, — возможно ли осмыслить значимость этих побед, не зная прошлого Полесья?

Если мы, проезжая белорусскими районами коллективизации, подсчитываем и сравниваем нынче содержание трудодня колхозника, преуспевающего на своих полях, нам невольно вспоминаются разгул здесь в прошлом шляхты, местечковая нищета, беспросветные сумерки деревенского быта, искусственно разжигаемая кулак и паном вражда между белоруссом и евреем, поляком и русским.

Прошлое Белоруссии полно тяжкого бесправия, хояйственной отсталости, неограниченной власти кулака и шляхты. Это—типичная колония царизма, где все, что связано было с национальной культурой и родным языком, беспощадно подавлялось.

Безземелье в деревнях, жалкая мелкая промышленность «черты оседлости», местечковая нищета, беспросветная темнота Полесья и болот,—вот что определяло существование белорусского населения в прошлом, его сумеречный быт, его суровые песни и сказки, всю его безмерно тоскливую крестьянскую поэзию.

Исполосованная окопами империалистической войны, оторванная затем немецкой оккупацией от социалистического движения пролетариата, растерзанная и разграбленная белополяками и диверсионными бандами, рабоче-крестьянская Белоруссия нуждалась в особом внимании и помощи пролетариата СССР.

И эта помощь не заставила себя ожидать. В короткий срок Белоруссия не только оправивалась от своего мрачного прошлого, но и развернулась в одну из мощных республик Союза.

Заводы с.-х. машин, писчебумажные фабрики, лесозаводы, спичечные фабрики, предприятия строительных материалов, гигантский стекольный завод и сотни крупнейших мастерских швейной промышленности, фабрики трикотажа, электростанции на торфяных болотах,— все это выросло по городам и селениям БССР в результате братского социалистического движения рабочих и крестьян разных национальностей, поднялось, как в сказке, в какие-нибудь десять лет, встало из беспросветного мрака «черты оседлости», вчерашней местечковой нищеты, полукустарной жалкой промышленности.

То, что совершенно было за последние годы в городах и на полях Белоруссии, возможно только в условиях диктатуры пролетариата, руководимого коммунистической партией Ленина и Сталина. Заново была построена промышленность, пущены в ход десятки крупнейших предприятий, созданы новые крепкие пролетарские очаги и реконструированы старые, широко развернута коллективизация сельского хозяйства, неизмеримо с прошлым увеличена посевная площадь, организованы примерные животноводческие совхозы, развернуты поля технических культур, оборудованы многочисленные тракторные станции, и там, где еще вчера лежали непроходимые болота, ныне стелется плодоносная нива.

Наряду с победами советского хозяйства, вместе с развитием и укреплением базы ее социалистической индустрии, об руку с ростом посевной площади на колхозных полях и организацией всех видов животноводческих совхозов росла, развивалась и крепла культурная жизнь БССР, создавались сотни начальных, средних и высших школ, кипела работа по ликвидации неграмотности и малограмотности, строились народные театры, клубы и музеи, подготавливалось открытие Академии наук, призванной стать кузницей новой культуры.

Иажив в основном ээкономические последствия «черты оседлости», разрушив до основания стены, возведенные в течение десятилетий царизмом и помещиком между национальностями, связав в единую братскую хояйственную семью население, независимо от того, на каком языке оно говорит,—республика четырех государствен-

ных языков встала на широкую дорогу пролетарской культуры— национальной по форме, социалистической по содержанию.

Однако и здесь не сумели бы мы обнять всю значимость побед без знания трудностей, вставших на пути БССР в ее борьбе за осуществление ленинско-сталинской национальной политики.

Прошлое отступало перед напором восставших масс— шаг за шагом, с кровавыми и бескровными, но не менее упорными боями.

И теперь кое-где еще можно встретить в Советской Белоруссии, на окраинах ее городов и местечек, на полях ее, следы разрушений— запекшиеся шрамы, нанесенные телу республики белопольским шехомом. И на фронте культуры Белоруссии мы найдем немало темных пятен— гнусных знаков предательства, тайной борьбы, вредительства.

Близость буржуазного Запада, сложное переплетение заговоров и диверсионных планов,— все это не только отражалось на обстановке, в какой строилась молодая культура БССР, но и проникало в ее неокрепшие культурные цитадели.

Разбитые наголову в открытом бою, потерпев поражение на всех тех участках, где бдительность революционного пролетариата была неотступна, внутренние классовые враги белорусского народа, не переставая держаться за «братскую» помощь своих зарубежных друзей, набросили на себя маски защитников национальной культуры и открыли борьбу с советским режимом под иными лозунгами.

Опираясь на оппортунистическое руководство учебным и научным делом, пользуясь притуплением классовой бдительности в культурных учреждениях, разыгрывая упорно роль радетелей «национально-культурной независимости», откровенные противники советского строя, предатели и враги трудящихся Белоруссии, национал-демократы сумели пролезть в центральные культурные учреждения, овладели постами в Институте белорусской культуры и настойчиво, изо дня в день, довольно длительно окуривали своим дурманом работу на фронтах искусства.

Всем этим скрытым агентам различных интервентов нужно было затормозить победоносный ход молодой социалистической культуры, пропитать ядом шовинизма неокрепшие ее участки, разжечь вражду между национальностями БССР.

Ориентируя развивающуюся белорусскую литературу на капиталистический Запад и в то же время подвязывая к ее крыльям мертвый балласт из филологических установок далекого феодального прошлого, «ученые» языковеды из национал-демократов стремились поставить писательский труд перед непреодолимыми трудностями: как бы строили поэты и писатели свою работу, если из белорусского языка выжигалась живая речь рабочих и трудящихся крестьян, если писатель отгораживался филологическим блудотворством академиков-националистов от языкового творчества пролетариата?

Язык шляхты и кулачества а примесь мертвых монастырских речений,— вот как строили словарь белорусского языка национал-демократы, поставив своею целью подорвать культурную связь трудящихся БССР с трудовыми массами союзных республик.

Раагром всех планов и замыслов национал-демократов, беспощадная расправа со всеми теми элементами на культурном фронте, кото-

рые допустили подрывную работу агентов буржуазного Запада, расчистили дорогу неиссякаемым творческим силам молодой республики.

Именно с этого момента, с момента полной ликвидации на культурном фронте всяческих вредителей, вдохновлявшихся надеждами на реставрацию дарско-помещичьей культуры, мы наблюдаем прочное поступательное развитие в БССР искусства и литературы, народного театра и поэзии, отныне стремящихся к живой, активной, творческой связи с культурой и литературой других братских народов СССР.

Мы видим, как голоса старых дореволюционных писателей постепенно присоединяются к дружному хору молодежи, как те же Янка Купала и Якуб Колас пробуют свои силы в художественном выражении нового, социалистического мира, как они торопятся за пламенным Александровичем—поэтом героического комсомола Белоруссии.

Кузьма Чорный дарит читателю произведение, посвященное проблеме отечества в пролетарском и буржуазном понимании («Батьковщина»). Крапива выступает с вещью, в которой намечено художественное разрешение проблемы долга и дружбы. П. Бровка создает поэму из быта комсомольского подполья, Лыньков, Чарот, Гартный, Зарецкий, Глебка и другие поэты и прозаики Советской Белоруссии дружным строем выходят на просторы большого, достойного нашей эпохи, искусства.

Мы, писатели РСФСР, делегаты Оргкомитета ССП СССР, при наших посещениях Советской Белоруссии нашли на литературном ее фронте небывалый подъем, активное вовлечение в интересы и задачи состроительства старых, вступивших в литературу еще до революции писателей, большие творческие успехи молодых писательских отрядов, систематическую борьбу писателей против всяческой национальной ограниченности в тематике и в самом направлении вновь создаваемых произведений.

Ряд мер, предложенных нами писателям и поэтам БССР в целях дальнейшего закрепления братской связи литератур, горячо встречен был Оргкомитетом ССП Белоруссии во главе с ее неустанным работником и руководителем—т. Климковичем.

Мы уверены, что дальнейший живой обмен общественным и творческим опытом между писателями РСФСР, БССР и других братских республик укрепит и подымет на небывалую высоту силы литературного фронта СССР.

Нет никакого сомнения в том, что искусство и литература БССР, благодаря активной связи с пролетарскими и колхозными массами, благодаря зоркому общему руководству ЦК КП (б) Белоруссии, дадут новую богатую жатву в ближайшем будущем.

Настоящий литературно-художественный сборник Советской Белоруссии выходит в свет в результате первого шага на пути активной братской работы писателей БССР и РСФСР: одних—в качестве авторов, других—переводчиков и редакторов.

Это—скромный подарок белорусской писательской бригады Оргкомитета СССР всесоюзному съезду писателей.

Вследствие короткого времени, в которое работа была произведена, а также благодаря далеко еще не достаточному изучению

бригадой литературного фонда БССР во всем его разнообразии сборник имеет не мало ошибок и недочетов, и самым серьезным среди них следует считать ограниченные рамки сборника, что позволяет нам предложить вниманию читателей лишь выдающихся авторов Белоруссии, и притом в отрывках, далеко не вполне выражающим творческий облик участников.

И все же мы надеемся, что при всех своих недостатках сборник даст широкому читателю РСФСР достаточный материал для того, чтобы судить о живых литературных силах Советской Белоруссии и, главное, о неограниченном будущем.

Как ни значительны достижения в настоящем, будущее сулит Советской Белоруссии еще больший расцвет дарований, сильных своей активной связью с социалистическим строительством, мужественных и жизнерадостных, как все те живые силы, которые на-ново переделывают города и селения Белоруссии.

Наука, искусство, культура быта—все будущее принадлежит молодежи, той, которая возводит заводы и фабрики, создает коллективное хозяйство деревни, держит в руках винтовку и крепит под руководством партии и вождя всех республик Союза, т. Сталина, нерушимую творческую связь народов, строящих социализм.

Молодая литература Белоруссии—сильнейшее оружие трудящихся СССР в борьбе за будущее, за мировой Октябрь.

Пусть же ленинская молодежь ни на один час не забывает об этом и зорко следит за всем литературным делом БССР, помогая ему всячески и отменяя с его пути остатки реакционных, классово-враждебных влияний.

ПРОЧИТАННАЯ СТРАНИЦА

Это—молодость. Ее везут—мелкорослое пополнение империи—на замену разбитых частей под Сморгонью и Молодечно. Серые грубые папахи, сапоги с вязкими голенищами и рыжие шинелишки. Она идет в бой по-овечьи и гибнет, как поросль. За Оршей возникают обовы. Они движутся по проселкам и гатям—эти черные артерии армии. Впереди лежит западный фронт. Его изломанная линия отмечена привязными аэростатами, артиллерийскими просторами взгорий и красными крестами полевых лазаретов. На пути к нему—штабной город Минск. Ночи и дни мимо его вокзалов проходят поезда. Орудия, закутанные в чехлы, платформы с прессованным сеном, двуколки, вагоны с надписью «огнеопасно» и люди, люди... Это—война.

Ксеендз торопится вдоль братской могилы. Он бормочет напутствия католическим душам. Они лежат в ряд, обросшие бородами и с желтыми пятнами ног, с которых сняли сапоги. Так же минуту назад отслушали они православные напутствия. Рыжая глина Полесья, вода в могилах, деревянные кресты с бесхитростной надписью чернильным карандашом, который смоем весна. Католический мрачный костел встречает прибывшего в город. Город заставлен штабами, управлениями земского и городского союзов и «Северопомощи». По Захарьевской гуляют штабные. Окопный солдатенка сбегает на мостовую и становится во фронт. Вялые генеральские пальцы прикасаются к околышу. Земские гусары развезжают на парах. У них неприсвоенные погоны со сложными вензелями и шапки рубак. На козлах сидит санитар в кожухе. Телеграфные столбы с нотной графикой бесчисленных своих проводов гудят сыро и неуютно. Они уходят за город в гиблые туманы Полесья, в которых скрывается фронт. Оттуда, из этих туманов, привезают развлечся в город. Защитные погоны, анненские темляки, георгиевские ленты, золотое оружие. Улицы обогащаются вывесками венерологов. На

запасных путях стоят штабные и серые нарядные санитарные поезда. Белые косыночки сестер повязаны кокетливо. В Минск—на фронт—приезжают дамы-благотворительницы. В их московских особняках открыты лазареты. Пальцы с розоватым маникюром готовят пасхальные пакеты для воинов: пачка махорки, иконка и тетрадочки папиросной бумаги.

В Минске ночью не горит наружное электричество. Город погружен во тьму. Ночью случались налеты цеппелинов и эскадрилий. Окна наглухо прикрыты ставнями. За ставнями—кабаки, кинематографы и боевые вечеринки земских гусаров. С афиши улыбается Вера Холодная. Герой сезона—Мозжухин. В кинематографе играет гапер. Вход для нижних чинов воспрещен. Нижние чины сидят и болотах Полесья. Мядзюл. Нарочь, хлюпкие гати, праздничные зеленватые ракеты, которые спадают, как звезды. Свет потухает, начинается артиллерийская подготовка.

Минск пропускает пополнения и раненых. Через него проходит разбитый сибирский корпус и тысячи отравленных под Молодечно. По Захарьевской ползет открытая конка. Ее везут два дрыхлых одра, уцелевших от мобилизации. Кондуктор обходит по подножке и собирает плату. Конка останавливается на разъезде и ждет встречной. Они разъезжаются со звоном и грохотом. На повороте вагон сходит с рельсов. Пассажиры подпирают его и помогают поставить на место. В Комаровке живет нищета. Лохмотья этого нищего гетто не появляются на главной улице. Деревянные кривые лачуги, бакалея, тряпье, засаленные родовые перины—нехитрые гарнитурки еврейских погромов. Два верховых казака прогоняют через город шпиона. Его руки связаны, концы веревки держат наваки. Из кондитерской выходит военный. У него белые акселябанты, серая петербургская шинель и палаш, который волочится по тротуару. Навстречу проходит пехотная часть. Ее перекидывают с фронта на фронт. Кислый запах овчины, немых тел, загаженного человеческого бытия.

За городом, в туманах,—окопы. Они изрыли это суглиночное Полесье и покрыли его щетиной проволочных заграждений. Наблюдатели сидят в корзиночках привязных аэростатов. Они видят ходы сообщений, тройные неровные линии окопов, обозы в тылу, пустые нищие поля, деревни, еще не уничтоженные войной, безрадостную и молчаливую белорусскую землю. Они видят, как вдоль по шоссе протянуты веревницы обозов с жалким скарбом и покорностью поводырей. Это—беженцы. Они проходят через Белоруссию, истаявая на пути своего исхода. Их выгоняют из насиженных мест, чтобы они походили на патриотов. Они идут по шоссе, и братские могилы с придорожными крестами отмечают пути их изгнания. Казаки приходят в еврейские местечки Семенево или Синявку. Войска терпят неудачу. Нужны виновники. Казаки вешают на ветлах евреев, как исконных виновников всех неудач.

В Минск прибывают коротенькие поездные составы—паровоз и два-три вагона. В вагонах военные атташе и наблюдатели. Французские высокие кепи с прямым козырьком, английские и американские френчи, кавалерийские шинели сербов и низкорослые генштабисты—японцы. Это союзники и представители нейтральных стран.

Минск встречал их—город штабов и фронта. Через него проходили приказы и донесения. В нем были кустарные мастерские, наскоро приспособленные для нужд войны. Они походили на кузницы и занимались несложным ремонтом. Город прикрывал штабным парадным блеском убожество западной окраины, бесправное гетто, черту оседлости, традиции еврейских погромов, запращенный белорусский язык и гнилые туманы Полесья, считавшиеся колыбелью легенд. Легенд не было. Была война, были вшивые, загаженные окопы, исполосовавшие Белоруссию, был штабной город Минск с выгребными ямами, с конкой, с военным положением,—скопище шифрованных телеграмм, иностранного шпионажа, фронтového триппера, немецкой контрразведки, вымиравших беженцев и лживых донесений о победах на фронте...

Я вижу этот город, как молодость. Это мою молодость, молодость моего поколения, везли на западный фронт заткнуть прорывы необученными маршевыми ротами, проваливаться в воронки от снарядов и обвисать на проволоке в позах, которые привлекали птиц. Уцелевшие от этого поколения приходят взглянуть на город. Они видят дым индустрии, сменившей старые кузницы. На месте мастерских для ремонта возникли заводы. Это—металлургия. Кустарное конфетное производство превратилось в громадную фабрику. Взамен мастеровщины возник пролетариат. Грубый бульжник мостовых, по которому гремели артиллерийские запяжки, сменил асфальтом и клинкером. Талантливая молодежь—скульпторы—показывает барельефы и бюсты, которыми украшают они новое здание Дома правительства. Это—великолепное здание. В Государственной библиотеке собрано свыше сотни тысяч томов. Ее строили на пустом месте, в раворенной стране, где не было фондов, которые могли бы послужить основанием. Фонды—лучшие ценности—были вывезены.

Мы проходим сквозь залы и видим отделы: белорусский, еврейский, литовский и польский, собранные с величайшей тщательностью. Читальный зал переполнен,—ненасытная молодость вузов, для которой выстроены новые здания и аудитории. Молодость поколения более счастливого, молодость Белоруссии. Она входит в дом, который только что для нее открыли и который носит название «Дом художника», это—молодые белорусские художники. Она обновляет старое здание, которое только недавно носило название Института белорусской культуры и которое называется ныне Белорусской академией наук. Институты философии, истории, экономики, литературы и искусства, языковедения, высшей нервной деятельности, геологический, агро-почвенный, биологических наук, химический, физико-технический, институты пролетарской еврейской, польской, литовской культуры входят в систему академии. У них широкий круг аспирантуры, молодых сил, которые геологией, экономикой, химией преобразуют старую и несчастливую Белоруссию.

Травмай соединяет окраины. Уличные знаки движения определяют переходы и скорости. Деловые машины несутся сквозь центр. Иные штабы руководят новым фронтом. Непроходимые болота. Полесья осушены мелиорацией, и на старой топи произрастает пшеница. Сожженное местечко Кайданов стало ныне Дзержинском.

Это район сплошной коллективизации, и в кабинете председателя горсовета висят деловые диаграммы с показателями роста тракторов, уборочных машин, скота и доходов колхозника. Вчерашний батрак становится председателем Совета народных комиссаров. У него есть величайший познавательный опыт. Он знает наощупь грубую и суровую посконь вчерашних бесправия и нищеты Белоруссии. Его молодость прошла сквозь безрадостное опустошение войны. Минск не забыл этих лет. Вырастают его новые здания. Студенчество поднимается по лестницам вузов и за широкими окнами видит город, прошлого, которого оно не знало. В библиотеку приходят читатели и спрашивают книги, десятки тысяч которых трудолюбиво собраны для них. Старые печальные ветряки покинули белорусский пейзаж. Для переработки ветров есть ныне иные, более надежные двигатели. По улицам проходит парад. Танк медленно спускается под гору. Молодость переходит в зрелость. Зрелость знает направления ветров. Она знает борьбу за счастливую добычу культуры. Молодой город Минск сносит старые лачуги прошлого. Их слишком много—это сумрачное наследие лет и хранилище легенд Белоруссии.

ТЕМЫ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ

На окраине Минска, в районе бывшей Ляховки, где ютились когда-то отбросы, бандиты города и головорезы, возникли перед нами многоэтажные корпуса карамельной фабрики «Коммунарка».

Нас водили по этажам и цехам фабрики, вдоль конвейерной ленты, мимо сотен работников, и мы наблюдали, как варится паточка с сахаром, как укатывается и складывается конвертом сладкое тесто, как формирует и режет машина, выплевывая готовую карамель. Мы были в горячем цехе, пропитанном влажностью постоянного испарений, и там, где шоколадного цвета пластинки похожи на соты, и там, где работницы с чудесной быстротой упаковывают готовые конфеты. Сопровождавший нас инженер вслух сожалел о том, что мы не приехали двумя месяцами раньше, когда фабрика вырабатывала лучшие сорта шоколада, и, чтобы у нас не оставалось никаких сомнений на этот счет, он извлек из производственного архива коробку прекрасной «Пьяной вишни».

Конвейер работал четко и споро. Даже для неопытного человека было очевидно, что подавляющая часть производственного процесса механизирована. Конечно, после московских и ленинградских карамельных гигантов минская «Коммунарка» выглядела предприятием второго ранга, но нам была понятна гордость директора фабрики, инженеров, мастеров и рабочих «Коммунарки». Всего только три года назад на месте фабрики был пустырь, а где-то в городе существовала артель карамельщиков, состоявшая из девяти человек. Вот из этой-то артели и выросла механизированная мощная фабрика с тысячами рабочих.

Так облекалась плотью и кровью одна из самых любопытных тем современной Белоруссии. Страна маленьких кустарных мастерских и первобытных по своему оборудованию артелей, где щетинная фабрика в сто человек считалась крупнейшим предприятием, а жалкая примитивная артель чулочниц претендовала на ведущую

роль в местной промышленности,—эта страна со сказочной быстротой создала ряд крупных предприятий, среди которых минская «Коммунарка» по числу рабочих стоит далеко не на первом месте. Кто узнает теперь район Марковщины в Витебске? Из нищей окраины он превратился в крупный фабричный поселок, трамвай приблизил его и связал с центром города, и гигантская трикотажная фабрика, оборудованная по последнему слову техники, известна всему СССР. Деревообделочные и бумажные комбинаты, спичечная и чулочная фабрики. Гомель, Витебск, Орша, Могилев и сама столица республики Минск,—все это ново, неузнаваемо, ибо здесь выросли настоящая промышленность, настоящий фабрично-заводской пролетариат. И чем ближе знакомишься с этим перевоплощением страны—с гидроэлектростанцией, собственной топливной базой (торф), с производством строительных материалов, с научно-технической работой по использованию богатств края, тем все крепче и властнее проникает тебя ощущение большой советской темы. Это тема о том, как на развалинах нищего, полукOLONиального, вдвойне задавленного края построена и строится социалистическая республика трудящихся.

Но тут же, у конвейера карамельной фабрики, под мельканье быстрых и точных пальцев работниц, начинает оформляться и другая тема, не менее интересная и красочная, чем первая. Я гляжу на этих девушек, работающих спокойно и уверенно и пренебрежительного сознания того, что так должно быть, что иначе и быть не может: конвейер, машина, фабком, ударничество!—и думаю о том, что многие из них родились в годы империалистической войны. Они родились тогда, когда железная поступь германских дивизий провела на равнинах царской Польши и русская армия отступила, гоня перед собой сотни тысяч обезумевших и отчаявшихся людей. Эти люди бежали не из страха перед немцами и не из любви к царской России. Они вообще не хотели бежать. Им некуда было бежать, ибо здесь они родились, здесь они прожили столетия, здесь голодали и надеялись на лучшую жизнь. Правда, здесь жилось очень плохо, но все же были свои лачуги, была какая-то жизнь. Куда и зачем бежать? Но царские генералы приказали очистить прифронтовую полосу от «подозрительных» элементов, и это было сигналом к изгнанию. Десятки тысяч стариков, женщин и детей, целые селения снялись и пошли в темный и неведомый мир. То был великий исход, равного которому евреи не запомнили со времен испанского изгнания.

Тем, кто имел средства, удалось уехать в глубь России, но десятки тысяч разоренных дотла осели в городах и местечках Белоруссии. Оплакав тех, кто погиб в пути, они попытались приспособиться к новому месту. Было трудно. Ремесленники еще находили работу, но «торговцы воздухом», огромная прослойка людей, лишенная корней в жизни, очутилась в трагическом положении. Мне вспоминаются последние годы войны, синагоги, набитые доотказа беженцами и их жалким скарбом, и плач детей, которых кормили впроголодь на средства благотворительности. Страна задыхалась в спазмах войны, армия на фронте и население в тылу испытывали на себе удары голода. До беженцев ли тут!

Дети, рожденные в годы войны и «беженства», прошли путь величайших испытаний. Дни, когда пролетарская революция, истекая кровью, боролась за свое существование, были полны для них тревогой и муками. Белорусские равнины стонали под немецкой и польской оккупацией, над городами и местечками реяли черные крылья погромов. Еврейская трудовая молодежь плечом к плечу с белорусскими трудящимися шла в ряды Красной армии, но детям некуда было идти, они оставались в обезумевших от ужаса городках и вместе с родителями ждали, чем все это кончится. Потом гражданская война кончилась, советская власть прочно утвердилась в Белоруссии, и дети пошли в школу. И на глазах у них развернулась одна из самых чудесных и волнующих тем советской действительности.

Нищие деклассированные массы еврейского населения стали приобщаться к настоящему труду—к производству, к сельскому хозяйству, к борьбе за социализм. Новый жизненный уклад вырос на развалинах старых отношений, беспощадно ломая все, что препятствовало его росту. Евреи пошли на землю—не только молодежь, но и пожилые мужчины и женщины. Часть уехала на Украину, в Крым, в Биробиджан, но большинство осталось здесь, ибо земля—всюду земля, а советская земля принимала их охотно и в Белоруссии. Стали возникать колхозы, артели, фермы, пригородные хозяйства, совхозы, и на этой обретенной советской земле евреи работали рядом с белоруссами, поляками, и это было в порядке вещей, то была мудрость и величайшая справедливость пролетарской революции. Евреи пошли к станку—на металлообрабатывающие заводы и текстильные фабрики, на торфоразработки и строительства, на монтаж электростанций и лесосплав. И в один прекрасный день евреи ощутили, что совершилось чудо, что проклятого «еврейского вопроса» не стало, что они стали равноправными гражданами великой трудовой республики, утвердившей основы ленинского интернационализма.

Детям, рожденным в годы войны и «беженства», это ощущение далось без особых переживаний. Они просто вошли в новую советскую жизнь, словно иначе и не могло быть. Они вошли в пионеротряды, в комсомольские ячейки, они заполнили школьные здания и заводские корпуса, они обрели здесь новое отношение к себе и к труду.

Мы наблюдали эту живнерадостную и звонкую армию фабзайчат, комсомольцев, ударников учебы, студентов, ударников обороны, эту победную интернациональную армию строителей социализма. И глядя на них, я думал о том, как гениально и просто партия революционного пролетариата разрешила проблему поколения, рожденного в годы империалистической войны, ту самую проблему, которая так тревожно и лихорадочно обсуждается во всех капиталистических странах.

Мы были в польском национальном районе, на самой границе, где на месте нищих деревенок и барсучьих хуторов выросли колхозы и совхозные мясные фабрики. Только тот, кому пришлось повидать дореволюционную, вабитую, вечно голодную белорусскую деревню, может вполне оценить богатство и красочность той темы, которую

являет собой современная колхозная Белоруссия, поголовно грамотная, творящая новую, социалистическую культуру, освобождающаяся от болот, колтуна и суеверий. Конечно, рабочему классу и колхозному крестьянству Советской Белоруссии предстоит еще громадная созидательная работа, много болот еще нужно осушить, много пережитков старого нужно еще выкорчевать, большая борьба с отрывками националистической идеологии предстоит еще компартии Белоруссии. Но то, что создано за короткое существование маленькой пограничной республики,—это уже настолько могуче и прекрасно, что потрясает каждого. И особенно потрясает писателя, который ни на минуту не может забыть о том, что в каких-нибудь пятидесяти километрах к западу за чертой болот и леса, за рубежом Советской страны разбросаны десятки и сотни белорусских деревушек, недалеко ушедших от того состояния, в котором находилась наша белорусская деревня всего лишь пятнадцать лет назад.

Академия наук с десятком научных институтов, великолепная Государственная библиотека, какой может позавидовать любой крупно-промышленный центр СССР, чудесное здание Дома правительства в Минске, театры—белорусские, польские, еврейские, клубы, вузы, газеты, библиотеки, издательства, талантливые ученые, писатели, художники и артисты,—вся эта дерзновенная и полнокровная молодость растущей социалистической культуры Белоруссии расцветает большой и благодарнейшей темой на фоне второй пятилетки. Исключительно интересны не только результаты этого бурного роста, но и люди, творящие великое дело социализма в своеобразных условиях Белоруссии. Да, тематика Советской Белоруссии изумительно богата. Задача советской литературы и ее белорусского отряда в первую очередь—полностью овладеть тематическим богатством этой замечательной маленькой республики и создать достойные ее художественные произведения.

ДВЕ БИОГРАФИИ

Павлюк Трус, уличная кличка Шестаковых (отец «владел» пестрой частью крестьянского надела), родился и рос в одной из самых забитых и угнетенных колоний царизма, в стране классического колтуна, в краю, прославленном непроходимыми болотами и гнилыми гатями, словом в Белоруссии.

С самого раннего детства Павлюк был батрачком, потом—пастухом, играл, как все пастухи, на свирельке,—на жалобном и тоскливом инструменте деревенской бедности и одиночества. Это оттуда, из той поры, звучали в его поэтическом сознании свирельные нотки:

Во поле одна я
Жито дожинала...
Сноптики вязала
Во поле одна я...

Но именно в ту пору по стране впервые проехала огненными колесами империалистическая война. К шестнадцати годам своей жизни—а это было в 1920 году—Павлюк познал на своей спине все прелести немецкой и польской оккупации. Но он познал еще кое-что другое.

1 января 1919 года была впервые провозглашена независимая Белорусская советская социалистическая республика. Ее биография берет свое начало от этой даты. И с этого момента начинается стремительный рост Павлюка Труса. В этом росте заложен глубокий смысл. Путь бывшего батрачка и пастуха, в дальнейшем комсомольца и стойкого революционного поэта,—это, конечно яркий и радостный путь.

Мощным революционным потоком хлынули на историческую арену трудящиеся массы белорусского селянства. Павлюк Трус, кудрявый парень, хохотун, явился вместе с ними к истокам знания,

культуры, искусства—и уже звеня первыми наивными и простыми стихами. Он словно сконцентрировал в себе все черты освобожденного от гнета белорусского батрачества, чтобы стать не только поэтом, но в еще большей степени—поэтическим, подлинно художественным и волнующим образом. Однако для того, чтобы правильно понять биографию Павлюка Труса, следует обратиться к некоторым штрихам биографии Белорусской советской республики.

Освобожденные из тьмы, из-под гнета, белорусские трудящиеся массы принялись под руководством ВКП(б) строить новую жизнь, строить социализм. Наступило начало передышки, вошла в жизнь та экономическая политика партии и правительства, которая сразу приобрела сокращенное выразительное название—«нэп».

Так, например, в Наркомземе Белоруссии засел некий Прищепов— в сущности прохвост и белаяк. Прищепов стал проводить решительное раздробление Белоруссии на хутора. Прищеповщина явилась замаскированным продолжением столыпинской аграрной политики,— Столыпин, как известно, в межреволюционной земельной игре ставил на «крепкого мужичка», на хозяйчика, на кулака, Прищепов со своими соратниками решил превратить Белоруссию в «Данию»,— верней, насадить на территории БССР сплошное кулачество. Нетрудно понять, какие препятствия встали перед партией в начале реконструктивного периода, в момент решительного перехода в наступление на кулака: некоторые районы Белоруссии были превращены Прищеповым сплошь в хуторские.

Явная отрыжка зарубежных национал-демократий, белорусская наддемовщина носила в себе с самого возникновения фашистские, антикоммунистические и антисоветские задатки. Этого не поняли некоторые из искренних «старейшин» белорусской культуры, как раз те, которые в гнусные царские времена саживали в тюрьмах, отбывали сроки в ссылке,—вообще «страдали за народ». Не поняли они также диалектики нэпа. Прыжок из царства необходимости в царство свободы остался для них прыжком из царской колонии—в «независимую» национальную Белоруссию.

Произошла революция социалистическая, уничтожившая границы между угнетенными национальностями, а «старейшины» белорусской культуры решили, что осуществились их мечтания о независимой, отдельной, национальной республике. Из-за своего провинциального самовара они не разглядели стремительно проводимой в жизнь идеи пролетарского интернационализма.

Эта политическая близорукость отразилась в белорусской литературе того времени.

Белоруссия в углу,
Озираясь смело,
С чаркой меду в руке
В своей хате села.

Так в стихотворении «Без названия» рисовал образ освобожденной страны поэт Янка Купала. «Свой угол», «своя чарка меду», «своя хата»... это целая программа, родившаяся из тьмы царских времен. Борьба за родину в национальных рамках привела Купалу

и его литературных друзей к поэтическому утверждению национальной программы. А из этого утверждения выросло неправильное понимание союзных взаимоотношений Белоруссии с другими советскими республиками:

Кузнецы другие,
А цепь та же самая...

(Я. Колас, 1921 г.)

Интересно отметить, что не только у Я. Купалы, но и у более молодых поэтов Белоруссия в первые годы революции воплощается в образе забитой, угнетенной дивчины, чаще всего батрачки; Марины и Олеси то и дело мелькают в песнях белорусских поэтов того времени. Бумажными цветами убирают поэты излюбленный образ, словно деревенскую красавицу на свадьбу.

Прошло много времени, прежде чем белорусские поэты признали этот образ отработанным, ненужным, ушедшим. Набеленная или нарумяненная, смотря по настроению кулака—это, конечно, не советская Белоруссия.

Таковыми настроениями умело воспользовался классовый враг. Форпост белорусской культуры, Инбелкульт, был битком набит нацдемами, активно развивавшими свои «культурные» устремления по территории всей республики. Бывший президент Академии наук (реорганизованной в 1928 году из Инбелкульта) проф. Игнатовский измыслил, например, теорию об отсутствии в Белоруссии кулака и классовых противоречий; из такой установки «логически» рождалось отрицание необходимости классовой борьбы.

Шовинистские стремления нацдемов выразились, например, в отрицании наименований: Белоруссия, Беларусь. «Корень *рус* происходит от москалей»—повинуясь зарубежной указке, рассуждали нацдемы. «Никаких белоруссов нет, есть кривичи, их родина—Кривня». Молитва «Верую», напечатанная в зарубежном журнале «Кривич» под редакцией некоего проходимца Ластовского, устанавливала для правоверных «кривичей» ряд канонов:

— Верую в родину нашу Кривию... Самоуправление не считай независимостью... Не насаждай на своей народной почве ни языка чужого, ни поэзии, ни общественных форм, ни обычаев, ни навыков, рав они не выросли из народного духа...

По Ластовскому выходило, что предками «кривичей» являются «волаты»—великаны. И вот Инбелкульт начинает «научные» поиски великанов. Рассылается двадцать тысяч анкет, запрашиваются места, заводится «дело о великанах». Идиотскими эти поиски могут, однако, казаться только на первый взгляд. В результате анкет нацдем Касперович составил, а Академия наук в 1930 году (когда партия не выбила еще нацдемовскую головку из Академии) выпустила книгу под названием «Волаты» на русском и немецком языках. В книге этой Касперович, оперируя сказками и преданиями, ловко подтасовывая историко-географическую номенклатуру, пытался доказать, что «кривичи» и их предки «волаты» занимали будто бы громадную территорию от бывш. Люблинской губернии

(Польша) до слияния рек Оки и Волги, т. е. до гор. Горького. Вот каковы были аппетиты «кривичей»]

Национализм, шовинизм, сепаратистские установки, махровый контрреволюционный клубок, замаскированный псевдо-коммунистической фразеологией.—вот тот «культурный» фон, на котором рос и развивался молодой поэт Павлюк Трус. В 1923 году Павлюк кочил школу, покинул родную деревню Низок с ее соломенными крышами и крепкой комсомольской ячейкой и направился в Минск, чтобы поступить в педтехникум. В том же году молодой поэт начал печататься и вошел в литобъединение «Молодняк».

Обстановка на литературном фронте Советской Белоруссии была не менее сложна, чем на сельскохозяйственном или академическом.

Уже с первых лет революции на поэтическом фронте Белоруссии началась ожесточенная идеологическая борьба. С поэмой «Босые на пепелище» выступает в 1921 году Михась Чарот. Содержанием этой во всех отношениях примечательной поэмы является борьба белорусской бедноты с интервентами:

Бегут они. Их руки, ноги
В крови пылают на огне.
Куда бегут такой дорогой.
Где страшно ехать на коне?

• • • • •
За шагом шаг. Победа ближе,
А сердце мощное стучит.

Чем крест влачить—пусть
смерть пронижет!

Играйте песню, трубачи!

В борьбе с новыми пролетарскими веяниями нацдемовская группа «Узвышша» развивала бешеную энергию с целью завлечь в свои сети молодых пролетарских и крестьянских поэтов. Нельзя сказать, чтобы этой энергии противостояла очень активная деятельность белАПП и ее журнала «Молодняк». Организованное в 1927 году «Полымя», имея в своих рядах М. Чарота и других близких пролетариату писателей, оказалось все же зараженным нацдемовщиной.

В результате длительной литературной борьбы эпоховского периода происходили непрерывные колебания как среди старых поэтов, так и в среде молодежи.

Литорганизация «Молодняк», в которую вошел Павлюк Трус, в 1923 году только начинала свою деятельность. В «Молодняке» на первых его шагах решительно преобладали революционно настроенные крестьянские поэты и писатели, а также представители белорусской интеллигенции. Пролетарская прослойка была незначительна и вести за собой организацию не могла. Между тем в течение года в «Молодняке» произошли события; требовавшие как раз твердого и четкого коммунистического руководства. Одна за другой от «Молодняка» откалывались группы писателей и поэтов и создавали новые литорганizations. Так образовались «Узвышша» и «Полымя».

Ассоциация пролетарских писателей—белАПП, сыгравшая в свое время положительную роль в отношении консолидации пролетарских литературных сил,—тем не менее решительной борьбы с нацдемовщиной не вела. Отсутствие такой борьбы, колеблющаяся позиция старых мастеров слова—Я. Купалы, Я. Коласа и др., наличие четырех национальных литератур, а самое главное—не изжитая полностью до сих пор национально-тематическая ограниченность на литфронте,—все это позволило классовому врагу ловко лавировать в белорусской литературе и влиять на неустойчивую, хоть и близкую нам молодежь. В результате появлялись такие произведения, как, например, фашистский роман «Кривичи» Зарецкого.

В 1926 году Янка Купала опять и опять берется за «обиженную дивчину»:

На память мне пришла дивчина;
Скажу я, здешняя она.
И вот случилось с ней несчастье,
Несчастье жуткое одно:
В беде с нее рубашку сняли
Соседи, а не кто другой...

В такой обстановке приобретает особый интерес позиция молодого революционного селянского поэта Павлюка Труса. Нужно отметить, что с 1925 года Павлюк стал комсомольцем, и это обстоятельство сразу наложило отпечаток на его творчество. Разумеется, П. Трус был не один: к этому времени выявились такие писатели, как К. Чорный и др., и поэты, например Андрей Александрович. Но именно к периоду 1925—1928 годов относится усиленное развитие в белорусской литературе нацдемовских влияний.

Нужно сказать прямо, что микроб нацдемовщины в эти годы проник в той или иной форме во все без исключения литературные группировки Белоруссии. Во главе группы «Узвышша» стояли писатели Дубовка и Пуца. Часть членов этой организации быстро скатилась в контрреволюционное болото национал-демократии. Так, Я. Пуца написал «Письма к собаке», в которых рекомендовал своему четвероногому адресату беречь его дом и имущество от «врагов». «Узвышша» поставила себе задачу вовлечь в свои ряды всех талантливых белорусских писателей и поэтов. И в первую очередь внимание «Узвышши» было обращено на П. Труса. Все средства к вовлечению Труса в свой лагерь были пущены нацдемами вперед. О «Письмах к собаке» шла дискуссия. И в то время как один из вождей «Узвышши», В. Дубовка, всенародно объявил, что из П. Труса ничего не выйдет, если он останется в «Молодняке», другие, «левые узвышшенцы», применяли к Трису тактику обволакивания. Вот что писал, например, Трису один из этих самых «левых»:

«Хлопцы мне сказали так: напиши ему (тебе, значит) тепло, товарищески...» И дальше: «По-моему, в стихах Пуци ничего страшного,—более страшного, чем у ранних, нет. Есть только большая правдивость. А национальное самочувствие у нас, белорусских писателей, у всех такое, только мы молчим. Пуца говорит. И я никак не могу согласиться, что тут что-нибудь антисоветское, ни в каком

разе. Через национальное возрождение — к социализму!» (Из архива П. Труса.)

Разумеется, надежды не ограничивались письмами. Были, вероятно, и личные встречи и «товарищеские» беседы...

Трус вышел из революционной организации «Молодняк», но в отношении «Узвышши» надежды просчитались: Трус в «Узвышшу» не вошел. В этот период творчества в стихах П. Труса стал обозначаться отход от актуальной революционно-пролетарской тематики, начали пробиваться лирические нотки. «Тихий лирик под сосной» заменил на время образы героев-партизан.

Но Павлюк Трус, выходец из бедной крестьянской семьи, никогда не порывал связи с живой действительностью. Он работал в комсомоле, в «Полесской правде», вместе со своим другом и однокашником поэтом П. Глебкой исходил пешком всю Белоруссию, побывал на Осиновом болоте, где строилась первая Белгрэс... И из груди его вырвалось гордое:

— В бархат сердца не продам!

Снова раскатистый павлюков смех загремел в «Молодняке» — надемовское обволакивание Труса лопнуло, как мыльный пузырь.

В 1928 году, когда партия, а с ней и трудящиеся массы Союза начинали атаку на кулака, Павлюк Трус написал свою поэму «Дзiesiąты падмурак» (Десятый фундамент), — этот замечательный поэтический документ, блестящее подтверждение правильности ленинской национальной политики партии: ведь поэма была написана бывшим белорусским батраком, выходцем из самых низов забитой, колониальной деревенской бедноты. Содержание поэмы «Дзiesiąты падмурак» — борьба строителей социалистической плотины с Неманом:

Проходят эпохи,
И боремся мы, —
Десятый фундамент наполнили...
А Неман бушует,
Сердито шумит,
И катятся грозные волны...

И если в начале поэмы Трус, охарактеризовав свою родную страну, как «край легенд», «край лесов» и «болот», «оверной печали», спрашивает:

Край полей,
О край, —
Когда ж ты станешь
Краем фабрик дымных
И машин? —

то в конце поэмы он определяет строителя социалистической плотины:

Сегодня — невольник,
А завтра — творец
Страны и свободной и вольной!..

На поэме «Дзiesiąты падмурак» биография Павлюка Труса, к несчастью, прервалась: в 1929 году нелепая смерть от брюшняка вырвала его из наших рядов. Нет никакого сомнения, что остался

Трус в живых, он сумел бы продолжить свою биографию без срывов и колебаний. К этому времени, вопреки активному противодействию нацдемов, в Белоруссии уже действовал крепкий отряд подлинно советской литературы:

Времена меняются. Изменились они и для белорусских нацдемов.

Во всем Советском Союзе началась ликвидация кулачества, как класса. Первая пятилетка вступила в свои права.

Биография страны развивалась энергичными темпами. В боях с нацдемовщиной и кулачем выросла и закалилась белорусская организация ленинско-сталинской партии.

Возглавляемая т. Гикало, КП(б)Б является смелым проводником ленинской национальной политики в Белорусской республике. Первый секретарь ЦК партии, т. Гикало, выбивает остатки нацдемов из их гнезд так же, как когда-то, в 1920 году, во главе чеченской Красной армии и повстанцев выбивал белых из Грозного. Прибыв в Белоруссию непосредственно из московской парторганизации, тов. Гикало сумел в короткий срок разобраться во все еще сложной политической обстановке и поднять работу на подлинно большевистскую идейную высоту. Председателем Совнаркома БССР является бывший батрак, а затем слесарь и электромеханик тов. Н. М. Голодед, — тоже старый партийный работник.

Хозяйство, промышленность, экономика, культура Белорусской республики, этого форпоста социализма перед Западной Европой, находятся в надежных большевистских руках.

С 1930 года партия добилась перелома в коллективизации крестьянских хозяйств.

На 1933 год подлинная, планомерная коллективизация предала 50 процентов бедняцких и середняцких хозяйств.

В силу своих топографических условий Белоруссия никогда не была особенно богата хлебом. И сейчас сельскохозяйственное будущее Белорусской республики в развитии мясных баз, главным образом — свиноводства. За три года — с 1924 года по 1927-й — поголовье в свиноводческих совхозах БССР выросло на 105 проц., а за пять лет, с 1927 года по 1932-й, — на 486¼ проц. Почти пять тысяч процентов! Цифра поголовья продолжает неукоснительно расти, и недалеки те годы, когда Белоруссия будет в состоянии систематически снабжать мясом ряд центральных областей.

Осуществляется мечта Павлюка Труса: его край становится «краем фабрик дымных и машин». Металлургические, деревообрабатывающие, кожевенные, галантерейные, бумажные фабрики и комбинаты на полном ходу. Манинстроительный завод им. Ворошилова в Минске вырос из крохотной ремонтной мастерской с 27 рабочими. Далеко в прошлом — подковы, ложки, уличные фонари, которыми занималась мастерская. Сейчас завод выпускает камнедробилки, торфяные прессы, экспортные грависортировки и многое другое. Гомельский сельмаш оборудован по последнему слову техники и вырабатывает главным образом машины для механизации обслуживания животноводства. Бобруйский деревообрабатывающий комбинат выпускает стандартные дома, силосные башни, экспортные двери и другую экспортную продукцию. 24.000 тонн

бемского стекла—годовая производственная программа Костюковического стекольного завода.

Добыча торфа—гордость БССР. Свыше миллиона тонн в год дают право Белоруссии именоваться «торфяным Донбассом».

После энергичного вмешательства партии поправились дела и на культфронте. Во главе Академии наук с 1930 года стоит Горин. Он—тоже выходец из крестьянских низов Белоруссии. Когда он был избран на пост президента Академии, одна из зарубежных газет поместила статью под заголовком: «Академия невольников и президент-батрак». Но вот в 1933 году «президент-батрак» побывал в Варшаве, сделал доклад на польском языке на тему: «Национальная политика самодержавия в Польше в конце XIX и в начале XX веков»—и польские газеты, поместив подробнейшую информацию о Горине, отметили большой успех доклада.

Все эти, волею рабочего класса и его партии, происшедшие в Белоруссии сдвиги и перемены не могли не отразиться и на литературном фронте.

За последнее время появились крупные произведения белорусских прозаиков: «Батьковщина» К. Чорного, романы и повести М. Лынькова, П. Галавача и других. Белорусская советская поэзия обогатилась целым рядом интересных произведений А. Александровича, П. Бровка, П. Глебка, Кулешова и др.; талантливых поэтов выдвинула еврейская, польская и литовская литература Белоруссии.

Андрей Александрович уже давно известен в Белоруссии и за ее пределами как пламенный поэт Октября. Путь Александровича—путь масс, идущих к вершинам культуры. В одном из последних стихотворений Александровича колхозник Янук встречает в поле пастуха, принимающегося хулить колхозные порядки.

...Но, вслушавшись, кричит ему

Янук:

—А не узнал ли своего подпаска?

Теперь тебя не выпущу из рук.

Тебе уж не поможет переокраска!

Мне думалось, ты житель Соловков,

А глянь—ты здесь. Ну что ж,

узнал мальчонку,

Которого явил и без портков

Ты вышвырнул с проклятием

вдогонку?

Теперь дрожишь, теперь, как рыба,

нем?

А за отраву бил меня, зверюга?

Кто был ничем,—тот стал, как

видишь, всем...

.....

Нам правда—мать, и дом ее—

колхоз:

Ты в нем вредил, но он теперь

судья твой!

(Пер. М. Тарловского.)

Петрусь Бровка работает над большой поэмой «Так начиналась молодость», посвященной подпольной большевистской и комсомольской работе в Белоруссии во время польской оккупации. Поэма полна молодого бурного оптимизма:

Но должны мы помнить,
Что близка победа...
Скоро над страню
Загорится свет.
...Заседал на лодке
В буре неприветной
Первый наш подпольный
Минский комитет...

(Пер. Ал. Дудар.)

П. Глебка обращается к своей стране, как к мощному поставщику сырья и машин для народного хозяйства Союза:

На фабриках дымных московских,
На нивах сибирской тиши
Смолкает размеренный грохот;
Там ждут и сырья и машин.
А транспорт чугунный и водный
Тысячи тонн не довед...
Зажжем же светильники боя
За уголь, за нефть и за лес!

Растет и совсем молодая поэтическая поросль. Юный поэт Кулешов в своей поэме «Амонал» рисует классовую борьбу в белорусском селе и в городе. Проходящий через всю поэму бродяга—бывший белый офицер—утверждает что «у него о людях забаста». Но «люди сочли его сумасшедшим».

И тогда, от великой своей злости,
Он иссек рубашку дубиной.
И кинулся в лес, где когда-то
жили лоси,
А теперь вечерами выли волки.

Лес—это только прикрытие. У бродяги—связь с неким бухгалтером, у бухгалтера—сын из породы инженеров-вредителей. Вся эта компания организует штундистскую группу и одновременно пытается взорвать амоналом угольную шахту. Колхозники раскрывают заговор.

Формально Кулешов идет в известной степени от Пушкина—Мериме (Песни западных славян). Это, конечно, неплохо, но этого недостаточно. Кулешову так же, как и другим молодым белорусским поэтам, нужно учиться, учиться и еще раз учиться.

Янка Купала и Якуб Колас теперь—народные поэты республики. Их перестройка проходила медленно, но благотворную роль в завершении этой перестройки сыграло постановление ЦК партии от 23 апреля 1932 года.

В поэме «Над рекой Орессой» (1933) Я. Купала говорит, что он много слышал разных поэм, песен, но

В песнях я не слышал
Правды про героев,
Что в глухих болотах
Путь победы строят...

И Купала слагает песню про этих героев. Он не сомневается, что

О новом Полесье
Во все концы
Разнесут свои песни
Поэты и певцы.
Воспоют в тех песнях
Труд и героизм.
Как болотную плесень
Смел социализм...

(Пер. С. Городецкого.)

Не забывают белорусские поэты и о том, что их страна—форпост социализма перед Западной Европой. В стихотворении «Наша жатва» А. Александрович поет:

Нет, не соня, не раззява
Звездоносный пограничник.
Полыхай же, наша слава,
Наша жатва, наш Кастрычник!

(Пер. М. Тарловского.)

Белорусский поэтический фронт выправляется. Есть, однако, на пути белорусских поэтов, а равно и прозаиков некоторые опасности. Из них главная—известная национальная ограниченность, какой-то специально белорусский предел кругозора. Кто-то из ответственных белорусских товарищей бросил такой упрек:

— Поэты и писатели Белоруссии не видят ничего дальше Орши.

Вдохните советский воздух, белорусские друзья, по-настоящему, полными легкими. Хлебните ветра днепропетровских колхозов и дыма уральских комбинатов. Поезжайте на гигантские новостройки других братских республик. Увидев советскую землю с высот ее достижений, вы по-настоящему познаете мощь пролетарского интернационализма и создадите произведения мирового значения.

Здесь перечислены далеко не все успехи и достижения Белорусской республики на промышленном, сельскохозяйственном и культурном фронтах строительства. Эти успехи продолжают расти. Напоследок хотелось бы отметить одно обстоятельство. В Минске, в прошлом захудалом провинциальном городишке, с покосившимися домиками, непролазной грязью и парой учебных заведений, выросли новые, прекрасные здания, улицы залиты асфальтом и электрическим светом, работают три драматических и один оперный

театр, магазины оформлены на московский образец, оживленная вереница прохожих течет по улицам с утра до позднего вечера. И в Минске же на доклады Академии наук поступает до 7 000 заявок. Велика тяга к науке и культуре трудящихся масс Белоруссии!

Давно изолирован Прищепов. В 1929 году застрелился Игнатовский. Надемовская головка разгромлена, единицы—в щелях. Но ленинская партия не ослабляет бдительности.

Под руководством КП(б) Б растет Советская социалистическая Белоруссия.

Янка Купала и Якуб Колас стали народными поэтами республики. Творчество обоих поэтов вновь и вновь подтверждает правильность литературной политики партии, в частности огромное значение постановления ЦК от 23 апреля 1932 года. И Купала и Колас, судя по их последним произведениям, включились в строительство социализма.

Стихи Павлюка Труса вышли в издании Академии наук. Белорусские поэты и писатели непрерывно растут и являются крепким и сплоченным отрядом единой советской литературы.

Биография Белорусской советской социалистической республики, начавшаяся пятнадцать лет назад, на стремительных путях революции развивается в построение бесклассового общества, в коммунизм.

О ПОЭТАХ

ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ЧЛЕНА БРИГАДЫ

Декабрь 1933 года. Минск. Советская улица. Двухэтажное световое здание. У входа—табличка: «Оргкомитет Союза Советских Писателей Белоруссии». Здесь помещается оперативный штаб белорусской советской литературы. Внизу—комнаты творчества, читальня, библиотека. Наверху—зал для собраний, президиум, редакции литературных журналов.

Белорусская советская литература готовится к всесоюзному съезду.

В просторном зале читальни проходит совещание поэтов с представителями белорусской комиссии всесоюзного Оргкомитета. Поэты социалистической Белоруссии говорят о достижениях и недостатках своей творческой работы.

— Поэзия, которая в течение ряда лет была ведущим отрядом белорусской советской литературы, за последние годы начинает отставать. Ее оттесняет художественная проза. По своей идейной насыщенности, по глубине охватываемых проблем проза постепенно выдвинулась на первое место. Это отставание поэзии необходимо поскорее ликвидировать. Поэзия должна завоевать прежнюю ведущую роль.

Так говорят поэты. Они говорят о причинах этого отставания, о встающих перед белорусской советской поэзией новых серьезных и трудных задачах. Говорят об отставании лирики, которая не умеет еще отражать чувств нового, социалистического человека.

Москвичам вспоминаются выступления поэтов на недавних московских поэтических совещаниях. Те же проблемы, те же недочеты, та же забота об их скорейшем изжитии. И это закономерно, у двух национальных отрядов единого всесоюзного фронта советской литературы нет и не может быть различных задач и забот.

Поэты говорят прежде всего о недочетах и срывах, но то, что сегодня ощущается как пробел, вчера еще было достижением. Ибо

советская литература Белоруссии растет и крепнет, ибо за период времени от 23 апреля 1932 года она выросла на целую голову, ибо ее недочеты и болезни есть недочеты и болезни роста. Рапорт белорусской литературы на всесоюзном съезде подведет перед лицом всего СССР итоги ее крупных достижений.

Говорят поэты.

Вот народный поэт Белоруссии: Якуб Колас, один из немногих дореволюционных белорусских писателей, некогда певец угнетенных крестьянских масс Белоруссии и боец за ее национальное освобождение, сумевший не только принять, но и воспеть новую, социалистическую действительность. Одна из его последних поэм о колхозном строительстве—большой шаг на пути перестройки крупного писателя, шаг на пути овладения новой актуальной тематикой.

Другой выдающийся поэт старого поколения, Янка Купала, отсутствует, его нет в Минске. Но и он голосует здесь за решительный поворот к новой, социалистической тематике своей крупной поэмой «Над рекой Орессой».

Вот родоначальник белорусской пролетарской поэзии Михась Чарот. Поэты с дружеской заботой упрекают его, что за последнее время Чарот пишет чересчур мало, но тут же отмечают качественный вес его последних немногочисленных произведений.

Андрей Александрович—белорусский Безыменский, как его характеризуют москвичи,—говорит о своих творческих неудачах и о путях преодоления этих неудач, о своей борьбе со схематизмом, о работе над последними поэмами, о коренной переработке одной из них, о проблемах, над разрешением которых поэт бьется в своей новой пьесе «Веселая смерть». Многие московские поэты могли бы поучиться у Александровича крепкой большевистской самокритике. Это лучшее доказательство и залог здорового роста выдающегося поэта-коммуниста.

Пятро Глебка, оставивший лирику для больших эпических полотен, возвращается к ней сейчас путем углубления проблемности своей поэзии. Поэты-«чувственники» упрекают его в чрезмерной рационалистичности. Но Глебка знает: без глубокой идейности нет социалистической поэзии.

Пятрусь Бровка хочет рапортовать съезду новой большой поэмой. Стихи его динамичны и действительны. Упорно преодолевая элементы риторики и схематизма своих ранних стихотворений, Бровка вырос за последние два года в крепкого и оригинального поэта. Его поэма о комсомоле в подполье—одно из лучших произведений современной белорусской поэзии.

Аркадий Кулешов, преодолевая чрезмерную вычурность своей интересной, но мало доходчивой поэмы «Амонал», дает в новой поэме о коллективизации большую волнующую картину одного из важнейших отрезков нашего социалистического сегодня, сочетая в ней элементы лирики и эпоса.

Владимир Хадыка—белорусский Пастернак, по определению своих товарищей,—при большом формальном мастерстве и глубокой эмоциональности своей лирики не сумел еще поставить свой формально изощренный стих на службу строительства социализма. Попытки его в этом направлении еще недостаточно решительны. Крити-

на упрекает Хадыку в любовании архаизмами и провинциализмами, непонятными читательским массам Белоруссии и носящими отпечаток не изжитых националистических влияний.

О трудностях перестройки говорят Тодор Кляшторный, Дорожный, Хведорович.

Тодор Кляшторный, талантливый и популярный лирик, сумел выйти из заколдованного круга упадочных настроений, во многом родственных Есенину, и дать советской литературе большую лирическую поэму о строительстве—«Следы—дороге».

С большими или меньшими срывами перестраиваются и остальные, решительно выкорчевывая из своего творчества следы нездорового нацдемовского наследия.

Перестройка эта шла бы, несомненно, быстрее и без лишних накладных расходов, если бы проходила под оком заботливой и вдумчивой товарищеской критики. Но поэтическая критика в Белоруссии почти отсутствует. На это в один голос жалуются все поэты. Стихи и поэмы—победы или срывы на пути перестройки, плод долгой и напряженной работы—остаются без отзыва и без оценки. В обзорах поэзии и здесь привилась хорошо известная москвичам система «обоймы», включающей четыре-пять поэтов. Остальные остаются вне поля внимания критики.

Жалуются поэты и на слабую связь с работниками ведущих отрядов поэзии РСФСР, на отсутствие не только помощи, но даже внимания к их работе со стороны русских советских поэтов. Разве в московских поэтических совещаниях, где присутствуют поэты Ленинграда, не должны бы принимать участие и поэты социалистического Минска, не намного дальше отстоящего от Москвы? Разве русская советская поэзия не должна бы, ознакомившись и изучив достижения и изъяны братской белорусской поэзии, помочь ей своим опытом в разрешении общих задач? Организованные встречи белорусских и русских поэтов в Москве и Минске могли бы, несомненно, положить начало более тесной творческой связи не только белорусской и русской поэзии «вообще», но конкретной связи отдельных социалистических поэтов—русских и белорусских, родственных друг другу по своему творческому методу. История прошлого знает многочисленные примеры такого творческого контакта между поэтами разных народов (Пушкин и Мери́ме, Пушкин и Мицкевич). Думается, что творческое содружество поэтов различных национальных республик СССР принесло бы немалую пользу развитию нашей единой советской литературы.

Посылка смешанных писательских бригад на новостройки и в национальные республики могла бы пробить в этом направлении серьезную брешь при условии, что в каждой из таких бригад, направляемых из Москвы, должно обязательно принимать участие несколько белорусских, украинских, закавказских поэтов и писателей. Сближение конкретных представителей братских советских литератур на конкретном объекте совместной творческой работы даст несравнимо больше в деле сближения этих литератур, чем десятки торжественных общих деклараций и официальных встреч.

**АНТОЛОГИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

В книге представлены все наиболее видные прозаики и поэты Советской Белоруссии, начиная от народных поэтов Коласа и Купалы, в ряде новелл, поэм, стихотворений и отрывков из романов. Ряд статей освещает современное состояние белорусской литературы.

ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Следует
34	21 снизу	Евал	Евель
40	16 снизу	нашу секцию	нашу дискуссию
40	11 снизу	вещи Глазырина	Глазырина
95	2 сверху	Работая	Работал
116	»	«Петель	«Метель»
257	10-11 сверху	школе, и учитель- ствова	школе. После револю- ции учительство- вал



На стр. 45 напечатано (в 21 строке снизу): «В литературных организациях до избрания в члены ССП БССР не участвовал. Следует: «Участвовал в литературной организации «Полымя». Избран членом Оргкомитета ССП БССР.»

ЦЕНА 3 РУБ.

Переплет 75%